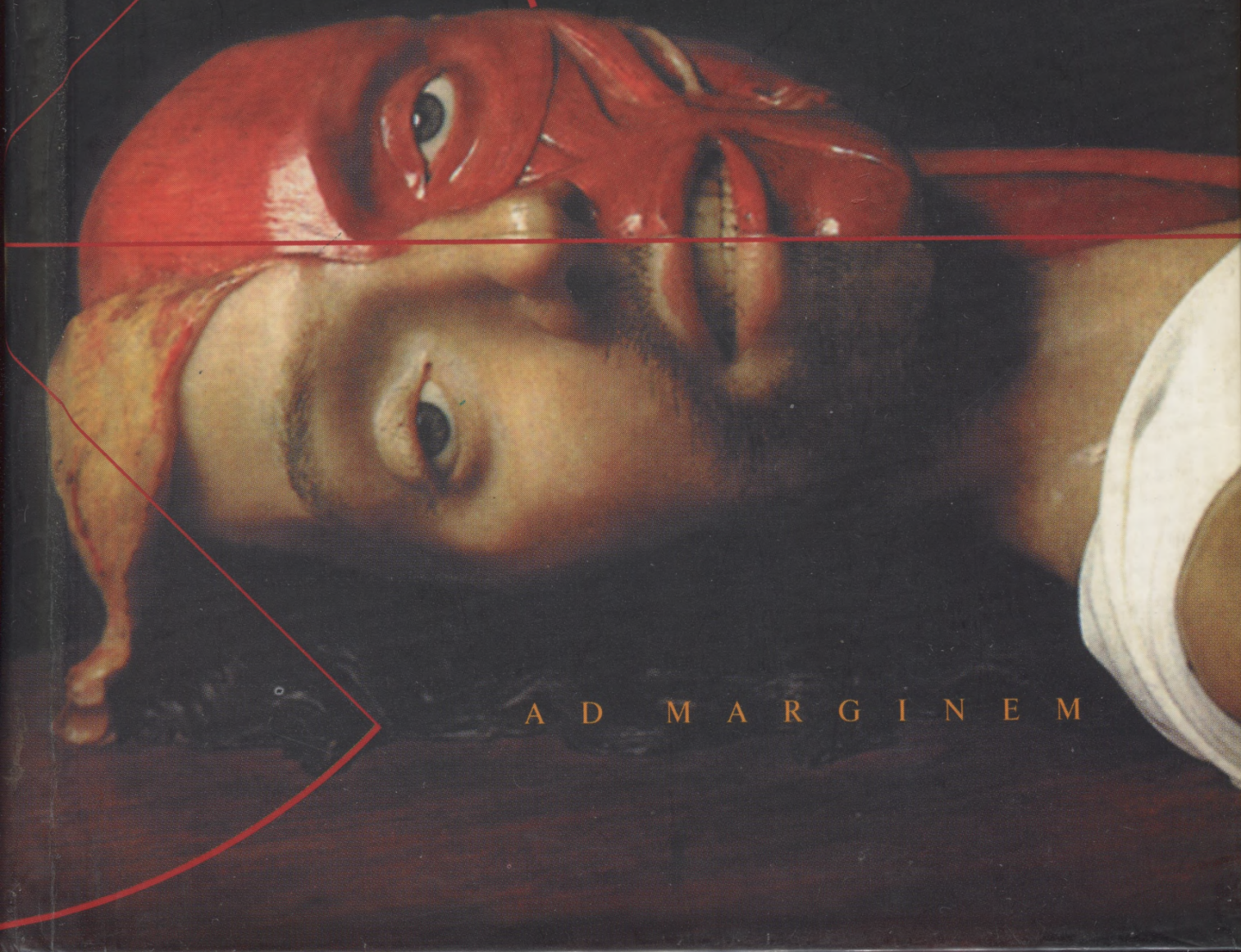
Мишель Фуко

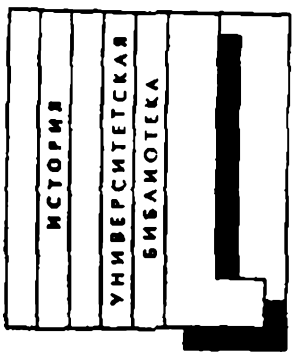
Надзирать и наказывать

Рождение тюрьмы

1/16



AD MARGINEM



Издание осуществлено при поддержке института
"Открытое общество" (Фонд Сороса)
в рамках мегапроекта "Пушкинская библиотека"

This edition is published with the support
of the Open Society Institute within the framework
of "Pushkin Library" megaproject

Редакционный совет серии "Университетская библиотека":
Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева, М.Л. Андреев, В.И. Бахмин,
М.А. Веденяпина, Е.Ю. Гениева, Ю.А. Кимелев, А.Я. Ливергант,
Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер, А.В. Полетаев, И.М. Савельева,
Л.П. Репина, А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов

"University Library" Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev,
Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrey Poletayev,
Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

1/16

*M*ichel *F*oucault

Surveiller et p*uni*r

N*aissance de la prison*

EDITIONS GALLIMARD

Мишель Фуко

Надзирать и наказывать

Рождение тюрьмы

Перевод с французского Владимира Наумова

под редакцией Ирины Борисовой

AD MARGINEM

Художественное оформление – Андрей Бондаренко

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин"
при поддержке Министерства иностранных дел Франции
и посольства Франции в России

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme
d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien
du Ministère des Affaires Etrangères français
et de l'Ambassade de France en Russie

ISBN 5–93321–010–2

© Éditions Gallimard, Paris, 1975
© Издательство «Ad Marginem», Москва, 1999

Проект RU1.RU
Книга напечатана с ведома правообладателя.

I. КАЗНЬ

Глава 1

Тело осужденного

Второго марта 1757 г. Дамьена* приговорили к «публичному покаянию перед центральными вратами Парижского Собора»; его «надлежало привезти туда в телеге, в одной рубашке, с горящей свечой весом в два фунта в руках», затем «в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху, причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство; руку сию следует обжечь горящей серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы, затем разодрать и расчленить его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности предать огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру»[1].

«Наконец его четвертовали, — сообщает "Gazette

[1] *Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François Damiens*, 1757, t. III, p. 372–374.

d'Amsterdam"[2]. – Последнее действо заняло много времени, поскольку лошади не были приучены тянуть; тогда вместо четырех лошадей впрягли шесть; но и их оказалось мало, и, чтобы оторвать конечности несчастного, пришлось перерезать ему сухожилия и измолоть суставы...

Говорят, что, хотя он и был закоренелым богохульником, ни малейшей хулы не сорвалось с его уст; лишь невыносимая боль заставляла его издавать ужасные вопли, и он часто повторял: "Господи Иисусе, помилуй, помоги мне, Господи". Весьма назидательной для очевидцев была забота священника церкви Святого Павла, который, несмотря на свой почтенный возраст, неустанно утешал осужденного».

И вот рассказ караульного Бутона: «Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплечных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы фута в полтора длиной и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обеих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжий, с большим трудом вырывал куски мяса, которое ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды с одной и той же стороны и выворачивать, и на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в шесть ливров.

После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовавший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе: к ногам и рукам,

[2] *Gazette d'Amsterdam*, 1er avril 1757.

по одному к каждой конечности.

Достопочтенный Ле Бретон, секретарь суда, несколько раз поднимался к осужденному и спрашивал, не хочет ли он чего сказать. Тот отвечал отрицательно. При каждой пытке кричал адским криком: "Боже, помилуй! Господи, помилуй!". Несмотря на все мучения, время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Тросы на конечностях были затянуты так туго, что причиняли ему несказанную боль. Господин Ле Бретон еще раз взошел на плаху и спросил, не желает ли он чего сказать. Тот отказался. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял: "Господи, помилуй!".

Лошади рванули, каждая из них тянула к себе выпрямленную конечность, каждую держал палач. Через четверть часа процедуру повторили, и после нескольких попыток пришлось направить лошадей по-другому: тех, что тянули за руки, стали поворачивать в сторону головы, а тех, что были привязаны к бедрам, – в сторону рук, чтобы порвать связки. Так пробовали много раз, но безуспешно. Он поднимал голову и оглядывал себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, в помощь тем, что были привязаны к бедрам; лошадей стало шесть. Но и это тщетно.

Наконец, палач Самсон сказал господину Ле Бретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заартачились, а одна из привязанных к бедрам рухнула наземь. Духовники вернулись и снова говорили с

ним. Он сказал им (я слышал): "Поцелуйте меня, судари". Кюре церкви Святого Павла не осмелился, а господин де Марсийи нагнулся, прошел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бранились, делали свое дело, а он на них не в обиде; просил их молиться за него, а священника церкви Святого Павла – отслужить молебен на ближайшей мессе.

После двух-трех попыток палач Самсон и тот другой, который орудовал щипцами, вытащили из карманов ножи и, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули что есть силы и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек и остальные связки; резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую.

Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв, хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Один из палачей вскоре после казни даже сказал, что, когда они подняли торс, чтобы бросить на костер, он был еще жив. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой, потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы.

...Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Куски мяса и туловище сгоре-

ли часа за четыре. Офицеры, в том числе я и мой сын, вместе с отрядом лучников оставались на площади почти до одиннадцати.

Некоторые придали особое значение тому обстоятельству, что назавтра какая-то собака улеглась на траве, где был костер. Ее несколько раз гнали прочь, но она возвращалась. Но не трудно понять – собака почувствовала, что в этом месте теплее, чем где-либо еще»[3].

Три четверти века спустя Леон Фоше составил распорядок дня «для Парижского дома малолетних заключенных»[4].

СТАТЬЯ 17. День заключенных начинается в шесть часов утра зимой и в пять – летом. Работают девять часов в день в любое время года. Два часа в день отводится на учебу. День заключенных оканчивается в девять часов зимой и в восемь – летом.

СТАТЬЯ 18. *Подъем.* По первой барабанной дроби заключенные должны встать и молча одеться, пока надзиратель отпирает двери камер. При второй дроби они должны быть одеты и заправлять койки. По третьей дроби – построиться и направиться в часовню на утреннюю молитву. От дроби до дроби проходит пять минут.

СТАТЬЯ 19. Приор читает молитву, после чего производится нравственное или религиозное чтение. Упражнение не должно занимать более получаса.

СТАТЬЯ 20. *Работа.* Без четверти шесть летом, без четверти семь зимой заключенные спускаются во двор, где должны вымыть руки и лицо и получить первую пайку хлеба. Сразу после этого они строятся по мастерским и направляются на работу, которая начинается в шесть часов

[3] Цит. по: A. L. Zevaes, *Damiens le régicide*, 1937, p. 201–214.
[4] L. Faucher, *De la réforme des prisons*, 1838, p. 274–282.

летом, в семь – зимой.

СТАТЬЯ 21. *Обед.* В десять часов заключенные прекращают работу и направляются в столовую. Они моют руки в своих дворах и строятся по отделениям. После обеда – отдых до без двадцати одиннадцать.

СТАТЬЯ 22. *Урок.* Без двадцати одиннадцать по барабанной дроби заключенные строятся в ряды и отделениями идут в школу. Занятия длятся два часа и посвящаются попеременно чтению, письму, геометрии и арифметике.

СТАТЬЯ 23. Без двадцати час заключенные отделениями выходят из школы и направляются во дворы на перемену. Без пяти час по барабанной дроби снова строятся по мастерским.

СТАТЬЯ 24. В час дня заключенные должны быть в мастерских. Работа длится до четырех.

СТАТЬЯ 25. В четыре часа заключенные выходят из мастерских и направляются во дворы, где моют руки, строятся по отделениям и направляются в столовую.

СТАТЬЯ 26. До пяти длятся ужин и отдых, после чего заключенные возвращаются в мастерские.

СТАТЬЯ 27. В семь часов летом, в восемь – зимой работа прекращается. В мастерских производится последняя раздача хлебных паек. В течение четверти часа один из заключенных или надзирателей производит поучительное или воспитательное чтение, потом идет вечерняя молитва.

СТАТЬЯ 28. В половине восьмого летом, в половине девятого зимой заключенные после мытья рук и обыска во дворах расходятся по камерам. По первой барабанной дроби они должны раздеться, по второй – лечь. Двери камер запираются, и надзиратели совершают обход по коридорам, дабы удостовериться в порядке и тишине.

Итак, публичная казнь и тюремный распорядок дня. Они не карают за одинаковые преступления, не наказывают преступников одного типа. Но каждое из них выражает определенный стиль наказания. Их разделяет меньше века. Время, когда в Европе и Соединенных Штатах вся экономия наказания была преобразована. Время больших «скандалов» в традиционном правосудии, время неисчислимых реформаторских проектов. Новой теории закона и преступления, нового морального или политического обоснования права наказывать, отмены старых предписаний, исчезновения обычаев; время составления «современных» кодексов: Россия, 1769; Пруссия, 1780; Пенсильвания и Тоскана, 1786; Австрия, 1788; Франция, 1791 (год IV*), 1808 и 1810. Новая эра в уголовном правосудии.

Из многочисленных изменений остановлюсь на одном: на исчезновении публичных казней с применением пыток. Сегодня это событие порой обходят вниманием; возможно, в свое время оно вызвало лишние словопрения; может быть, его чересчур поспешно и категорически объяснили процессом «гуманизации», отмахнувшись тем самым от необходимости дальнейшего анализа. Да и так ли важно это изменение по сравнению с великими институциональными преобразованиями, с формулированием четких общих кодексов и единых правил судопроизводства; с почти повсеместным внедрением суда присяжных, с утверждением преимущественно исправительного характера наказания и становившейся все более заметной, начиная с XIX века, тенденцией к модификации наказания применительно к конкретному право-

нарушителю? Не явно физический характер наказания, некоторая осторожность в искусстве причинять боль, смягчение страданий, лишение их нарочитой зрелищности, – разве не следовало бы рассматривать все это как особый случай, как побочное и незначительное следствие более глубоких преобразований? И все же остается фактом, что за несколько десятилетий исчезло казнимое, пытаемое, расчленяемое тело, символически клеймимое в лицо или плечо, выставляемое на публичное обозрение живым или мертвым. Исчезло тело как главная мишень судебно-уголовной репрессии.

В конце XVIII – начале XIX столетия, несмотря на отдельные яркие вспышки, мрачное карательное празднество начинает угасать. В этом преобразовании действуют два процесса. Их развитие во времени не вполне совпадает, содержание не совсем одинаково. С одной стороны, постепенное исчезновение наказания как зрелища. Церемониал наказания сходит со сцены; он сохраняется только как новый процедурный или административный акт. Публичное покаяние впервые было отменено во Франции в 1791-м и снова, после кратковременного восстановления, в 1830 г. Позорный столб упраздняется во Франции в 1789-м, в Англии – в 1837 г. Использование заключенных на общественных работах, для уборки улиц или ремонта дорог, практиковалось в Австрии, Швейцарии и некоторых американских штатах, например в Пенсильвании; прямо на улицах или больших дорогах каторжники в железных ошейниках, пестрой одежде и кандалах обменивались с толпой выкриками, ругательствами, насмешками, пинками, злобными жестами или знаками солидарности[5]. Эта практика была отменена почти повсеместно в конце XVIII – начале XIX века. Демонстративное вождение

[5] Robert Vaux, *Notices*, p. 45, цит. по: N. K. Teeters, *They were in prison*, 1937, p. 24.

осужденных по улицам сохраняется во Франции еще в 1831 г., несмотря на жесткую критику: «отвратительное зрелище», по словам Реаля*[6]; оно было окончательно упразднено в апреле 1848 г. Что касается цепей колодников, которые тянулись по всей Франции до Бреста и Тулона, то в 1837 г. их сменили благопристойные черные тюремные фургоны. Наказание постепенно перестает быть театром. И все, что остается в нем от зрелища, отныне воспринимается отрицательно; как будто постепенно перестают понимать функции уголовно-исполнительной церемонии, как будто этот ритуал, который «завершал» преступление, заподозрили в недолжном родстве с последним: словно заметили, что он равен, а то и превосходит в варварстве само преступление, приучает зрителей к жестокости, тогда как должен отваживать от нее, показывает им, насколько часты преступления, выдает в палаче преступника, в судьях – убийц, в последний момент меняет роли, превращая казнимого преступника в объект сочувствия или восхищения. Беккариа давно заметил: «Убийство, представляемое нам как ужасное преступление, сами совершают хладнокровно, без угрызений совести»[7]. Публичная казнь воспринимается отныне как очаг, где снова разгорается насилие.

Итак, наказание постепенно становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры. Это влечет за собой несколько следствий: наказание покидает область едва ли не повседневного восприятия и входит в область абстрактного сознания; эффективность наказания определяется его неотвратимостью, а не зрелищным воздействием; не ужасающее зрелище публичного наказания, а именно неизбежность наказания должна отвращать от преступления; функциониро-

[6] *Archives parlementaires*, 2[e] série, t. LXXII I[re] déc. 1831.

[7] I. C. de Beccaria, *Traité des délits et des peines*, 1764, p. 101. Здесь и далее цитируется по изданию Ф. Элье (F. Hélie, 1856).

вание наказания в качестве примера изменяет свои механизмы. Тем самым правосудие больше не берет на себя публично ответственность за насилие, связанное с его отправлением. Если оно продолжает убивать, если оно продолжает карать, то не во славу собственной силы; насилие – его внутренний элемент, который ему приходится терпеть, но который ему трудно обосновать. Происходит перераспределение бесчестья: в наказании как зрелище атмосфера ужаса окружала плаху; оно охватывало и палача, и осужденного; и будучи всегда готово превратить позор, навлекаемый на казнимого, в сострадание или славу, оно регулярно посрамляло чинимое во имя закона насилие палача. Отныне позор и огласка распределяются иначе; само осуждение помечает преступника отрицательной и однозначной метой: публичность смещается к судебному разбирательству и приговору; казнь же предстает как дополнительное унижение, которому правосудие стыдится подвергнуть осужденного. Поэтому оно держится подальше от акта казни, неизменно перекладывая его на других, причем под покровом тайны. Унизительно подвергаться наказанию, но и отправление его не приносит славы. Отсюда двойная система защиты, устанавливаемая правосудием между ним самим и назначаемым им наказанием. Приведение приговора в исполнение становится автономным сектором, и его административный механизм снимает ответственность с правосудия; оно избавляется от этого подспудного груза путем бюрократического утаивания наказания. Характерно, что во Франции управление тюрьмами и тюремная администрация долгое время находились в ведении министерства внутренних дел, а управление каторгами осуществлялось министерством морского флота и колоний.

Кроме упомянутого разделения ролей имеет место теоретический отказ: не думайте, что приговоры, выносимые нами, судьями, порождены желанием наказать; нет, они призваны исправлять, вразумлять, «исцелять». Техника исправления вытесняет в наказании собственно искупление содеянного зла и освобождает судей от презренного карательного ремесла. Новое правосудие и некоторые его вершители как будто стыдятся наказывать, что, впрочем, не всегда исключает усердие. Чувство стыда постоянно растет: вокруг этой раны кишат и быстро множатся психологи и мелкие чиновники от моральной ортопедии.

Исчезновение публичных казней и пыток означает исчезновение зрелища. Но также и ослабление власти над телом. Раш пишет в 1787 г.: «Не могу не надеяться, что недалеко то время, когда виселица, позорный столб, плаха, розги и колесо станут расцениваться в истории телесных наказаний как признаки варварства эпох и стран, как доказательство слабого влияния разума и религии на человеческое сознание»[8]. Действительно, шестьдесят лет спустя Ван Минен, открывая в Брюсселе второй пенитенциарный конгресс, вспоминает о временах своего детства как о навсегда ушедшей эпохе: «Я видел землю, усеянную колесами, виселицами, позорными столбами; я видел скелеты, отвратительно распластанные на колесах»[9]. Клеймение отменяется в Англии (1834) и во Франции (1832). В 1820 г. в Англии уже не осмелились применить в полной мере грандиозную публичную казнь, уготованную предателям, – Тистлвуд не был разрублен на куски. Лишь кнут и розги сохранялись еще в некоторых уголовных системах (в России, Англии и Пруссии). Но, вообще говоря, карательные практики стали более сдержанными. Сле-

[8] B. Rush, обращение к Обществу содействия политическим исследованиям, см. в кн.: N. K. Teeters, *The Cradle of the penitentiary*, 1935, p. 30.

[9] См.: *Annales de la Charité*, t. II, 1847, p. 529–530.

дует или вовсе не касаться тела, или касаться его как можно меньше, причем не ради самого тела. Возразят: тюрьма, лишение свободы, принудительные работы, каторга, запрет на проживание в определенных местах, высылка – занимавшие столь важное место в уголовно-правовых системах нового времени – являются «физическими» наказаниями; в отличие от штрафных взысканий, например, они воздействуют непосредственно на тело. Однако взаимосвязь между наказанием и телом уже не такова, какой она была в публичной казни. Тело служит теперь своего рода орудием или посредником: если на него воздействуют тюремным заключением или принудительным трудом, то единственно для того, чтобы лишить индивида свободы, которая считается его правом и собственностью. В соответствии с такой уголовно-исполнительной системой тело окружается целой системой принуждений и лишений, обязанностей и запретов. Физическое страдание, собственно телесная боль больше не являются составными элементами наказания. Перестав быть искусством причинения невыносимых страданий, наказание становится экономией «приостановленных» прав. Если правосудию все еще приходится затрагивать тела осужденных, манипулировать ими, то оно делает это издали, надлежащим образом, в соответствии со строгими правилами и с куда более «возвышенной» целью. Вследствие этой новой сдержанности на смену палачу, этому прямому анатому страдания, приходит целая армия специалистов: надзиратели, врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, воспитатели. Самим своим присутствием возле осужденного они воздают правосудию хвалу, в которой оно так нуждается: они лишний раз убеждают его в том, что тело и боль не являются конечными целями

его карательного действия. Заставляет задуматься вот что: в наше время врач должен находиться при приговоренных к смерти до самого последнего момента; заботясь об их здоровье, облегчая их страдания, он встает рядом со служителем закона, чья задача – положить конец их жизни. Когда наступает момент исполнения приговора, пациентам-жертвам впрыскивают транквилизаторы. Утопия судебной стыдливости: отнимать жизнь, но неощутимо; лишать всех прав, не заставляя страдать; подвергать наказаниям, не причиняя боли. Обращение к психофармакологии и различным физиологическим «выключателям», пусть даже временное, составляет естественную часть этого «нетелесного» наказания.

Об этом двойственном процессе – исчезновении зрелища и упразднении боли – свидетельствуют современные ритуалы смертной казни. Это же движение побудило к изменению, каждое в свое время, европейские законодательства: одинаковая смерть для всех преступников – смертная казнь уже не несет на себе, словно герб, специфическое клеймо наказания или общественного статуса преступника; смерть длится лишь мгновение – никакое ожесточение не должно раздроблять ее на множество шагов, предшествующих собственно смерти или осуществляемых на трупе; казнь скорее отнимает жизнь, нежели поражает тело. Уже нет тех долгих процессов, в ходе которых смерть замедлялась путем рассчитанных остановок и вместе с тем растягивалась посредством целого ряда повторяющихся приступов. Уже не практикуются сочетания пыток, которые задумывались как зрелищная казнь цареубийц, вроде той, о которой в начале XVIII века мечтал автор текста «Hanging not Punishment enough»[10]: надлежит переломать конечности осужденного на колесе, затем

[10] Анонимное сочинение, опубликованное в 1701 г.

избить его плетью до потери сознания, потом подвесить на цепях и, наконец, дать ему медленно умереть голодной смертью. Уже не устраиваются публичные казни, когда осужденного волочили на плетенке (чтобы голова не разбилась о булыжную мостовую), когда ему вспарывали живот и быстро вырывали кишки, чтобы он успел собственными глазами увидеть, как их швыряют в огонь, и наконец обезглавливали и четвертовали[11]. Сведение «тысячи смертей» к жестко регламентированной смертной казни определяет совершенно новую мораль акта наказания.

Уже в 1760 г. в Англии (в ходе казни лорда Феррера) была испытана висельная машина (подножка, убирающаяся из-под ног осужденного, позволяла избежать медленной агонии и схваток между жертвой и палачом). Она была усовершенствована и окончательно принята на вооружение в 1783 г., в том же году, когда отменили традиционное шествие из Ньюгейта в Тибурн и, воспользовавшись реконструкцией тюрьмы после гордоновских бунтов, устроили плахи в самом Ньюгейте[12]. Знаменитая третья статья французского уголовного кодекса 1791 г. – «каждому приговоренному к смерти надлежит отрубить голову» – имела троякое значение и предполагала: равную смерть для всех («правонарушения одного рода караются одинаково, независимо от ранга и общественного положения виновного», – говорилось в предложении, внесенном Гильотэном* и принятом 1 декабря 1789 г.); одну смерть для каждого приговоренного, причиняемую одним ударом, без использования «долгих, а тем самым жестоких» методов, таких, как казнь через повешение, осужденная Ле Пелетье**; наконец, наказание только самого приговоренного, поскольку обезглавливание, основное смертное наказание для

[11] Публичная казнь предателей, описанная У. Блэкстоном, см. пер. на франц. яз. (1776): W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel anglais*, p. 105. Поскольку перевод был предпринят с целью прославления гуманности английского законодательства по сравнению со старым уложением 1670 г., французский переводчик добавляет: «В этой публичной казни, представляющей собой столь ужасное зрелище, виновный страдает немного и недолго».

[12] См.: Ch. Hibbert, *The Roots of evil*, 1966, p. 85–86.

знати, менее других форм казни позорит семью преступника[13]. Гильотина, впервые примененная в марте 1790 г., – механизм, отвечающий этим принципам. Смерть сводится к видимому, но мгновенному событию. Контакт между законом или теми, кто проводит его в жизнь, и телом преступника становится молниеносным. Никакого физического столкновения; палач должен быть не более чем добросовестным часовщиком. «Опыт и размышление убеждают, что применявшийся ранее метод отсечения головы подвергает преступника более страшной пытке, нежели простое лишение жизни, которое является формальной целью закона; поэтому казнь должна совершаться мгновенно и одним ударом; примеры показывают, как трудно этого достичь. Процедура будет совершенной лишь в том случае, если используются одни и те же механические средства, сила и действенность которых также поддаются исчислению... Достаточно легко изготовить такую неизменно действенную машину. Обезглавливание будет производиться мгновенно, в соответствии с целью нового закона. Если это устройство действительно необходимо, оно не вызовет возмущения умов и едва ли будет замечено»[14]. Гильотина отнимает жизнь, почти не касаясь тела, подобно тому как тюрьма лишает свободы, а наложение штрафа забирает часть имущества. Она задумана таким образом, чтобы обеспечить применение закона не столько к реальному телу, способному испытывать боль, сколько к юридическому лицу, обладающему помимо других прав правом на жизнь. Она должна обладать абстрактностью самого закона.

Несомненно, на сдержанность процедур казни во Франции какое-то время падал отсвет публичных казней. Отцеубийц – и приравниваемых к ним цареубийц – возводили на

[13] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI, 3 juin 1791, p. 720.

[14] A. Lois, *Rapport sur la guillotine*, цит. по: Saint-Edme, *Dictionnaire de pénalité*, 1825, t. IV, p. 161.

эшафот под черным покрывалом; здесь им отрубали кисть руки (до 1832 г.). Впоследствии от этой процедуры остался лишь декоративный траурный креп. Так было с Фиески* в ноябре 1836 г.: «Надлежит привезти его на место казни в рубашке, босым, с черным покрывалом на голове; выставить на эшафоте, пока судебный исполнитель зачтет народу приговор, засим немедленно казнить». Вспомним Дамьена. Заметим, что последним дополнением к смерти как уголовному наказанию было траурное покрывало. Отныне осужденный не должен быть виден. Только зачтение приговора на эшафоте сообщает о преступлении, которое не должно иметь лица[15]. Последним следом грандиозных публичных казней становится их упразднение: ткань, скрывающая тело. Вот казнь трижды преступившего закон (убийца своей матери, гомосексуалист, убийца другого человека) Бенуа, которому первым из убийц собственного родителя закон позволил избежать отсечения кисти руки: «При зачтении приговора он стоял на эшафоте, поддерживаемый палачами. В зрелище этом было что-то страшное; закутанный в широкий белый саван, с лицом, скрытым за черным крепом, матереубийца прятался от взглядов безмолвной толпы, и под таинственным и мрачным одеянием жизнь проявляла себя лишь ужасными воплями, вскоре стихшими под ножом»[16].

Итак, в начале XIX века исчезает грандиозное зрелище физического наказания; избегают казнимого тела; из наказания исключается театрализация страдания. Начинается эра карательной сдержанности. Исчезновение публичных казней, предваряемых пытками, практически свершилось к 1830–1848 гг. Конечно, эта всеобъемлющая констатация требует уточнения. Прежде всего, изменения произошли не ра-

[15] Распространенное тогда представление: чем чудовищнее преступление, тем больше преступник должен быть лишен света, с тем чтобы не видеть и не быть видимым. Для отцеубийцы надлежит «изготовить железную клетку или вырыть непроницаемую темницу, которая послужит ему последним пристанищем» (De Molène, *De l'humanité des lois criminelles*, 1830, p. 275–277).

[16] *Gazette des tribunaux*, 30 août 1832.

зом, не одновременно. Были задержки. Парадоксально, но Англия оказалась одной из стран, которые упорнее других противились отмене публичных казней: возможно, это объяснялось ролью модели, полученной ее уголовным правосудием благодаря учреждению суда присяжных, публичному судоразбирательству, соблюдению *habeas corpus**; главным же образом, несомненно, тем, что она не захотела ослабить строгость уголовных законов в период серьезных общественных беспорядков 1780–1820 гг. Долгое время Ромильи, Макинтошу и Фоуэллу Бакстону не удавалось добиться уменьшения числа и смягчения наказаний, предусмотренных английским законом – этой «чудовищной бойней», по словам Росси**. Строгость закона (фактически, суды присяжных считали предусмотренные им наказания слишком суровыми, а потому были скорее снисходительны в их применении) даже возросла: в 1760 г. Блэкстоун насчитывал в английском законодательстве 160 преступлений, наказуемых смертной казнью, а в 1819 г. их стало уже 223. Следует также принять во внимание продвижения вперед и отступления, характеризовавшие весь этот процесс в 1760–1840 гг., быстроту реформ в некоторых странах, таких, как Австрия, Россия, Соединенные Штаты или Франция во время Конституанты, а затем их спад в эпоху европейских контрреволюций и великого общественного страха 1820–1848 гг., более или менее краткие изменения, вводимые чрезвычайными судами или законами, расхождение между законами и реальной практикой судов (отнюдь не являвшейся зеркальным отражением состояния законодательства). Все это объясняет неравномерность преобразования, свершившегося на рубеже XVIII–XIX веков.

Следует добавить, что, хотя это преобразование в значительной мере закончилось к 1840 г., хотя механизмы наказания к тому времени стали действовать по-новому, сам процесс изменений был далек от завершения. Уменьшение числа публичных казней с применением пыток – тенденция, коренившаяся в великом преобразовании 1760–1840 гг.; но в этот период она не достигла полной реализации. Можно сказать, что практика публичной казни долго преследовала нашу систему уголовных наказаний и еще жива в ней. Гильотина, механизм быстрых и незаметных смертей, знаменовала во Франции новую этику законосообразной смерти. Но Революция тотчас придала ее применению пышный театральный ритуал. Долгие годы длился этот спектакль. Для того чтобы казнь перестала быть зрелищем и оставалась странной тайной правосудия и осужденного, потребовалось перенести гильотину к заставе Сен-Жак, заменить открытую повозку крытым фургоном, быстро выталкивать осужденного из фургона прямо на эшафот, организовывать казни наспех и в неожиданное время; в конце концов пришлось установить гильотины в тюрьмах и сделать их недоступными для публики (после казни Вейдманна в 1939 г.), перекрыв улицы, ведущие к тюрьме, где спрятан эшафот и тайно вершится казнь (казнь Бюффэ и Бонтана в тюрьме Сантэ в 1972 г.); понадобилось даже преследовать свидетелей, рассказывавших об исполнении казни. Достаточно лишь упомянуть об этих многочисленных предосторожностях, как становится ясно, что и сегодня смертное наказание остается, в сущности, зрелищем, которое, собственно, необходимо запретить.

Что касается карательного захвата тела, то даже в середине XIX века он не отошел в прошлое. Конечно, наказание пе-

рестало сосредоточиваться на пытке как технологии причинения страдания; основной целью его стало лишение имущества или прав. Но такие наказания, как каторжные работы или даже заключение – простое лишение свободы, – никогда не действовали без некоторого карательного дополнения, ощутимо затрагивающего само тело: продовольственные пайки, лишение половых сношений, избиение, одиночное заключение. Является ли это непреднамеренным, но неизбежным следствием заключения? Фактически, тюрьма в самых очевидных своих практиках всегда содержала определенную долю телесного страдания. Критика тюремной системы, нередкая в первой половине XIX века (тюрьма не является достаточным наказанием: заключенные менее голодны, менее страдают от холода, вообще испытывают меньше лишений, чем многие бедняки или даже рабочие), указывает на постулат, который так и не был открыто отвергнут: осужденный должен испытывать бóльшие физические страдания, чем другие люди. Трудно отделить наказание от дополнения в форме физической боли. Каким было бы нетелесное наказание?

Итак, в современных механизмах уголовного правосудия сохраняется след публичных «пыточных» казней – след, который не вполне изжит, но все более изглаживается «нетелесной» уголовно-исполнительной системой.

* * *

Смягчение строгости уголовно-исполнительной системы в последние века – явление, хорошо известное историкам права. Но в течение долгого времени оно рассматривалось в целом как явление количественное: меньше жестокости,

меньше страдания, больше мягкости, больше уважения, больше гуманности. В действительности же эти изменения сопровождаются заменой самого объекта карательной операции. Уменьшение насилия? Возможно. Смена объекта? Бесспорно.

Если система исполнения наказания в самых строгих ее формах уже не обращена на тело, тогда за что же она цепляется? Ответ теоретиков — тех, кто открыл в 60-х годах XVIII века период, который пока еще не завершился, — прост, почти очевиден. Он как бы содержится в самом вопросе. Если не тело, то душа. Искупление, которое некогда терзало тело, должно быть заменено наказанием, действующим в глубине, — на сердце, мысли, волю, наклонности. Мабли* сформулировал этот принцип раз и навсегда: «Наказание, скажем так, должно поражать скорее душу, чем тело»[17].

Важный момент. Старые соучастники зрелищного наказания, тело и кровь, сходят со сцены. Новый персонаж появляется здесь в маске. Заканчивается своеобразная трагедия; начинается комедия с игрой теней, безликими голосами, неосязаемыми сущностями. Аппарат уголовного правосудия должен «вгрызаться» теперь в эту бестелесную реальность.

Чисто теоретическое утверждение, опровергаемое уголовно-правовой практикой? Такой вывод был бы слишком поспешным. Конечно, в наше время наказывать не значит просто обращать душу, но принцип Мабли не остался благим пожеланием. Во всей современной уголовно-правовой системе можно наблюдать его следствия.

Прежде всего, замена объектов. Я не хочу сказать, что стали вдруг наказывать за другие преступления. Несомненно, определение правонарушений, классификация их в зави-

[17] G. de Mably, *De la législation, Œuvres complètes*, 1789, t. IX, p. 326.

симости от тяжести, области дозволительного, то, что допускается фактически, и то, что разрешено законом, — все это за последние двести лет значительно изменилось; многие преступления перестали существовать, поскольку они были связаны с определенным отправлением церковной власти или конкретным типом экономической жизни: богохульство утратило статус преступления; контрабанда и кража домашнего имущества перестали считаться очень серьезными преступлениями. Но эти смещения, пожалуй, не самый важный факт: разделение на дозволенное и запрещенное сохраняло определенную устойчивость из века в век. С другой стороны, «преступление», объект судебно-уголовной практики, глубоко изменилось: изменились скорее качество, природа, состав, в некотором роде субстанция наказуемого элемента, нежели его формальное определение. Под покровом относительной неизменности закона произошло множество тонких и быстрых перемен. Под именем «преступления и проступки» по-прежнему судят юридические объекты, определенные в Кодексе, но судят также страсти, инстинкты, аномалии, физические недостатки, неприспособленность, последствия воздействия среды или наследственности; наказывают акты агрессии, но через них и агрессивность; изнасилования, но в то же время извращения; убийства, но также влечения и желания. Возразят, что судят не это и что если все это вообще упоминается, то лишь для того, чтобы объяснить рассматриваемые деяния и установить, в какой мере в преступлении участвовала воля субъекта. Ответ несостоятельный. Ведь судят и наказывают именно их, эти тени, таящиеся за элементами дела. Их судят окольным путем, как «смягчающие обстоятельства», которые вводят в приговор не только «про-

диктованные обстоятельствами» элементы деяния, но и нечто совсем иное, юридически не квалифицируемое: знание преступника, впечатление о нем, то, что известно об отношениях между ним, его прошлым и его преступлением, и то, что можно ожидать от него в будущем. Их судят также через игру всех тех понятий, которые циркулировали между медициной и судебной практикой с XIX века («монстры» в эпоху Жоржe*, «психические аномалии» по циркуляру Шомье, «извращенцы» и «неприспособленные», «недееспособные» у современных экспертов) и которые, под предлогом объяснения деяния, являются способами квалификации индивида. Их карают наказанием, заставляющим преступника «не просто желать жить, но и быть способным жить, соблюдая закон и зарабатывая свой хлеб»; их карают посредством внутренней экономии наказания, которое, хотя и должно наказывать за конкретное преступление, может быть изменено (сокращено или, в некоторых случаях, продлено) в зависимости от изменений в поведении осужденного; их наказывают и посредством сопровождающих наказание «мер безопасности» (запрет на проживание в определенных местах, освобождение с условием дальнейшего надзора, назначение «опеки», принудительное лечение), которые нацелены не на наказание правонарушителя, а на контроль над индивидом, нейтрализацию исходящей от него опасности, изменение его преступных наклонностей, и которые должны прекратить свое действие тогда, когда искомое изменение будет достигнуто. Душа преступника упоминается на суде не просто для объяснения преступления, не просто как элемент юридического распределения ответственности; ее вызывают на суд, с таким пафосом, с таким стремлением понять, с таким «научным» рвени-

ем, также для того, чтобы она была судима, как и преступление, и получила свою долю наказания. Во всем судебно-уголовном ритуале, от предварительного следствия до вынесения приговора и последних результатов наказания, мы угадываем некую область объектов, которые не только дублируют юридические объекты, но и участвуют в их определении и кодификации. Психиатрическая экспертиза, но и вообще судебная антропология и навязший в зубах дискурс криминологии находят здесь одну из своих прямых функций: торжественно включая правонарушения в поле объектов, подлежащих научному познанию, они обеспечивают механизмы правового наказания обоснованной властью не только над правонарушениями, но и над самими индивидами; не только над тем, что они делают, но и над тем, какими они, возможно, станут. Дополнение в форме души, которым обеспечило себя правосудие, – казалось бы, объясняющее и ограничительное, но на самом деле захватническое. В течение 150–200 лет, с тех пор как Европа внедрила новые уголовно-правовые системы, судьи постепенно, но в ходе процесса, имеющего очень давние истоки, стали судить уже не преступления, а «душу» преступников.

А тем самым они начали делать нечто иное, нежели вершить правосудие. Или, точнее говоря, в саму судебную модальность приговора вкрались иные типы оценки, существенно изменив правила его выработки. С тех пор как средние века в результате медленного и болезненного процесса создали великую процедуру дознания, сложилось мнение, что судить – значит установить истину преступления, определить личность преступника и применить к нему предусмотренное законом наказание. Знание правонарушения, знание винов-

ного, знание закона – три условия, позволявшие положить в основание приговора истину. Но теперь в ход уголовного судопроизводства вводится совсем иной вопрос об истине. Не просто: «Установлен ли акт и является ли он преступным?» – но также: «Что это за акт, какое это насилие или убийство? К какому уровню или к какой области реальности он принадлежит? Что это – фантазия, психотическая реакция, временное безумие, развращенность?» Не просто: «Кто его совершил?» – но также: «Как установить вызвавший его причинный процесс? Что в самой личности преступника привело к преступлению? Инстинкт, бессознательное, среда, наследственность?» Не просто: «Каким законом карается это правонарушение?» – но: «Какие меры были бы наиболее адекватными? Как предвидеть эволюцию преступника? Каков наилучший путь к его исправлению?» В структуру судопроизводства и вынесения судебного приговора внедрился целый комплекс оценочных, диагностических, прогностических и нормативных суждений о преступном индивиде. Другая истина вклинилась в ту, что требовалась судебным механизмом; эта другая истина, переплетаясь с первой, превращает утверждение виновности в странный научно-юридический комплекс. Примечателен характер эволюции вопроса о безумии в судебной практике. В кодексе 1810 г. безумие упоминалось только в статье 64. Эта статья гласит, что нет состава преступления или проступка, если правонарушитель в момент совершения деяния находился в невменяемом состоянии. Установление факта безумия, следовательно, несовместимо с квалификацией деяния как преступления; ни тяжесть деяния не изменяется в зависимости от факта безумия субъекта, ни наказание не смягчается – исчезает преступление

как таковое. Следовательно, невозможно было объявить кого-либо одновременно виновным и сумасшедшим. Если ставится диагноз помешательства, то он не только несовместим с приговором, а просто прерывает расследование и вырывает совершившего преступное деяние из когтей правосудия. Не только обследование преступника, подозреваемого в невменяемости, но и сами последствия этого обследования должны оставаться вне приговора и предшествовать ему. Но очень скоро суды XIX столетия стали ошибаться в толковании статьи 64. Несмотря на ряд постановлений кассационного суда, подтверждавших, что признание помешательства не может повлечь за собой ни смягчения наказания, ни даже оправдания, но требует прекращения дела, судьи продолжали ставить вопрос о помешательстве в самом приговоре. Они допускали, что можно быть одновременно виновным и безумным, причем тем менее виновным, чем более безумным; конечно, подсудимый виновен, но его следует скорее изолировать и лечить, чем наказывать; он не только виновен, но и опасен, поскольку явно болен, и т. п. В результате возникали несообразности с точки зрения уголовного кодекса. Но это стало отправной точкой изменения, к которому подталкивали судебные практики и законодательство в течение последующих 150 лет: уже реформа 1832 г., которая ввела понятие «смягчающие обстоятельства», сделала возможным изменение приговора в зависимости от предполагаемой степени развития болезни или форм частичного помешательства. А практика обращения к психиатрической экспертизе, обычная для судов присяжных и применяемая иногда даже в уголовном суде, означает, что приговор, даже если он всегда формулируется в терминах правового наказания, более или

менее явным образом содержит в себе суждения о нормальности преступника и причинах преступления, оценку возможных перемен в его поведении, предвосхищение его будущего. Неверно было бы сказать, что все эти операции обеспечивают обоснование приговора «извне»; они непосредственно интегрированы в процесс подготовки приговора. Теперь безумие не отменяет преступление, что соответствовало бы первоначальному смыслу статьи 64: каждое преступление, и даже каждое правонарушение, несет в себе (как законное подозрение, но также как законное право) предположение о безумии, во всяком случае – об аномалии. И приговор, который осуждает или оправдывает, является не просто суждением о виновности, правовым решением, устанавливающим наказание; он содержит в себе оценку нормальности и техническое предписание о возможной нормализации. В наши дни судья – и магистрат, и присяжный заседатель – на самом деле не просто «судит».

И судит он не в одиночестве. Во всей судебной процедуре и приведении приговора в исполнение участвует множество вспомогательных инстанций. Вокруг основного разбора дела в суде и вынесения судебного решения множатся мелкие органы правосудия и «параллельные» судьи: специалисты в области психиатрии или психологии, магистраты, следящие за исполнением наказаний, воспитатели, чиновники тюремной администрации дробят законную власть наказывать. Могут возразить, что никто из них в действительности не разделяет права судить; что одни, после вынесения приговора, имеют лишь право осуществлять наказание и, особенно, что другие – специалисты – вмешиваются в процесс до вынесения приговора, и не для того чтобы сформулировать его,

но для того чтобы помочь судьям принять решение. Но раз наказания и меры безопасности, установленные судом, не являются абсолютно непреложными, – поскольку они могут быть изменены по ходу дела, поскольку другим, помимо судей, предоставляется решать, «заслуживает» ли осужденный свободы под надзором или условного наказания и они могут положить конец сроку отбывания наказания, – этим другим передаются механизмы правового наказания, которые могут быть применены по их усмотрению: они хоть и вспомогательные судьи, но все-таки судьи. Весь механизм, с годами сложившийся вокруг исполнения приговоров и согласования наказания с индивидуальностью преступника, обеспечивает быстрое умножение числа инстанций, участвующих в принятии судебного решения, и расширяет сферу судебных решений далеко за рамки приговора. Со своей стороны, специалисты-психиатры вполне могут отрицать свое участие в вынесении и исполнении приговора. Рассмотрим три вопроса, на которые, согласно циркуляру 1958 г., они должны ответить. Представляет ли опасность для общества состояние обвиняемого? Подлежит ли он уголовному наказанию? Поддается ли он излечению или перевоспитанию? Эти вопросы не имеют никакого отношения ни к статье 64, ни к вероятности безумия обвиняемого в момент совершения деяния. Они не служат определению «ответственности». Они имеют отношение разве лишь к управлению наказанием, устанавливают его необходимость, полезность, возможную эффективность; они показывают на некодифицированном языке, что будет более подходящим местом заключения — психиатрическая лечебница или тюрьма, каким должно быть заключение – кратким или длительным, что именно требуется – медицинское лече-

ние или заключение. Какова роль психиатра в уголовных вопросах? Он не специалист по вменяемости, но консультант по наказанию. Его дело – сказать, является ли субъект «опасным», каким образом надо от него защищаться, каким должно быть вмешательство, направленное на его изменение, что более целесообразно – меры подавления или лечения. В самом начале своей истории психиатрическая экспертиза была призвана формулировать «истинные» суждения относительно той роли, какую играла свобода правонарушителя в совершенном им действии; теперь она должна предлагать рецепты для того, что можно было бы назвать «медико-судебным лечением» правонарушителя.

Подведем итоги. С начала действия новой уголовно-правовой системы – установленной великими кодексами XVIII–XIX столетий – общий ход событий заставил судей судить нечто иное, нежели преступления; в своих приговорах они были вынуждены делать нечто иное, нежели судить; а власть судить отчасти была передана иным инстанциям, нежели судьи, призванные судить за правонарушения. В судебно-уголовную деятельность во всех ее формах влились внесудебные элементы и лица. Могут возразить, что здесь нет ничего необычного, поскольку право должно постепенно впитывать в себя чуждые ему элементы. Однако современному уголовному правосудию свойственна одна странность: оно включает в себя многочисленные внесудебные элементы не для того, чтобы юридически их квалифицировать и постепенно интегрировать во власть наказывать в точном смысле слова; но, напротив, для того чтобы заставить их функционировать в рамках уголовно-судебного процесса в качестве внесудебных элементов; для того чтобы помешать судебной про-

цедуре быть просто правовым наказанием; для того чтобы отвести от судьи обвинение в том, что он занимается исключительно и просто тем, что карает: «Конечно, мы выносим приговор, но он определяется самим преступлением. Вы прекрасно понимаете, что мы рассматриваем его как способ излечения преступника. Мы наказываем преступника, но тем самым говорим, что хотим добиться его исцеления». Сегодня уголовное правосудие функционирует и обосновывает себя посредством вечной отсылки к иному, нежели оно само, посредством непрестанно возобновляемого включения себя во внесудебные системы. Оно обречено на самообоснование посредством знания.

Итак, под возрастающей мягкостью наказания можно уловить смещение точки его приложения, а благодаря этому смещению — целое поле новых объектов, новый режим истины и множество ролей, дотоле небывалых в отправлении уголовного правосудия. Знание, методы, «научные» дискурсы формируются и постепенно переплетаются с практикой власти наказывать.

Цель этой книги — сравнительная история современной души и новой власти судить, генеалогия нынешнего научно-судебного единства, в котором власть наказывать находит себе основания, обоснование и правила, благодаря которому она расширяет свои воздействия и маскирует свое чрезмерное своеобразие.

Но какова исходная точка истории современной судимой души? Если ограничиться эволюцией права или уголовного судопроизводства, то неизбежна опасность представить начало изменения коллективной чувствительности, возрастания гуманности или развития гуманитарных наук как моно-

литный, внешний, инертный и первичный факт. Исследуя же, подобно Дюркгейму[18], лишь общие социальные формы, мы рискуем принять за начало смягчения наказаний процессы индивидуализации, являющиеся скорее одним из следствий новых тактик власти наряду с новыми карательными механизмами. Данное исследование основывается на четырех основных правилах.

1. Не сосредоточиваться при исследовании карательных механизмов единственно на их «репрессивных» воздействиях, на присущих им аспектах «наказания», а рассматривать их с учетом целого ряда их возможных положительных следствий, даже если эти последние на первый взгляд кажутся побочными и второстепенными. А значит, рассматривать наказание как сложную социальную функцию.

2. Анализировать карательные методы не просто как последствия правовых установлений или индикаторы социальных структур, но как техники, обладающие собственной спецификой в более общем поле прочих методов отправления власти. Рассматривать наказание как политическую тактику.

3. Вместо того чтобы рассматривать историю уголовного права и историю гуманитарных наук как два отдельных ряда, пересечение которых, видимо, может оказать на одну из них, а то и на обе пагубное или полезное (в зависимости от избранной точки зрения) воздействие, следует посмотреть, нет ли у них некой общей матрицы, не происходят ли они из одного процесса «эпистемологическо-юридического» формирования; короче говоря, сделать технологию власти началом как гуманизации уголовного права, так и познания человека.

4. Постараться выяснить, не является ли появление души на сцене уголовного правосудия, а вместе с тем внедрение в

[18] E. Durkheim, «Deux lois de l'évolution pénale», *Année sociologique* IV, 1899-1900.

судебную практику корпуса «научного» знания следствием преобразования способа захвата тела как такового отношениями власти.

Словом, надо попытаться исследовать метаморфозу карательных методов на основе политической технологии тела, которая может рассматриваться как общая история отношений власти и объектных отношений. Тогда посредством анализа относительной мягкости уголовно-правовой системы как техники власти можно будет выяснить, каким образом человек, «душа», нормальный или ненормальный индивид начинают «дублировать» преступление как объекты уголовно-правового вмешательства, а вместе с тем – каким образом некий специфический способ подчинения дал рождение человеку как объекту познания для дискурса, имеющего статус «научного».

Но я не претендую на то, что начал работать в этом направлении первым[19].

* * *

Великий труд Руше и Киршхаймера[20] дает несколько важнейших ориентиров. Прежде всего, надо избавиться от иллюзии, будто уголовно-правовая система является главным образом (если не исключительно) средством борьбы с правонарушениями и будто в этой роли, в зависимости от социальных форм, политических систем или взглядов, она бывает суровой или мягкой, может быть нацелена на искупление или возмещение, на преследование индивидов или на вменение коллективной ответственности. Скорее, надо анализировать «конкретные уголовно-исполни-

[19] Никакими ссылками и цитатами невозможно выразить, чем обязана эта книга Ж. Делёзу и работе, предпринятой им совместно с Ф. Гваттари. Хочу упомянуть также, что полезными для меня оказались многие страницы труда Р. Кастеля «Психоанализ», и поблагодарить П. Нора, перед которым я в большом долгу.

[20] G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and social structures*, 1939.

тельные системы», исследовать их как социальные явления, которые не могут быть объяснены ни одной лишь юридической структурой общества, ни его фундаментальным этическим выбором; надо переместить их в поле их собственного функционирования, где наказание преступления не является единственным элементом; надо показать, что карательные меры – не просто «негативные» механизмы, позволяющие подавлять, предотвращать, исключать, устранять, но что они связаны с целым рядом положительных и полезных последствий, которые призваны обеспечивать (в этом смысле можно сказать, что если законосообразные наказания должны карать за правонарушения, то установление правонарушений и их пресечение направлены, в свою очередь, на поддержание карательных механизмов и их функций). С этой точки зрения Руше и Кирхеймер сопоставили различные системы наказания с системами производства, в рамках которых они действуют: так, в рабовладельческом обществе карательные механизмы служат созданию дополнительной рабочей силы – созданию «гражданского» порабощения наряду с порабощением в результате завоеваний или торговли; при феодализме, в эпоху, когда деньги и производство только начинают развиваться, наблюдается резкий рост числа телесных наказаний – ведь для большинства людей тело является единственной собственностью, имеющейся в их распоряжении; исправительный дом (Центральная исправительная богадельня в Париже, Спинхёйс и Распхёйс*), принудительный труд и тюремные предприятия возникают вместе с рыночной экономикой. Но система промышленного производства требует свободного рынка

рабочей силы, и поэтому в XIX веке доля принудительного труда в механизмах исполнения наказаний сокращается и он уступает место заключению в исправительных целях. Несомненно, относительно строгая корреляция устанавливается здесь лишь с рядом оговорок.

Но, конечно, мы можем принять общее положение, согласно которому в современных обществах карательные системы должны быть вписаны в определенную «политическую экономию» тела. Даже если они не прибегают к насильственным и кровавым наказаниям, даже если они используют «мягкие» методы, включая лишение свободы и исправление, речь все равно идет о теле — о теле и его силах, об их полезности и послушности, распределении и подчинении. Совершенно правомерна история наказания, отталкивающаяся от моральных идей или юридических структур. Но можно ли написать такую историю на основании истории тел, если системы наказания утверждают, что имеют своей целью только загадочные души преступников?

Историки давно начали писать историю тела. Они исследовали тело в плане исторической демографии и патологии. Они рассматривали тело как вместилище потребностей и желаний, как место, где происходят физиологические процессы и метаболизм, как мишень для микробов или вирусов. Они показали, до какой степени исторические процессы были вовлечены в то, что может казаться чисто биологической основой существования, и какое место в истории обществ следует отвести биологическим «событиям», таким, как циркуляция бацилл или увеличение продолжительности жизни[21]. Но тело непосредственно погружено и в область политического. Отношения власти держат его мертвой хваткой.

[21] См.: E. Le Roy-Ladurie, «L'histoire immobile», *Annales*, mai–juin 1974.

Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытают, принуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, производить знаки. Политический захват тела связан сложными двусторонними отношениями с его экономическим использованием; тело захватывается отношениями власти и господства главным образом как производительная сила. Но, с другой стороны, его функция как рабочей силы может осуществляться только в том случае, если оно вовлечено в систему подчинения (где потребность служит также политическим инструментом – тщательно подготовленным, рассчитанным и используемым); тело становится полезной силой только в том случае, если является одновременно телом производительным и телом подчиненным. Подчинение его не достигается исключительно средствами насилия или идеологии. Оно может быть также непосредственным, физическим, применяющим силу против силы, основанным на материальных элементах и при этом без участия насилия; оно может быть рассчитанным, организованным, технически продуманным; оно может быть тонким, может не использовать ни оружия, ни устрашения и все же сохранять свою физическую природу. Иными словами, возможно «знание» тела, отличающееся от знания его функционирования, и возможно овладение его силами, представляющее собой нечто большее, нежели способность их покорить: знание и овладение, образующие то, что можно назвать политической технологией тела. Конечно, технология тела диффузна, редко выражается в связном, систематическом дискурсе; часто она лишена целостности, предлагает разрозненные инструменты и методы. При всей согласованности ее результатов обычно она представляет собой разве лишь многообразные приспособления. Кроме то-

го, она не может быть локализована в конкретном институте или государственном аппарате. Ибо они обращаются к ней, они используют, выбирают или насаждают некоторые ее методы. Но она сама в своих механизмах и воздействиях располагается совсем на другом уровне. Упомянутые аппараты и институты проводят в некотором смысле микрофизику власти, поле действия которой простирается между большими делами власти и собственно телами с их материальностью и силами.

Исследование микрофизики власти предполагает, что отправляемая власть понимается не как достояние, а как стратегия, что воздействия господства приписываются не «присвоению», а механизмам, маневрам, тактикам, техникам, действиям. Что надо видеть в ней сеть неизменно напряженных, активных отношений, а не привилегию, которой можно обладать. Что следует считать ее моделью скорее вечное сражение, нежели договор о правах и имуществе или завоевание территории. Словом, эта власть скорее отправляется, нежели принадлежит; она не «привилегия», приобретенная или сохраняемая господствующим классом, а совокупное воздействие его стратегических позиций — воздействие, которое обнаруживается и иногда расширяется благодаря положению тех, над кем господствуют. Кроме того, эта власть не отправляется как простая обязанность или запрет, налагаемые на тех, кто «ее не имеет»; она захватывает последних, передается через и сквозь них; она оказывает давление на них, точно так же они, борясь против нее, сопротивляются ее хватке. Значит, отношения власти проникают в самую толщу общества; они не локализуются в отношениях между государством и гражданами или на границе между классами и не просто

воспроизводят – на уровне индивидов, тел, жестов и поступков – общую форму закона или правления; и существующая непрерывность (они сопряжены с этой формой посредством целого ряда сложных механизмов) не обеспечивается ни аналогией, ни гомологией, но – специфичностью механизма и модальности. Наконец, отношения власти не однозначны; они выражаются в бесчисленных точках столкновения и очагах нестабильности, каждый из которых несет в себе опасность конфликта, борьбы и по крайней мере временного изменения соотношения сил. Следовательно, свержение «микровластей» не повинуется закону «все или ничего»; оно не достигается раз и навсегда ни посредством нового контроля над механизмами, ни посредством нового функционирования или разрушения институтов; с другой стороны, ни один его отдельный эпизод не может остаться в истории иначе, нежели как через последствия его для всей сети, которой он охвачен.

Пожалуй, следует отбросить также целую традицию, внушающую нам, будто знание может существовать лишь там, где приостановлены отношения власти, и развиваться лишь вне предписаний, требований и интересов власти. Вероятно, следует отказаться от уверенности, что власть порождает безумие и что (следуя той же логике) нельзя стать ученым, не отказавшись от власти. Скорее, надо признать, что власть производит знание (и не просто потому, что поощряет его, ибо оно ей служит, или применяет его, поскольку оно полезно); что власть и знание непосредственно предполагают друг друга; что нет ни отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти. Следо-

вательно, отношения «власть–знание» не следует анализировать на основании познающего субъекта, свободного или не свободного по отношению к системе власти; напротив, следует исходить из того, что познающий субъект, познаваемые объекты и модальности познания представляют собой проявления этих фундаментальных импликаций отношения «власть–знание» и их исторических трансформаций. Словом, полезное для власти или противящееся ей знание производится не деятельностью познающего субъекта, но властью – знанием, процессами и борьбой, пронизывающими и образующими это отношение, которое определяет формы и возможные области знания.

Анализ политического захвата тела и микрофизики власти предполагает, следовательно, отказ – в том, что касается власти, – от оппозиции «насилие–идеология», от метафоры собственности, от модели договора или завоевания; и отказ – в том, что касается знания, – от оппозиции между «заинтересованным» и «незаинтересованным», «корыстным» и «бескорыстным», от модели познания, в котором главную роль играет субъект. Если заимствовать слово у Петти* и его современников, но дать ему иной смысл, нежели в XVII веке, можно представить себе политическую «анатомию». Она не была бы ни исследованием государства как «тела» (с его элементами, ресурсами и силами), ни исследованием тела и его окружения как маленького государства. Она была бы исследованием «политического тела» как совокупности материальных элементов и техник, служащих оружием, средствами передачи, каналами коммуникации и точками опоры для отношений власти и знания, которые захватывают и подчиняют человеческие тела, превращая их в объекты познания.

Следует рассматривать технологии наказания – неважно, овладевают ли они телом в ритуале публичных казней или обращаются к душе, – в контексте истории политического тела и уголовно-правовые практики; не столько как следствие юридических теорий, сколько как главу из политической анатомии.

Некоторое время назад Канторович[22] дал замечательный анализ «тела короля»: согласно средневековой юридической теологии двойного тела, которое включает в себя не только бренный элемент, рождающийся и умирающий, но и другой элемент, неподвластный времени и утверждающийся как физическая, однако неосязаемая опора для короны. Вокруг этой двойственности, близкой по происхождению к христологической модели, выстраиваются иконография, политическая теория монархии, правовые механизмы, которые различают и вместе с тем связывают личность короля и требования короны, и целый ритуал, достигающий своего апогея в коронации, погребении и церемониях подчинения. На другом полюсе можно представить себе тело осужденного; он тоже обладает правовым статусом, создает собственный церемониал и вызывает целый теоретический дискурс, но не для того, чтобы обосновать «избыток власти», принадлежащей личности государя, а для того, чтобы выразить «недостаток власти», отпечатывающийся на телах тех, кто подвергается наказанию. В самой темной области политического поля осужденный представляет симметричный перевернутый образ короля. Следует проанализировать то, что можно назвать, отдавая дань Канторовичу, «наименьшим телом осужденного».

Если избыточная власть короля приводит к удвоению его тела, то не приводит ли эта власть, применяемая к подчинен-

[22] E. Kantorowitz, *The King's two bodies*, 1959.

ному телу осужденного, к удвоению другого типа? Нетелесного, «души», как говорил Мабли? История «микрофизики» власти наказывать была бы тогда генеалогией или частью генеалогии современной «души». Вместо того чтобы рассматривать душу как возвращенные к жизни пережитки некой идеологии, следует видеть в ней современный коррелят определенной технологии власти над телом. Неверно было бы говорить, что душа – иллюзия или результат воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых – вообще на всех, кого контролируют, воспитывают, муштруют и исправляют, на душевнобольных, на детей в школе и дома, на заключенных в колониях, на тех, кто пришпилен к производственной машине и подвергается контролю на протяжении всей остальной жизни. Душа в ее исторической реальности, в отличие от души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения. Эта реальная и нетелесная душа не есть субстанция; она элемент, в котором соединяются и выражаются проявления определенного типа власти и предметная область определенного знания, она механизм, посредством которого отношения власти порождают возможное знание, а знание распространяет и укрепляет воздействия власти. Опираясь на эту реальность-денотат, построили различные концепции, из нее выкроили области анализа (такие, как психика, субъективность, личность, сознание и т. п.); основываясь на ней, воздвигли научные методы и дискурсы, предъявили моральные требования гуманизма. Но здесь не

надо заблуждаться: реальный человек, объект познания, философской рефлексии или технического вмешательства, не был заменен душой – иллюзией теологов. Человек, о котором нам рассказывают, которого нас призывают освободить, является следствием подчинения куда более глубинного, нежели он сам. «Душа» обитает в нем и дает ему существование, которое само является элементом господства, осуществляемого властью над телом. Душа есть следствие и инструмент политической анатомии; душа – тюрьма тела.

* * *

О том, что наказание вообще и тюрьма в частности принадлежат к политической технологии тела, я узнал не столько из истории, сколько из настоящего. В последние годы во всем мире произошли тюремные бунты. В их целях, лозунгах, в том, как они развивались, было, несомненно, нечто парадоксальное. Бунты против всего состояния физического убожества, сохраняющегося более столетия: против холода, духоты и скученности, против обветшалых помещений, голода и избиений. Но также бунты против образцовых тюрем, против транквилизаторов, изоляции, медицинского обслуживания, воспитания. Были ли это бунты, преследующие чисто материальные цели? Или противоречивые бунты: против обветшалости и упадка, но и против удобств, против надзирателей, но и против психиатров? В сущности, все эти движения, как и бесчисленные дискурсы, порожденные тюрьмой с начала XIX века, вращались вокруг тела и материальных вещей. Эти дискурсы и бунты, воспоминания и инвективы вдохновлялись мелкими, ничтожными материями. Вольно видеть в

них одни лишь слепые требования или подозревать влияние чуждых стратегий. На самом деле это были бунты на уровне тела против самого тела тюрьмы. Протестовали не против слишком примитивной или слишком антисанитарной, слишком отсталой или слишком совершенной тюремной обстановки, а против самого материального существования тюрьмы как инструмента и вектора власти; против всей технологии власти над телом, которую технологии «души» — осуществляемой воспитателями, психологами и психиатрами — не удается ни замаскировать, ни компенсировать по той простой причине, что сама она является одним из ее орудий. Я хотел бы написать историю тюрьмы со всеми политическими «захватами» тела, которые она собирает воедино в своей замкнутой архитектуре. Из одного лишь интереса к прошлому? Нет, если иметь в виду историю прошлого с точки зрения настоящего. Да, если понимать эту историю как историю настоящего[23].

[23] Я исследую рождение тюрьмы только во французской уголовно-правовой системе. Историческое развитие и институты разных стран столь различны, что детальный сравнительный анализ оказался бы непосильным бременем, а всякая попытка описать феномен тюрьмы в целом была бы слишком схематичной.

Глава 2

Блеск казни

Уложение 1670 г. определяло общие формы уголовно-правовой практики вплоть до Революции. Вот иерархия предписываемых им наказаний: «Смерть, допрос с применением пыток для вырывания доказательств, каторжные работы на определенный срок, наказание кнутом, публичное покаяние, ссылка». Налицо заметный перевес физических наказаний. Обычаи, характер преступления, общественное положение осужденных вносили дополнительное разнообразие. «Смертная казнь включает в себя много способов лишения жизни: одних преступников приговаривают к повешению, других – к отсечению кисти руки, вырыванию или протыканию языка с последующим повешением; иных, за более тяжкие преступления, к разламыванию и смерти на колесе после того, как конечности оторваны; иных разрывают на части до тех пор, пока не наступит естественная смерть, кого-то приговаривают к удушению и,

далее, колесованию, к сожжению живьем, к сожжению с предварительным удушением, других – к отрубанию или протыканию языка с последующим сожжением живьем, раздиранию четырьмя лошадьми, к отрубанию или раскалыванию головы»[1]. Сулатж добавляет, едва ли не между прочим, что имеются также легкие наказания, не упоминаемые в уложении: компенсация оскорбленному, выговор, порицание, краткосрочное заключение, запрет на проживание в определенном месте и, наконец, денежные взыскания – штрафы или конфискация имущества.

Однако не будем заблуждаться. Между этим арсеналом ужасов и повседневной уголовно-правовой практикой было значительное расстояние. Казнь с применением пыток как таковая отнюдь не являлась наиболее частой формой наказания. Конечно, доля смертных приговоров в уголовно-судебной практике классического века сегодня может показаться высокой: в Шатле* в период 1755–1785 гг. от 9 до 10% приговоров – смертные: колесование, виселица или сожжение[2]; парламент Фландрии в 1721–1730 гг. вынес 39 смертных приговоров из 260 (и в 1781–1790 гг. – 26 из 500)[3]. Но не надо забывать, что суды находили много способов смягчить строгость уголовного закона, либо отказываясь судить преступления, требовавшие слишком сурового наказания, либо изменяя квалификацию преступления. Порой сама королевская власть рекомендовала не следовать строго слишком жестокому уложению[4]. Во всяком случае, чаще всего приговаривали к ссылке или штрафу: например, в Шатле, где суд разбирал только более или менее серьезные правонарушения, ссылки составили более половины приговоров, вынесен-

[1] J. A. Soulatges, *Traité des crimes*, 1762, t. I, p. 169–171.

[2] См. статью П. Петровича в: *Crime et criminalité en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, 1971, p. 226 ff.

[3] P. Dautricourt, *La Criminalité et la répression au Parlement de Flandre*, 1721–1790 (1912).

[4] Это подчеркивает Шуазоль** в связи с указом о бродяжничестве от 3 августа 1764 г.: *Mémoire expositif*. B. N., ms. 8129 fol. 128–129.

ных в 1755–1785 гг. Но значительная часть таких нетелесных наказаний сопровождалась дополнительными наказаниями, включающими в себя пытки: позорный столб, железный ошейник, плеть, клеймение; пытка была элементом всех приговоров к каторжным работам или их эквиваленту для женщин – заключению в богадельню; ссылке часто предшествовали выставление к позорному столбу и клеймение; штраф иногда сочетался с наказанием плетью. Важная роль пытки в уголовно-правовой системе обнаруживала себя не только в торжественных публичных казнях, но также в упомянутой дополнительной форме наказания: всякое достаточно серьезное наказание должно было заключать в себе элемент пытки.

Что такое пытка? «Телесное наказание, болезненное, более или менее ужасное, – говорит Жокур* и добавляет: – Мера варварства и жестокости того, что измышляет человеческое воображение, – феномен непостижимый»[5]. Может быть, и непостижимый, но уж никак не беспорядочный и не примитивный. Пытка есть некая техника, и не следует видеть в ней предельное выражение беззаконной ярости. Наказание считается пыткой, если удовлетворяет трем основным критериям. Прежде всего, оно должно вызывать определенную степень страдания, которую можно точно измерить или по крайней мере вычислить, сравнить и сопоставить с другими. Смерть является пыткой, если представляет собой не просто отнятие права на жизнь, а ситуацию и завершение рассчитанной градации боли: от обезглавливания (которое сводит все страдания к единственному жесту и единому мигу, – нулевая степень пытки), через повешение, сожжение и колесование, продлеваю-

[5] *Encyclopédie*, статья «Supplice».

щие агонию, до четвертования, доводящего страдание почти до бесконечности; смерть-пытка есть искусство поддерживать жизнь в страдании, подразделяя ее на «тысячу смертей» и добиваясь, до наступления смерти, «the most exquisite agonies*»[6]. Пытка опирается на настоящее искусство отмеривания страдания. Но более того: она предполагает упорядоченное причинение страдания. Пытка соотносит характер телесного воздействия, качество, интенсивность и длительность страдания с тяжестью преступления, личностью преступника, статусом его жертв. Существует юридический кодекс боли: наказание в форме пытки не обрушивается на данное тело без различия или наравне с любым другим; оно рассчитывается в соответствии с подробными правилами, которые регулируют число ударов плетью, место нанесения клейма, длительность предсмертной агонии на костре или колесе (суд решает, надобно ли удавить казнимого сразу или следует обречь его на медленное умирание, а также через какое время должен последовать жест милосердия – смерть), вид причиняемого увечья (отрезание кисти, протыкание губ или языка). Все эти различные элементы умножают количество наказаний и образуют комбинации в зависимости от решения суда и типа преступления: «Поэзия Данте, возведенная в закон», – сказал Росси; во всяком случае, длительное становление судебно-физического знания. Кроме того, пытка составляет часть ритуала. Она является элементом карательной литургии и отвечает двум требованиям. Она должна помечать жертву; она предназначена для того, чтобы посредством оставляемых на теле осужденного ран либо собственным блеском клеймить его позором. Даже если

[6] Выражение Олифа. см.: Ollyffe, *An Essay to prevent capital crimes*, 1731.

функция пытки – «очищение» преступника, она не примиряет; она вычерчивает вокруг тела осужденного или, скорее, на самом его теле нестираемые знаки. Люди обязательно сохранят в памяти публичное зрелище, позорный столб, пытку и страдания, которые они наблюдали. А с точки зрения правосудия, предписывающего публичную пытку, она должна быть ярким зрелищем, должна восприниматься всеми почти как торжество правосудия. Сама чрезмерность совершаемого насилия – один из элементов величия правосудия: тот факт, что преступник стонет и кричит под ударами, – не постыдный побочный эффект, он есть сам церемониал правосудия, выражающего себя во всей своей силе. Отсюда, несомненно, ясен смысл пыток, продолжающихся даже после смерти, таких, как сжигание трупов, развеивание пепла по ветру, волочение тел на плетенках и выставление их на обочинах дорог. Правосудие преследует тело за гранью всякого возможного страдания.

Карательная казнь с применением пыток не исчерпывает всех телесных наказаний: она представляет собой дифференцированное причинение страдания, организованный ритуал клеймения жертв и выражение карающей власти, – а не озлобление правосудия, которое, забывая свои принципы, карает без удержу. В «чрезмерности» пытки заложена целая экономия власти.

* * *

Казнимое тело прежде всего вписывается в судебный церемониал, призванный произвести, вывести на всеобщее обозрение истину преступления.

Во Франции, как и в большинстве европейских стран (примечательное исключение составляла Англия), все уголовное судопроизводство, вплоть до вынесения приговора, было тайным, иными словами – непрозрачным не только для публики, но и для самого обвиняемого. Оно происходило без него; по крайней мере он не мог ознакомиться ни с составом обвинения, ни с показаниями свидетелей, ни с уликами. В порядке уголовного правосудия знание являлось абсолютной привилегией стороны обвинения. Предварительное следствие до́лжно вести «как можно более старательно и тайно», – гласил эдикт 1498 г. По уложению 1670 г., резюмировавшему и в некоторых отношениях усилившему суровость предшествующей эпохи, обвиняемый не мог получить доступ к документам дела, узнать имена жалобщиков, ознакомиться с показаниями, чтобы ответить свидетелям, воспользоваться, вплоть до самого последнего момента процесса, оправдывающими его документами, заручиться помощью адвоката, который контролировал бы законность судопроизводства или выступил бы защитником на суде. Следователь же имел право принимать анонимные доносы, скрывать от обвиняемого материалы дела, использовать в ходе допроса обман, прибегать к инсинуациям[7]. Следователь единолично и полновластно устанавливал истину, которая опутывала обвиняемого. Судьи получали истину готовой, в виде документов и письменных протоколов; последние являлись для них единственным доказательством; с обвиняемым они встречались только один раз, для того чтобы задать ему вопросы перед вынесением приговора. Тайная и письменная форма судопроизводства отражает принцип, пред-

[7] До XVIII века велись долгие дискуссии о праве следователя в ходе «каверзных» допросов использовать обманные обещания, ложь, двусмысленные слова. Настоящую казуистику, основанную на неоправданном доверии к суду.

полагающий, что в области действия уголовного права установление истины является абсолютным правом государя и его судей и находится в их исключительной компетенции. Айро предположил, что такое судопроизводство (более или менее установившееся к XVI веку) имело своим источником «страх перед волнением, криками и приветствиями, обычно исходящими от народа; страх перед возможными беспорядками, насилием и буйством, направленными против сторон или даже против судей». Таким ведением дела король хотел показать, что «власть суверена», предоставляющая право карать, ни в коем случае не может принадлежать «массе»[8]. Перед правосудием суверена должны были умолкать все голоса.

Однако, несмотря на тайный характер судопроизводства, при установлении истины надлежало подчиняться определенным правилам. Тайна сама по себе требовала наличия строгой модели истины в сфере действия уголовного права. Целая традиция, идущая от средних веков и получившая значительное развитие благодаря великим правоведам эпохи Возрождения, определяла, какими должны быть характер и надежность доказательств. Даже в XVIII веке были обычными такие дистинкции: доказательства истинные, прямые, или законные (например, предоставляемые свидетелями) и косвенные, предположительные, производные (получаемые посредством аргументации); далее, доказательства явные, важные, несовершенные или поверхностные[9]; также доказательства «непреложные или необходимые», не позволяющие усомниться в истинности факта деяния («полные» доказательства: когда, например, два безупречных свидетеля утверж-

[8] P. Ayrault, *L'Ordre, formalité et instruction judiciaire*, 1576, L. III, chap. LXXII, LXXIX.

[9] D. Jousse, *Traité de la justice criminelle*, 1771, t. I, p. 660.

дают, что видели, как обвиняемый с обнаженной окровавленной шпагой уходит оттуда, где некоторое время спустя было найдено тело с колотыми ранами); приблизительные или неполные доказательства, которые можно расценивать как истинные до тех пор, пока обвиняемый не опровергнет их свидетельством в пользу своей невиновности (приведя показания единственного очевидца или указав на предшествовавшие убийству угрозы); наконец, отдаленные, или «вспомогательные», улики, основывающиеся лишь на суждениях и мнениях (слухи, бегство подозреваемого, его поведение во время допроса и т. п.[10]). Причем все эти дистинкции — не просто теоретические тонкости. Они исполняют определенную функцию. Прежде всего, каждое доказательство указанных видов, взятое в отдельности, может определить результат судебного разбирательства: полное доказательство может обусловить любой приговор; неполное доказательство — повлечь за собой мучительное наказание, но не смертную казнь; несовершенного и поверхностного доказательства достаточно для издания «судебного приказа», отправляющего дело на дальнейшее расследование или налагающего штраф на подозреваемого. Далее, доказательства сочетаются одно с другим в соответствии с точными правилами счета: два полудоказательства могут составить полное доказательство; вспомогательные доказательства, если их несколько и они не противоречат друг другу, соединяются и образуют полудоказательство; но, как бы много их ни было, они никогда не составляют полного доказательства. Итак, налицо судебно-правовая арифметика, во многом очень детальная, но все же оставляющая место для различных дис-

[10] P. F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, 1757, p. 345–347.

куссий: допустимо ли выносить смертный приговор на основании одного полного доказательства или же оно должно сопровождаться другими, не столь неопровержимыми уликами? Всегда ли два приблизительных доказательства равнозначны полному доказательству? Не требуется ли для этого три приблизительных доказательства или вдобавок еще две отдаленные улики? Есть ли такие вещи, которые являются уликами лишь для определенных преступлений, в определенных обстоятельствах и по отношению к определенным личностям? (Так, свидетельство игнорируется, если оно исходит от бродяги; напротив, оно считается более надежным, если его предоставляет «почтенный человек» или – в случае домашней кражи – хозяин.) Арифметика, модулируемая казуистикой, функция которой – определить, как должно быть построено судебное доказательство. С одной стороны, система «юридических доказательств» делает истину в уголовно-правовой области результатом сложного искусства; оно подчиняется правилам, известным лишь специалистам, и, следовательно, укрепляет принцип тайны. «Недостаточно, чтобы судья имел убеждение, каковое может быть у любого разумного человека... Нет ничего более неправильного, нежели этот способ судить, который представляет собой, в сущности, лишь более или менее обоснованное мнение». Но, с другой стороны, такая система жестко ограничивает судью; при несоблюдении определенных правил «любой приговор оказывается необоснованным, и в некотором смысле можно считать его несправедливым, даже если обвиняемый действительно виновен»[11]. Придет день, когда особенность судебной истины покажется скандальной: как

[11] Poullain du Parc, *Principes du droit français selon les coutumes de Bretagne*, 1767–1771, t. IX, p. 112–113. Ср.: A. Esmein, *Histoire de la procédure criminelle en France*, 1882, p. 260–283; K. J. Mittermaier, *Traité de la preuve*, 1848, p. 15–19 (пер. на франц. яз.).

будто правосудие не должно подчиняться правилам общей истины. «Как расценили бы полудоказательство в науках, дающих строгое доказательство? Что означало бы полудоказательство в геометрии или алгебре?»[12] Однако не надо забывать, что формальные ограничения, накладываемые на юридическое доказательство, являлись способом регулирования, внутренне присущим абсолютной власти и исключающим знание.

Письменное, тайное и подчиненное строгим правилам построения доказательств уголовно-судебное расследование было машиной, способной производить истину в отсутствие обвиняемого. И благодаря самому этому факту (хотя, строго говоря, закон этого не требует) расследование непременно ведет к признанию обвиняемого. По двум причинам. Во-первых, признание — настолько сильное доказательство, что вряд ли требуется добавлять к нему другие доказательства или заниматься сложным и сомнительным сложением улик. Признание, полученное корректным способом, почти освобождает обвинителя от необходимости предоставлять дальнейшие свидетельства (во всяком случае, самые трудные). Во-вторых, процедура расследования может воспользоваться всей своей несомненной властью и стать настоящей победой над обвиняемым, а истина проявляет всю свою власть единственно в том случае, если преступник берет на себя ответственность за совершенное преступление и подписывается под тем, что было искусно и безвестно построено следствием. «Недостаточно, — сказал Айро, не одобрявший тайные процедуры, — чтобы злоумышленники были справедливо наказаны. По возможности они должны судить и осудить

[12] G. Seigneux de Correvon, *Essai sur l'usage, l'abus et les inconvénients de la torture*, 1768, p. 63.

себя сами»[13]. В воссозданном в письменной форме преступлении преступник, признающий себя виновным, начинает играть роль живой истины. Признание – поступок преступника, ответственного и говорящего субъекта, – служило дополнением к письменному тайному предварительному следствию. Отсюда важное значение, придаваемое признанию всей этой процедурой инквизиторского типа.

Отсюда также и двусмысленность роли признания. С одной стороны, его пытаются включить в общую арифметику доказательства, подчеркивают, что оно – лишь одно доказательство из многих. Оно не есть evidentia rei*; оно не является самым сильным доказательством, как таковое оно не может привести к признанию виновности и должно сопровождаться дополнительными уликами и предположительными доказательствами. Ведь хорошо известно, что обвиняемые иногда признают себя виновными в преступлениях, которых не совершали, и потому следователь, если он располагает одним только признанием обвиняемого, должен произвести дополнительное расследование. С другой же стороны, признание пользуется преимуществом перед всяким иным доказательством. До некоторой степени оно превосходит всякое другое доказательство; будучи элементом вычисления истины, оно является также действием, которым обвиняемый соглашается с обвинением и признает его обоснованность. Оно превращает следствие, проведенное без участия обвиняемого, в добровольное подтверждение обвинения. Посредством признания обвиняемый лично принимает участие в ритуале производства судебно-уголовной истины. Как утвержда-

[13] P. Ayrault, *L'Ordre, formalité et instruction judiciaire*, L. I, chap. 14.

лось в средневековом праве, признание делает судопроизводство общеизвестным и явным. На эту первую двусмысленность накладывается вторая: признание столь желанно, потому что оно – особо сильное доказательство, требующее для вынесения приговора лишь нескольких дополнительных улик и потому сводящее к минимуму работу следствия и механику доказательства; вытягивая признание, не гнушаются никаким принуждением. Но хотя в судопроизводстве признание должно быть живым и устным эквивалентом предварительного расследования, осуществляемого в письменной форме, хотя признание должно быть реакцией, как бы подтверждением предварительного расследования со стороны обвиняемого, оно окружается гарантиями и формальностями. Признание содержит в себе нечто от сделки: поэтому оно должно быть «спонтанным», поэтому оно должно быть сделано перед компетентным судом и в полном сознании[14], поэтому в нем не должны упоминаться невозможные вещи и т. д. Делая признание, обвиняемый участвует в судопроизводстве; он удостоверяет истину, полученную в результате предварительного следствия.

Отмеченной двойной двусмысленностью признания (оно – элемент доказательства и эквивалент предварительного расследования; результат принуждения и полудобровольная сделка) объясняются два основных способа его получения, используемых классическим уголовным правом: присяга, которую должен принести обвиняемый перед началом допроса (т. е. угроза нести ответственность за клятвопреступление перед судом человеческим и судом Божьим и в то же время ритуальный акт участия), и пытка

[14] В каталогах судебных доказательств признание появляется примерно в XIII–XIV столетиях. Бернар из Павии о признании не говорит, но о нем упоминает Гостимий. Характерно определение Кратера: «Aut legitime convictus aut sponte confessus»*.

* В средневековом праве признание считается достоверным только в том случае, если оно сделано совершеннолетним в присутствии противной стороны. См.: J. Ph. Lévy, *La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*, 1939.

(физическое насилие с целью вырывания истины, которая будет повторена перед судьями как «спонтанное» признание и таким образом станет доказательством). В конце XVIII века пытку осуждают как пережиток варварства прошлых веков: как проявление «средневековой» дикости. Действительно, практика пыток имеет давнее происхождение: она восходит по крайней мере к инквизиции, а возможно к пыткам рабов. Но в классическом праве пытка не фигурирует как остаточное явление или изъян. Она занимает четко определенное место в сложном уголовно-правовом механизме, где судопроизводство инквизиторского типа отягощено элементами обвинительной системы, где письменное доказательство нуждается в устном корреляте, где техника доказательства, осуществляемого следователями, смешивается с методами испытания, бросавшего вызов обвиняемому, где от обвиняемого требуют (если надо, то применяя при этом сильный нажим) исполнения роли добровольного участника в судебной процедуре, короче говоря – где истина выковывается с помощью механизма, состоящего из двух элементов: следствия, тайно проводимого судебными органами, и действия, ритуально выполняемого обвиняемым. Тело обвиняемого, тело говорящее и, если необходимо, страдающее, обеспечивает сцепление между этими двумя механизмами; потому до тех пор, пока карательную систему не пересмотрели сверху донизу, радикальная критика пыток была весьма редка[15]. Гораздо чаще давались простые советы, продиктованные благоразумием: «Пытка – опасный путь к познанию истины, а потому судьи не должны прибегать к ней без должного размышления. Нет ничего более сомнитель-

[15] Наиболее известна критика Николя, см.: Nicolas, *Si la torture est un moyen à vérifier les crimes*. 1682.

ного. Бывают виновные, имеющие достаточно твердости и скрывающие совершенное преступление... и другие, невиновные, которых ужасными муками вынуждают сознаться в преступлениях, в коих они неповинны»[16].

Исходя из этого можно сказать, что функция дознания с применением пыток – добывание истины. Прежде всего, такое дознание не являлось способом вырывания истины любой ценой; оно отличалось от безудержной пытки современных допросов; безусловно, оно было жестоким, но не диким. Оно было упорядоченной практикой, следующей четко определенной процедуре. Моменты, длительность, используемые орудия, длина веревок, вес гирь, количество клиньев, вмешательство судебного чиновника, ведущего допрос, – все это, определяемое различными местными обычаями, детально регламентировано[17]. Пытка – судебная игра со строгими правилами. И как таковая она связана со старыми дознаниями, применявшимися в обвинительных процедурах задолго до техник инквизиции, – в ордалиях, судебных поединках, испытаниях, где полагались на суд Божий. Своего рода состязание происходит между следователем, распорядившимся о пытке, и пытаемым обвиняемым. «Пациент» – так обычно называли жертву – подвергается ряду пыток, различных по степени жестокости; он выносит пытки и «побеждает» или не выдерживает и сознается[18]. Но следователь применяет пытку не без риска для себя самого (т. е. помимо той опасности, что подозреваемый может умереть): он делает ставку в игре, рискуя уже собранными им элементами доказательства. Ведь существует правило: если обвиняемый «побеждает» и не сознается, то судья дол-

[16] Cl. Ferrière, *Dictionnaire de pratique*, 1740, t. II, p. 612.

[17] В 1729 г. Агессо* провел расследование о средствах и правилах пытки, применяемых во Франции. Его итоги подводит Жоли де Флери: B. N., Fonds Joly de Fleury, 258, vol. 322–328.

[18] Первая степень пытки – созерцание орудий пытки. Ею ограничивались в отношении детей *или стариков старше 70 лет.*

жен отказаться от обвинения. В таком случае выигрывает пытаемый. Отсюда обычай, введенный для самых серьезных случаев: применять пытку «в ожидании доказательства». Тогда после пыток следователь может располагать собранными данными и своими предположениями; обвиняемого не объявляли невиновным в результате его сопротивления; но по крайней мере победа избавляла его от смертного приговора. Следователь сохранял все свои карты, кроме главной. Omnia citra mortem*. Поэтому следователям часто рекомендовалось в случае самых тяжких преступлений не прибегать к пытке, если против обвиняемого подготовлено достаточно убедительное доказательство; ведь если тот выдержит пытку, то судья лишится права вынести заслуженный смертный приговор. В таком поединке проиграло бы правосудие: если доказательство достаточно и позволяет «приговорить обвиняемого к смерти», то не надо «превращать приговор в дело случая и полагаться на исход предварительного дознания, которое часто ни к чему не приводит; ведь интересы общественной безопасности требуют примерного наказания преступника, совершившего тяжкое, ужасное и кровавое преступление»[19].

Под внешне ожесточенными поисками «быстрой» истины в классической пытке скрывается отлаженный механизм испытания судом Божьим: физический вызов, призванный установить истину. Если пациент виновен, то его страдания, причиняемые пыткой, не будут незаслуженными; но пытка служит также основанием для оправдания, если он невиновен. В практике пытки боль, поединок и истина соединяются: они сообща работают над те-

[19] G. du Rousseaud de la Combe, *Traité des matières criminelles*, 1741, p. 503.

лом пациента. Поиски истины путем допроса с применением пыток – хороший способ получения важнейшего из доказательств: признания обвиняемого. Но также и сражение, и победа одного противника над другим, которая «создает» истину в соответствии с ритуалом. Пытка, применяемая для вытягивания признания, – расследование, но и поединок.

Акт расследования и элемент наказания здесь как будто смешались. И это не последний из парадоксов пытки. Действительно, она рассматривается как способ дополнения доказательства, когда «дело не предусматривает достаточно серьезных наказаний». И она считается одним из наказаний; настолько суровым, что в иерархии наказаний, определяемой Уложением 1670 г., помещается сразу после смертной казни. Разве можно использовать наказание как средство? – спросят позднее. Разве можно расценивать как наказание то, что должно быть способом доказательства? Оправдание следует искать в том способе, каким правосудие классической эпохи организовало производство истины. Различные фрагменты доказательства не составляли его нейтральных элементов вплоть до того момента, когда можно было собрать их в единый пучок и полностью удостоверить виновность. Каждое свидетельство вызывало более или менее сильное отвращение. Виновность не «начиналась» после того, как собраны все доказательства, она создавалась шаг за шагом, каждым из элементов, позволявших установить личность виновного. Так, полудоказательство не позволяло считать обвиняемого невиновным вплоть до доведения доказательства до полного: оно делало обвиняемого полувиновным. Самая

ничтожная улика, относящаяся к тяжкому преступлению, клеймила обвиняемого как «немного» преступника. Короче говоря, доказательство в судебно-правовой сфере строилось не по дуалистическому принципу: истина или ложь, – но по принципу постепенной градации: некоторая степень доказательства уже означала некоторую степень виновности, а следовательно, и какое-то наказание. Подозреваемый как таковой всегда заслуживает некоторого наказания: навлекший на себя подозрение не может быть абсолютно невиновным. Подозрение предполагает элемент доказательства со стороны судьи, признаки определенной степени вины со стороны подсудимого и ограниченную кару со стороны уголовной системы. Подозреваемый, если он оставался просто подозреваемым, несмотря ни на что, не признавался невиновным и подвергался определенному наказанию. Сделав предположение с какой-то долей вероятности, можно было совершенно законно вводить практику, игравшую двойственную роль: начать наказывать, следуя уже собранным уликам и свидетельствам, и использовать это начальное наказание, чтобы вырвать пока еще отсутствующую истину. В XVIII веке судебная пытка осуществлялась в режиме странной экономии, где ритуал создания истины неотъемлем от ритуала наложения наказания. Допрашиваемое под пытками тело являлось и точкой приложения наказания, и местом вырывания истины. И точно так же как предположение о виновности было неотъемлемым элементом следствия и долей виновности, выверенное страдание, причиняемое «законной» пыткой, было частью и наказания, и следственного процесса.

Но весьма любопытно, что сцепление этих двух ритуалов через тело сохраняется и после признания доказательства достоверным и вынесения приговора: в самом исполнении наказания. И опять-таки, тело осужденного становится существенным элементом церемонии публичного наказания. Виновный должен вынести на всеобщее обозрение приговор и факт совершенного преступления. Выставляемое напоказ, водимое по улицам, демонстрируемое, терзаемое, тело осужденного служит зримой подставкой для процедуры, которая прежде оставалась в тени; в нем, благодаря ему акт правосудия становится очевидным для всех. Это живое и яркое обнаружение истины в публичном исполнении наказаний имеет в XVIII веке несколько сторон.

1. Прежде всего, из осужденного делают глашатая собственного приговора. Его заставляют, в каком-то смысле, возвещать и свидетельствовать истинность обвинения. Вождение по улицам; дощечка на спине, груди или лбу, напоминающая о приговоре; остановки на перекрестках; зачтение приговора; публичное покаяние у врат храмов, где осужденный торжественно признается в преступлении: «Босой, в рубище, с факелом в руках, коленопреклоненный, он должен объявить, что — злобно, ужасно, коварно, преднамеренно — содеял гнуснейшее преступление и т. д.»; выставление к позорному столбу с оповещением о деянии и приговоре; еще одно оглашение приговора у подножия плахи. Приговорен ли человек просто к позорному столбу или к сожжению и колесованию, он обнаро-

дует свое преступление и вынесенный приговор, показывая их физически, на собственном теле.

2. Еще раз повторяется сцена признания. Публичное принудительное принесение покаяния дополняется спонтанным и публичным признанием. Публичная пытка становится моментом истины. Эти последние мгновения, когда виновному уже нечего терять, отнимаются в пользу истины, которая должна явиться в полном свете. После вынесения приговора суд мог принять решение о новой пытке, чтобы вырвать имена возможных сообщников. Предусматривалось также, что в момент вступления на эшафот осужденный может попросить отсрочки, чтобы сделать новые признания. Публика ожидала нового поворота истины. Многие осужденные пользовались этой возможностью, стараясь выиграть время, как это сделал Мишель Барбье, признанный виновным в вооруженном нападении: «Он нагло взглянул на плаху и сказал, что, конечно, не для него она возведена, поскольку он невиновен. Сначала захотел вернуться в камеру, где полчаса молол вздор, пытаясь оправдаться. Потом, когда его снова повели на казнь, взошел на эшафот с решительным видом, но, когда его раздели и привязали к крестовине, чтобы наказать железным прутом, попросил еще раз пойти в помещение, где полностью сознался в содеянном и даже заявил, что виновен еще в одном убийстве»[20]. Функция настоящей казни с применением пыток – выявление истины, и в этом отношении она прилюдно продолжает начатое тайным дознанием. Она ставит под приговором подпись наказуемого. Удачная публичная казнь обосновывает правосудие, поскольку оглашает истину преступления на самом теле каз-

[20] S. P. Hardy, *Mes loisirs*, B. N., ms. 6680–87, t. IV, p. 80, 1778.

нимого. Пример образцового осужденного – Франсуа Биар, главный кассир почтового ведомства, который в 1772 г. убил свою жену. Палач хотел закрыть ему лицо, чтобы избавить от оскорблений толпы. «Вовсе не для того, – сказал тот, – меня приговорили к заслуженному наказанию, чтобы люди меня не видели...» Он еще носил траур по супруге... был обут в новехонькие туфли, волосы свежезавиты и густо напудрены. Вид имел столь скромный и достойный, что люди, стоявшие близко, говорили, что он должен быть либо совершеннейшим христианином, либо величайшим лицемером. Висевшая у него на груди дощечка сбилась, и заметили, как он поправил ее, наверное для того, чтобы люди могли прочитать надпись»[21]. Если каждый участник играет свою роль хорошо, то церемония наказания имеет действенность долгого публичного покаяния.

3. Публичная казнь «привязывалась» к самому преступлению; между ними устанавливался целый ряд хорошо прочитываемых отношений. Труп осужденного выставлялся на месте преступления или на одном из ближайших перекрестков. Казнь часто вершилась в том самом месте, где было содеяно преступление: например, одного студента, который в 1723 г. убил немало людей, председатель Нантского суда постановил казнить на плахе у ворот трактира, где тот убивал[22]. Предпринимались «символические» казни, где форма экзекуции определяется характером преступления: богохульникам протыкают язык, запятнавших себя злодеяниями предают очищающему огню, убийцам отсекают кисть правой руки; иногда осужденного заставляют нести орудие преступления – так, Дамьен нес пресловутый кинжал, с которым шел на каре-

[21] S. P. Hardy. *Mes loisirs*, t. I, p. 327 (опубликован только первый том).

[22] Нантский городской архив, рег. номер 124. См.: P. Parfouru, *Mémoires de la société archéologique d'Ille-et-Vilaine*, 1896, t. XXV.

убийство, причем руку и кинжал намазали серой и подожгли. Как заметил Вико*, старая юриспруденция была «целой поэтикой».

Бывали случаи почти театрального воспроизведения преступления в церемонии казни виновного: те же орудия, те же жесты. Так правосудие повторяет преступление на глазах у всех, обнародуя его фактическое содержание и в то же время отменяя его смертью виновного. Даже во второй половине XVIII века, в 1772 году, сталкиваемся с такого рода приговорами: одна служанка из Камбрэ, убившая хозяйку, по приговору должна была быть доставлена на место казни в повозке, «используемой для уборки нечистот с перекрестков». Здесь надлежало «возвести виселицу, у подножия ее поставить то самое кресло, в котором сидела упомянутая Лалё, хозяйка, в момент убийства; посадить в это кресло служанку; исполнителю высшего правосудия надлежит отсечь ей правую кисть, в ее присутствии бросить кисть в огонь и сразу после этого нанести ей четыре удара косарем, которым она убила названную Лалё, причем первый и второй удары — в голову, третий — в левое предплечье, а четвертый — в грудь; после этого надлежит повесить ее на упомянутой виселице и оставить до наступления смерти от удушья; по истечении двух часов снять труп, отделить голову у подножия упомянутой виселицы на упомянутом эшафоте тем же косарем, коим она убила хозяйку; оную голову водрузить на кол высотой в двадцать футов и выставить у ворот вышеозначенного города Камбрэ, на обочине дороги, что ведет в Дуэ; обезглавленное тело поместить в мешок и зарыть у вышеозначенного кола на глубину десять футов»[23].

[23] Цит. по: P. Dautricourt, *op cit.*, p. 269–270.

4. Наконец, медленность процесса казни, ее драматические повороты, крики и страдания осужденного играют роль последнего испытания в завершение судебного ритуала. Всякая агония сообщает определенную истину, но агония на эшафоте сообщает ее с большей силой, ибо она ускоряется болью; с большей строгостью, ибо она проявляется на самой грани между судом людским и судом Божьим; и с большей оглаской, ибо она происходит на публике. Страдания в процессе казни продолжают страдания предшествовавшего судебного дознания; однако в судебном дознании игра не сыграна и подозреваемый еще может спасти свою жизнь; а теперь он несомненно умрет, а значит, должен позаботиться о спасении души. Вечная игра уже началась: казнь предваряет потусторонние кары; она показывает, в чем они заключаются; она – театр ада; крики осужденного, его сопротивление и проклятия уже возвещают его неотвратимую судьбу. Но страдания здесь, на земле, могут расцениваться также как покаяние и смягчать наказание на небесах: Бог не преминет учесть эти муки, если они переносятся со смирением. Жестокость земного наказания будет учтена в грядущей каре, в ней видится обещание прощения. Но можно возразить: не являются ли столь ужасные страдания знамением того, что Бог оставил преступника на милость его собратьев? И отнюдь не обеспечивая будущего отпущения, они возвещают неминуемое проклятие; а значит, если осужденный умирает быстро, без долгой агонии, то не доказывает ли это, что Бог хочет защитить его и спасти от отчаяния? Стало быть, страдание от пыток неоднозначно и может выражать как фактический состав преступления, так и ошибку судей;

добродетельность либо порочность преступника; совпадение либо расхождение суда людского и суда Божьего. Отсюда неутолимое любопытство, влекущее зрителей к плахе и мукам, к прошлому и настоящему, к здешнему и вечному. Все зрители ловят момент истины: каждое слово, каждый крик, длительность агонии, сопротивляющееся тело, отчаянно цепляющаяся за него жизнь, — во всем этом видят знамение: кто-то шесть часов не умирал на колесе и ни на миг не отпускал от себя палача, утешавшего и ободрявшего его (несомненно, по собственной инициативе); такой-то умер «с подлинным христианским чувством и обнаружил чистосердечное раскаяние»; такой-то «испустил дух уже через час после того, как его распластали на колесе; говорят, что присутствовавшие были тронуты явными признаками веры и раскаяния»; такой-то выказывал искреннейшее раскаяние на пути к плахе, а когда его живым привязали к колесу, «не переставал издавать ужасные вопли»; а одна женщина «сохраняла спокойствие до момента зачтения приговора, а потом разум ее помутился, и она совсем обезумела к тому моменту, когда ее повесили»[24].

Замкнутый цикл: от допроса с применением пыток до казни тело производит и воспроизводит истину преступления. Или, скорее, тело образует элемент, который благодаря целой игре ритуалов и испытаний свидетельствует о том, что преступление имело место, что оно само и совершило это преступление, показывает, что преступление запечатлено в нем и на нем, подвергается операции наказания и чрезвычайно наглядно являет его результаты. Многократно казнимое тело обеспечивает синтез ре-

[24] S. P. Hardy, *Mes loisirs*, t. I, p. 13; t. IV, p. 42; t. V, p. 134

альности деяний и истины дознания, документов судопроизводства и дискурса преступника, преступления и наказания. Оно является, следовательно, существенно важным элементом судебно-правовой литургии, где оно должно быть соучастником процедуры, включающей в свой круг неограниченные права монарха, преследование и тайну.

* * *

Публичную пытку следует понимать не только как судебный, но и как политический ритуал. Даже во второстепенных случаях ее применения она принадлежит к церемониям, посредством которых власть показывает себя.

Правонарушение, согласно праву классического века, помимо ущерба, который оно иногда причиняет, и даже помимо нарушаемого им правила посягает на право того, кто защищает закон: «Противозаконное действие, даже если оно не причиняет ущерба, не наносит телесного повреждения или оскорбления личности, является правонарушением, которое требует возмещения, поскольку нарушает право высшего и наносит оскорбление его достоинству»[25]. Помимо непосредственной жертвы преступление направлено против суверена: против суверена лично (поскольку закон представляет волю суверена) и физически (поскольку сила закона есть сила государя). Ведь «для того, чтобы закон действовал в королевстве, он должен исходить непосредственно от государя или по крайней мере подкрепляться печатью его власти»[26]. Следовательно, вмешательство суверена — не третейский суд, разрешающий

[25] P. Risi, *Observations sur les matières de jurisprudence criminelle*, 1768, p. 9, со ссылкой на: Cocceius, *Dissertationes ad Grotium*, XII, § 545.

[26] P. F. Muyart de Vouglans, *Les Lois criminelles de France*, 1780, p. XXXIV.

спор двух противников; оно даже много больше, нежели действие, которое должно обеспечить соблюдение прав индивида; оно – прямой ответ человеку, оскорбившему государя. «Проявление могущества суверена при наказании преступлений является, несомненно, одной из основных частей отправления правосудия»[27]. А значит, наказание не должно расцениваться как возмещение ущерба и даже соизмеряться с ущербом; в наказании всегда должна присутствовать доля, принадлежащая государю, и даже в соединении с предусмотренным возмещением ущерба она является наиболее важным элементом уголовно-правовой ликвидации преступления. Однако доля государя сама по себе не проста: с одной стороны, она требует возмещения ущерба, нанесенного его королевству (так, причинение беспорядка и дурной пример, поданный другим, – серьезный ущерб, не идущий ни в какое сравнение с ущербом, нанесенным частному лицу); но она также требует, чтобы государь отомстил за оскорбление, нанесенное его личности.

Стало быть, право наказывать как часть права государя воевать со своими врагами покоится на «праве меча, на абсолютной власти над жизнью и смертью подданного, которая в римском праве называется merum imperium*. На праве, в силу которого государь заставляет исполнять свой закон, приказывая покарать за преступление»[28]. Но наказание есть также способ, каким добиваются возмездия одновременно личного и государственного, поскольку физическо-политическая сила государя в каком-то смысле присутствует в законе: «Из самого определения закона понятно, что он должен не только защищать, но и мстить за

[27] D. Jousse, *Traité de la justice criminelle*, 1777, p. VII.
[28] P. F. Muyart de Vouglans, *Les Lois criminelles de France*, 1780, p. XXXIV.

неуважение к себе путем наказания тех, кто посягнул на него»[29]. В исполнении обычнейшего наказания, в строжайшем соблюдении юридических форм действуют активные силы мщения.

Итак, публичная казнь исполняет юридическо-политическую функцию. Она – церемониал, посредством которого восстанавливается на миг нарушенная власть суверена. Восстанавливается путем проявления ее во всем ее блеске. Публичная казнь, сколь бы поспешной и повседневной она ни была, относится к целому ряду пышных ритуалов, восстанавливающих власть после ее временного упадка (таких, как коронация, въезд монарха в покоренный город, усмирение взбунтовавшихся подданных); вслед за преступлением, унизившим суверена, казнь развертывает перед всеми его непобедимую мощь. Ее цель – не столько восстановить равновесие, сколько ввести в игру как ее кульминационный момент асимметрию между подданным, осмелившимся нарушить закон, и всемогущим государем, демонстрирующим свою силу. Хотя возмещение вреда, причиненного правонарушением частному лицу, должно быть пропорциональным, хотя приговор должен быть справедливым, исполнение приговора осуществляется таким образом, чтобы продемонстрировать не меру, а отсутствие равновесия и чрезмерность. В литургии наказания должны подчеркнуто утверждаться власть и присущее ей превосходство. И это превосходство обязано не просто праву, но и физической силе монарха, который обрушивается на тело противника и завладевает им: нарушая закон, правонарушитель затрагивает саму личность государя; и именно суверен (или

[29] *Ibid.*

по крайней мере те, кому он передал свою силу) захватывает тело осужденного и показывает его заклейменным, побежденным, сломленным. Словом, карательная церемония «устрашает». Когда юристы XVIII века начали полемику с реформаторами, они выдвинули ограничительное и «модернистское» истолкование физической жестокости наказания: суровые наказания необходимы как пример, который должен быть запечатлен глубоко в душах людей. Однако на самом деле практика публичных казней и пыток основывалась дотоле не на экономии примера, как он понимается в эпоху идеологов (мысль о наказании должна побеждать интерес, толкающий к преступлению), а на политике устрашения: через тело преступника все должны ощутить неумеренное присутствие государя. Публичная казнь не восстанавливала справедливость, она реактивировала власть. Следовательно, в XVII и даже в начале XVIII века она, со всем своим театром террора, не была задержавшимся пережитком ушедшей эпохи. Ее жестокость, блеск, насилие над телом, неравная игра сил, детально продуманный церемониал, словом, весь ее аппарат был вписан в политическое функционирование судебно-правовой системы.

Отсюда понятны некоторые характерные черты литургии публичных казней. И прежде всего важность ритуала, развертывающегося перед публикой во всей своей пышности. *Ничто не должно быть скрыто в этом торжестве закона.* Эпизоды казни традиционно повторялись, и все же в обвинительных приговорах никогда не забывали их перечислить, настолько важны они были для судебно-правового механизма: шествия, остановки на перекрестках,

стояние у церковных врат, публичное оглашение приговора, преклонение колен, принародное покаяние в прегрешении против Бога и короля. Иногда вопросы очередности и этикета решались самим судом: «Офицеры верхом отправятся в таком порядке: во главе два полицейских сержанта, затем пациент, за пациентом Бонфор и слева Ле Горр, за ними – секретарь суда. Так они прибудут на рыночную площадь, где приговор будет исполнен»[30]. Это детально расписанный церемониал – не только судебный, но и (совершенно очевидно) военный. Правосудие короля показывает себя как правосудие вооруженное. Меч, карающий виновника, – также меч, разящий врага. Целый военный механизм окружает место казни: конные стражи, лучники, жандармы, солдаты. Конечно, он должен воспрепятствовать побегу или перевороту, а также любому проявлению симпатии со стороны народа, попытке спасти осужденного или взрыву негодования и требованию немедленной казни. Но также напомнить, что всякое преступление – своего рода бунт против закона и что преступник – враг государя. Все эти факторы – будь они мерами предосторожности в конкретной ситуации или функциональным элементом ритуала – делают публичную казнь больше чем актом правосудия: демонстрацией силы. Или, скорее, правосудие обнаруживается в публичной казни как физическая, материальная и страшная мощь суверена. Церемония публичной казни и пытки выставляет на всеобщее обозрение отношение власти, передающей свою мощь закону.

Как ритуал вооруженного закона, где государь проявляет себя нераздельно в двояком образе главы правосудия

[30] Цит. по: A. Corre, *Documents pour servir à l'histoire de la torture judiciaire en Bretagne*, 1896, p. 7.

и военачальника, публичная казнь имеет два аспекта: победы и битвы. С одной стороны, она торжественно завершает войну, исход которой предрешен, войну между преступником и государем; она должна демонстрировать огромную власть государя над теми, кого он сделал бессильными. Эта асимметрия, необратимое неравновесие сил — существенный элемент публичной казни. Тело уничтоженное, превращенное в пепел и развеиваемое, разрушаемое шаг за шагом безграничной властью государя составляет не только идеальный, но и реальный предел наказания. Возьмем знаменитую казнь Массолы, впервые примененную в Авиньоне и одной из первых вызвавшую негодование современников. Она кажется парадоксальной, поскольку осуществляется почти исключительно после смерти приговоренного и поскольку правосудие просто развертывает на трупе свой великолепный театр, ритуально восхваляя собственную силу. Осужденному завязывают глаза и привязывают к столбу; эшафот окружен кольями с железными крюками. «Пациент шепотом исповедуется священнику, и, едва он получает благословение, палач железной дубиной, какими орудуют на бойнях, что есть силы ударяет по виску несчастного, который падает замертво. Затем mortis exactor* большим ножом перерезает ему горло, хлещет кровь. Зрелище ужасное. Палач перерезает жилы около обеих пяток, вспарывает живот, вырывает сердце, печень, селезенку и легкие и нанизывает их на железный крюк. Потом рассекает и разрубает тело на куски, которые развешивает по крюкам по мере отрубания, будто разделывает мясную тушу. Смотрят только те, кто способен выдержать»[31]. Напоминая ре-

[31] A. Bruneau, *Observations et maximes sur les matières criminelles*, 1715, p. 259.

месло мясника, предельное измельчение тела связывается здесь со зрелищем: каждый кусок словно выставляется в витрине мясной лавки.

Публичная казнь сопровождается церемониалом, символизирующим триумф. Но она также содержит, как некое драматическое ядро своего монотонного течения, сцену схватки: быстрое и непосредственное воздействие палача на тело «пациента». Воздействие, конечно, регулируется правилами, поскольку обычай и (часто в совершенно четкой форме) обвинительный приговор предписывают его основные эпизоды. И все же в нем сохраняется отзвук битвы. Палач не просто проводит в жизнь закон, он также использует силу; он проводник насилия, которое применяется к насилию преступления, с тем чтобы обуздать его. Материально, физически он противник этого преступления. Противник порой сострадающий, порой — ожесточенный. Дамудер, как и многие его современники, сетовал, что палачи совершают «всяческие жестокости над злодеями-пациентами и, избивая их и убивая, обращаются с ними, как с животными»[32]. И в течение долгого времени этот обычай сохранялся[33]. В церемонии казни еще присутствуют вызов и поединок. Если палач побеждает, если ему удается одним ударом отрубить обреченную голову, то он «показывает ее народу, кладет на землю, а затем кланяется публике, громко хлопающей в ладоши и восхищающейся его ловкостью»[34]. Наоборот, в случае неудачи, если ему не удается казнить «пациента» как следует, его наказывают. Так был наказан палач Дамьена, который, не сумев четвертовать пациента по правилам, вынужден был резать тело осужденного ножом: обещанных

[32] J. de Damhoudère, *Pratique judiciaire ès causes civiles*, 1572, p. 219.

[33] *Gazette des tribunaux* (6 juillet 1837) со ссылкой на *Journal de Gloucester* сообщает об «ужасном и отвратительном» поведении одного палача, который, повесив осужденного, «схватил труп за плечи, грубо покрутил его и несколько раз ударил, приговаривая: "Старый пройдоха, действительно ли ты мертв?" А потом повернулся к толпе и, смеясь и ерничая, отпустил несколько непристойностей».

[34] Сцена, записанная Т.С. Гёлеттом во время казни жандарма Монтини в 1737 г., см.: R. Anchel, *Crimes et châtiments au XVIII^e siècle*, 1933, p. 62–69.

ему в награду лошадей, которых использовали для казни, конфисковали в пользу бедных. Несколько лет спустя авиньонский палач доставил лишние страдания трем разбойникам (причем отъявленным злодеям), которых должен был повесить. Зрители разъярились и угрожали ему. Для того чтобы наказать палача и спасти от народного гнева, его посадили в тюрьму[35]. За наказанием неумелого палача стоит традиция совсем близкого прошлого: если казнь не удалась, осужденный должен быть помилован. Этот обычай твердо соблюдался в некоторых областях[36]. Народ часто ждал его подтверждения и иногда вставал на защиту осужденного, помогая ему избежать смерти. Дабы положить конец и обычаю, и народным ожиданиям, вспомнили старую поговорку: «Коль на виселицу попал, верно пропал». В смертные приговоры стали вводить точные указания: «Повесить и держать в петле, пока не наступит смерть», «пока не испустит дух». А юристы, такие, как Серпийон и Блэкстоун, в середине XVIII века утверждают, что неудача палача не влечет за собой сохранение жизни осужденного[37]. В церемонии казни еще оставалось нечто от Божьего суда. В схватке с осужденным палач выступал как своего рода защитник короля. Но защитник непризнаваемый и непризнанный: вроде бы, по традиции, запечатанную грамоту с указаниями для палача швыряли перед ним наземь, а не клали на стол. Известны многочисленные запреты, связанные с «крайне необходимой», однако «противоестественной» должностью палача[38]. Палач был в некотором смысле мечом короля, но разделял бесчестье со своим противником. Власть монарха, приказывавшая ему убивать и действительно убивающая его ру-

[35] См.: L. Duhamel, *Les Exécutions capitales à Avignon*, 1890, p. 25.

[36] Например, в Бургундии. См.: Chassanée, *Consuetudo Burgundi*, fol. 55.

[37] F. Serpillon, *Code criminel*, 1767, t. III, p. 1100. Блэкстоун: «Ясно, что если преступник, приговоренный к повешению и оставлению на виселице до наступления смерти, остается жив из-за неловкости палача или чьей-то еще, то шериф обязан повторить казнь; ведь первая попытка не увенчалась исполнением приговора; и уступать в таких случаях ложному состраданию – значит открывать дорогу бесконечным сговорам» (Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, 1776, p. 201; пер. на франц. яз.).

кой, в нем самом не присутствовала; она не была тождественна его собственной жестокости. И наиболее ярко эта власть проявлялась в тот момент, когда останавливала занесенную руку палача грамотой о помиловании. Промежуток времени между приговором и казнью был очень коротким (несколько часов), а значит, весть о помиловании приходила обычно в самый последний момент. Но, несомненно, самой медлительностью своего течения церемония предусматривала возможность этого события[39]. Осужденные всегда надеялись на помилование и, чтобы потянуть время, заявляли, даже у самого подножия эшафота, что хотят сделать признание. Когда люди желали помилования, они требовали его криками, старались оттянуть последний момент, ожидая прибытия гонца с грамотой за зеленой восковой печатью, а если надо, то и распускали слухи, будто он уже в пути (например, 3 августа 1750 г. во время казни осужденных за восстание против похищения детей). Государь присутствует в казни не только как власть, мстящая за нарушение закона, но и как власть, способная приостановить и закон, и мщение. Он один остается хозяином, он один может смыть оскорбления, нанесенные его личности; хотя верно, что он передает судам свою власть отправлять правосудие, он не уступает ее; он сохраняет ее во всей целости и может приостановить исполнение приговора или сделать его более жестоким по собственной воле.

Публичную казнь, остававшуюся ритуалом еще в XVIII веке, следует расценивать как политический инструмент. Казнь логически вписывается в карательную систему, где государь прямо или косвенно требует наказания,

[38] Ch. Loyseau, *Cinq livres du droit des offices*, éd. de 1613, p. 80–81.

[39] См.: S. P. Hardy, 30 janvier 1769, t. I, p. 125; 14 déc. 1779, t. IV, p. 229; R. Anchel, *Crimes et châtiments au XVIII^e siècle*, p. 162–163 (здесь рассказывается история Антуана Буллетекса, который стоял уже у подножия эшафота, когда прискакал всадник с драгоценным пергаментом. Раздались возгласы «Да здравствует Король!», Буллетекса повели в кабак, а секретарь суда обошел всех со шляпой, собирая для него деньги).

выносит приговор и приводит его в исполнение, поскольку именно он как закон терпит ущерб от преступления. Во всяком правонарушении совершается crimen majestatis*, малейший преступник – потенциальный цареубийца. А цареубийца – поистине тотальный, абсолютный преступник, поскольку, вместо того чтобы покушаться на конкретное решение или волеизъявление монарха, как это делает заурядный правонарушитель, он посягает на сам принцип монаршей власти в виде физической личности государя. Идеальное наказание для цареубийцы должно представлять собой сумму всех возможных пыток. Оно должно быть бесконечной местью: французские законы, во всяком случае, не содержали предписаний относительно конкретных наказаний за такого рода чудовищные преступления. Для казни Раваяка** форму церемонии пришлось изобретать, прибегнув к соединению жесточайших пыток, практиковавшихся тогда во Франции. Для Дамьена пытались придумать еще более ужасное наказание. Были выдвинуты проекты, но их посчитали не вполне совершенными. Потому воспользовались формой казни, придуманной для Раваяка. И приходится признать ее сравнительно умеренной, если вспомнить о бесконечном мщении, какому подвергся в 1584 г. убийца Вильгельма Оранского***: «В первый день его привели на площадь, где стоял котел с кипящей водой, куда погрузили его правую руку, коей было совершено преступление. Назавтра руку отрубили, она упала ему под ноги, и он постоянно натыкался на нее. На третий день раскаленными щипцами раздирали сосцы и руку спереди. На четвертый день раздирали руку сзади и ягодицы. Так непрерывно терзали

его восемнадцать дней». В последний день распластали на колесе и «давили». Шесть часов спустя он еще просил пить, но ему отказали. «Наконец королевского судью по уголовным делам просили, чтобы он отдал приказ задушить убийцу, дабы душа его не впала в отчаяние и не погибла»[40].

* * *

Несомненно, существование публичных казней было связано с чем-то совершенно иным, нежели собственно внутренняя организация. Правы Руше и Киршхаймер, усмотревшие в казнях и пытках отзвук производственного режима, где рабочая сила и, следовательно, человеческое тело не имеют ни полезности, ни торговой стоимости, которые они получают в экономии промышленного типа. Кроме того, «презрение» к телу было связано, безусловно, с общей установкой относительно смерти; и в такой установке можно различить не только христианские ценности, но и демографическую, в каком-то смысле биологическую, ситуацию: опустошения, производимые болезнями и голодом, периодические смертоносные эпидемии, чудовищная детская смертность, шаткость биоэкономического равновесия – все это делало смерть обычным явлением и порождало вокруг нее ритуалы, которые должны были примирить с ней и придать смысл ее неослабной агрессивности. Анализируя причины столь долгого сохранения публичных казней, необходимо также принять во внимание конкретную обстановку и конъюнктуру; не надо забывать, что Уложение 1670 г., регулировавшее уголовное

[40] Brantôme, *Mémoires. La vie des hommes illustres*, éd. de 1722, t. II, p. 191–192.

правосудие до самой Революции, в некоторых отношениях даже усилило строгость прежних эдиктов. Пюсор (один из комиссаров, на которых была возложена подготовка этих документов) выражал намерения короля и навязал окончательную форму текста вопреки возражениям некоторых магистратов, таких, как Ламуаньон. Ряд бунтов в самом апогее классического века, надвигающаяся гражданская война, желание короля утвердить свою власть за счет парламентов хорошо объясняют живучесть «строгого» уголовного режима.

Выясняя, почему уголовно-исполнительная система столь широко применяла пытки, мы привели общие и в каком-то смысле внешние обоснования. Они объясняют не только саму возможность и длительное существование физических наказаний, но и то, почему протесты против них были столь слабыми и редкими. Но на этом фоне необходимо выяснить точную функцию наказаний. Пытка так прочно вписалась в судебную практику, поскольку она обнаруживает истину и демонстрирует действие власти. Она обеспечивает связь письменного с устным, тайного с публичным, процедуры расследования с операцией признания; она позволяет воспроизводить преступление на видимом теле осужденного; в ней, в этой ужасной операции, преступление одновременно обнаруживается и отменяется. Она также делает тело осужденного человека местом приложения мести государя, опорной точкой проявления власти, предлогом для утверждения асимметрии сил. Далее мы увидим, что отношение «истина—власть» остается в центре всех карательных механизмов и сохраняется даже в современной уголовно-судеб-

ной практике – но совсем в другой форме и с совершенно иными последствиями. Эпоха Просвещения поторопилась дисквалифицировать публичные казни и пытки, осудив их как «зверство». Термин, часто употреблявшийся и самими юристами, но без критических целей. Возможно, понятие «зверство» – одно из тех, что наилучшим образом характеризуют экономию публичной казни в прежней уголовно-судебной практике. Прежде всего, «зверством» называют некоторые ужасные преступления; тем самым указывают на ряд нарушаемых ими естественных или положительных, божественных или человеческих законов, на скандальную откровенность или, напротив, тайное коварство, с какими они были совершены, на ранг и общественное положение преступников и жертв, на подразумеваемый или производимый ими беспорядок, на ужас, внушаемый преступлениями. Наказание, поскольку оно должно выставлять преступление во всей его опасности на всеобщее обозрение, должно брать на себя ответственность за зверство: выносить его на свет через признания, речи и надписи, которые делают его всем известным; воспроизводить его в церемониях, обращающих зверство на тело преступника в виде унижения и страдания. Зверство есть та часть преступления, которую наказание возвращает в форме публичной пытки, для того чтобы выставить его напоказ при ясном свете дня; образ, неотъемлемый от механизма, воспроизводящего в самой сердцевине наказания видимую истину преступления. Публичная казнь составляет часть процедуры, устанавливающей реальность того, за что карают. Более того, зверство преступления – это также оскорбление, заключен-

ное в брошенном суверену вызове; именно оно подвигает государя к ответной реакции, функция которой – превзойти это зверство, обуздать, преодолеть его поглощающей его чрезмерностью. Следовательно, зверство, неотступно сопровождающее публичную казнь, играет двойную роль: с одной стороны, оно – связующее начало для преступления и наказания, а с другой – повод к ужесточению наказания по сравнению с преступлением. Зверство обеспечивает воссияние сразу и истины, и власти; оно – завершение ритуала следствия и церемония, в которой монарх празднует свой триумф; и оно объединяет истину и власть в казнимом теле. Практика наказаний в XIX веке стремится к установлению максимально большой дистанции между «беспристрастными» поисками истины и насилием, которое невозможно полностью устранить из наказания. Она старается подчеркнуть разнородность преступления, требующего наказания, и наказания, налагаемого государственной властью. Истина и наказание должны быть связаны одним лишь отношением необходимого следования. Карающая власть не должна запятнать себя преступлением более серьезным, нежели то, за которое хочет карать. Она должна оставаться невиновной в налагаемом ею наказании. «Скорее запретим такие пытки. Они достойны только коронованных извергов, правивших римлянами»[41]. Согласно же уголовно-судебной практике предыдущей эпохи, близость в публичной казни монарха и преступления, производимая в ней смесь «демонстрации» и наказания – не последствия варварской путаницы: их соединяет механизм зверства и его необходимые сцепления. Зверство искупления организует

[41] О наказании за цареубийство см.: C. E. de Pastoret, *Des lois pénales*, 1790, t. II, p. 61

ритуальное подчинение подлости всемогуществу.

То, что прегрешение и наказание соотносятся и соединяются в форме зверства, не является следствием подспудно признаваемого закона возмездия. В карательных обрядах зверство порождается определенным механизмом власти. Власти, которая не только не колеблется функционировать прямо на телах, но и возвеличивается и усиливается благодаря своим видимым проявлениям. Власти, утверждающей себя как вооруженная власть, чьи функции по поддержанию порядка не вполне отделены от военных функций. Власти, расценивающей правила и обязанности как личные связи, разрыв которых составляет правонарушение и требует отмщения. Власти, рассматривающей неповиновение как акт враждебности, начало бунта, в принципе не отличающегося от гражданской войны. Власти, которая показывает не то, почему она следит за соблюдением законов, но кто ее враги и какая безудержная сила им угрожает. Власти, которая при отсутствии непрерывного надзора стремится к восстановлению своей действенности в сверкании спорадических демонстраций ее. Власти, которая закаляется и обновляется в ритуальном обнаружении своей реальности в качестве избыточной власти.

* * *

Из всех оснований, по которым наказание, нимало не стыдившееся быть «зверским», заменяется наказанием, претендующим на «человечность», одно необходимо проанализировать немедленно, поскольку оно присуще пуб-

личной казни: как элемент ее функционирования и как начало ее вечного беспорядка.

В церемониях публичной казни главным персонажем является народ, чье реальное и непосредственное присутствие требуется для ее проведения. Казнь, о которой все знают, но которая вершится втайне, едва ли имеет смысл. Цель состоит в том, чтобы преподать урок, не только доводя до сознания людей, что малейшее правонарушение скорее всего будет наказано, но и внушая ужас видом власти, обрушивающей свой гнев на преступника. «В уголовных делах самое трудное — наложение наказания: оно цель и завершение судебного разбирательства, и его единственный плод, когда оно надлежащим образом применяется к виновному, — назидание и устрашение»[42].

Но роль народа в сцене устрашения двусмысленна. Людей созывают как зрителей: они собираются, чтобы наблюдать публичное выставление и покаяние; позорные столбы, виселицы и эшафоты воздвигаются на людных площадях или на обочинах дорог; иногда трупы казненных по нескольку дней демонстрируются близ мест совершения преступлений. Люди должны не только знать, но и видеть собственными глазами. Ведь надо заставить их бояться. Но они должны быть также свидетелями, гарантами и в какой-то мере участниками наказания. Они имеют право быть свидетелями и требуют соблюдения своего права. Тайная казнь — казнь для привилегированных, и в таких случаях часто подозревают, что она не исполняется со всей строгостью. Протестуют, когда в последний момент жертву прячут от взоров. Главный кассир почтового

[42] A. Bruneau, *Observations et maximes sur les affaires criminelles*, 1715; предисловие к первой части, страницы не пронумерованы.

ведомства был выставлен напоказ за убийство жены, а затем укрыт от толпы: «Его посадили в телегу; думали, что без надлежащей охраны трудно уберечь его от избиения громко негодующей чернью»[43]. Когда повесили некую Лекомба, позаботились закрыть ей лицо; «шея и голова ее были покрыты платом, отчего публика роптала и говорила, что это не Лекомба»[44]. Народ отстаивает свое право наблюдать казнь и видеть, кого казнят[45]. И народ имеет право участвовать в казни. Осужденного долго водят, показывают, унижают, всячески напоминают о чудовищности совершенного преступления, он подвергается оскорблениям, а иногда нападению толпы. В месть монарха должна привходить месть народа. Последняя совсем не составляет основания мести суверена, и король отнюдь не выражает месть народа; скорее, народ призван оказывать содействие королю, когда тот решает «отмстить своим врагам», особенно если эти враги — из народа. Такова своего рода «эшафотная служба», которую народ обязан нести в интересах королевской мести. Эта «служба» предусматривалась старыми постановлениями. Эдикт 1347 г. о богохульниках гласит, что они должны выставляться у позорного столба «с часа начала казни до часа их смерти. И грязь, и прочий мусор, кроме камней или раняших предметов, можно бросать им в лицо... Постановляем, чтобы в случае рецидива богохульник был выставлен к позорному столбу в праздничный рыночный день и чтобы ему рассекли верхнюю губу, обнажив зубы». Несомненно, в классическую эпоху участие народа в пытке в такой форме разве что терпели и предпринимались попытки его ограничить: из-за варварских выходок народа и узурпации им власти

[43] S. P. Hardy, *Mes loisirs*, t. I, p. 328 (опубликованный том).

[44] T. C. Гёлетт; цит. по: R. Anchel, *Crimes et châtiments au XVIII^e siècle*, p. 70–71.

[45] Согласно *Chronique de Paris*, при первом применении гильотины народ жаловался, что ничего не видно, и громко требовал: «Верните нам виселицы!» (см.: J. Laurence, *A history of capital punishment*, 1432, p. 71 ff.).

наказывать. Но оно было слишком тесно связано с общей экономией публичной казни, и полностью отменить его было невозможно. Даже в XVIII веке наблюдаются сцены вроде той, что сопровождала казнь Монтини: пока палач казнил осужденного, рыночные торговки рыбой носили над толпой куклу осужденного, которой потом сами отрубили голову[46]. И очень часто приходилось «защищать» преступников, когда их медленно прогоняли сквозь толпу – как пример и мишень, как возможную угрозу и обещанную, но одновременно запретную жертву. Созывая толпу для манифестации своей власти, суверен краткое время терпел акты насилия, воспринимавшиеся им как знак верности, но строго ограниченные собственными привилегиями его.

И именно тогда народ, привлеченный зрелищем, которое устраивается для его устрашения, мог выплеснуть свое отвержение карательной власти, а иногда и пойти на бунт. Препятствовать казни, расцениваемой как несправедливая, вырвать осужденного из рук палача, добиться помилования силой, даже преследовать палачей и нападать на них и, конечно, проклинать судей и роптать против приговора – все это входит в число действий народа, которые вклиниваются в ритуал публичной казни, мешают ему и часто расстраивают его порядок. Естественно, это часто происходит по отношению к осужденным за бунт: таковы беспорядки, после известного дела о похищении детей, когда толпа хотела помешать казни трех предполагаемых бунтовщиков; их должны были повесить на кладбище Сен-Жан, «поскольку там мало аллей, а значит, и процессий, требующих охраны»[47]. Напуган-

[46] Т. С. Гёлетт; цит. по: R. Anchel, p. 63. Сцена происходит в 1737 г.

[47] Marquis d'Argenson, *Journal et Mémoires*, t. VI, p. 241. См.: Barbier, *Journal*, t. IV, p. 455. Один из первых эпизодов этого дела весьма характерен для народных волнений против уголовного правосудия в XVIII веке. Генеральный лейтенант полиции Беррье приказал задерживать «непослушных и лживых детей»; жандармы соглашались возвращать их родителям «только за выкуп»; говорили, будто детей отнимают на забаву королю. Толпа изобличила одного доносчика, убила его «крайне бесчеловечно» и, «когда он умер, приволокла на веревке, обвязывавшей шею, к дверям господина Беррье». Донос-

ный палач отвязал одного из осужденных, лучники стали стрелять. Это повторилось и после хлебных бунтов 1775 г., и в 1786 г., когда поденщики совершили поход на Версаль и попытались освободить своих арестованных товарищей. Но кроме этих случаев, когда волнения разгорались еще до вынесения приговора и по причинам, далеким от мер уголовного правосудия, имеется много примеров, когда бунты были вызваны непосредственно приговором или казнью. Малые, но бесчисленные «эшафотные страсти».

В самых элементарных формах такие беспорядки начинаются с подбадриваний, а иногда и приветствий, сопровождающих осужденного в ходе казни. Во время долгого вождения по улицам осужденного поддерживает «сострадание добрых и отзывчивых, а также хлопанье в ладоши, восхищение и зависть дерзких и ожесточенных»[48]. Народ толпится у эшафота не просто для того, чтобы увидеть страдания осужденного или разжечь ярость палача, но и для того, чтобы услышать человека, которому больше нечего терять и который проклинает судей, законы, власть, религию. Публичная казнь допускает миг разгула осужденного, когда для него нет более запретного и наказуемого. Под защитой неминуемой смерти преступник может сказать все что угодно, а зрители приветствуют его. «Если бы существовали хроники, тщательно фиксирующие последние слова пытаемых и казнимых, если бы достало мужества перечесть их все, даже если бы просто спросили презренную чернь, что толпится вокруг эшафотов из жестокого любопытства, то стало бы ясно, что ни один из привязанных к колесу не

чиком был вор, которому грозило колесование вместе с его сообщником Раффья, если бы он не согласился стать осведомителем; полиция заинтересовалась им, поскольку он знал всю подоплеку дела, и его «очень ценили в этом новом качестве». Данный пример представляет интерес в нескольких отношениях: перед нами восстание, вызванное сравнительно новым средством подавления – не уголовным правосудием, а полицией; пример делового сотрудничества между делинквентами и полицией, ставшего обычным начиная с XVIII века; бунт, в котором народ берет на себя казнь осужденного, незаслуженно избежавшего плахи.

[48] H. Fielding, *An inquiry*, см. в: *The Causes of the late increase of Robbers*, 1751, p. 61.

умирает, не обвинив небо в нищете, толкнувшей его на преступление, не упрекнув судей в варварстве, не прокляв сопровождающих его служителей алтаря и не кощунствуя *против Бога, чьими орудиями они служат*»[49]. В этих казнях, призванных демонстрировать только устрашающую власть монарха, имеется карнавальная сторона: роли меняются, власти осмеиваются, преступники превращаются в героев. Бесчестье опрокидывается; мужество, как и вопли, и крики осужденных навлекают подозрение только лишь на закон. Филдинг удрученно замечает: «Когда видишь, как трепещет осужденный, не думаешь о бесчестье. И тем меньше, если он ведет себя вызывающе»[50]. У людей, присутствующих на казни и наблюдающих, даже при самой жестокой монаршей мести всегда есть предлог для реванша.

И особенно если приговор расценивается как несправедливый или если простолюдина предают смертной казни за преступление, за которое более высокородный или богатый получил бы сравнительно легкое наказание. Создается впечатление, будто низшие слои населения в XVIII веке, а может быть и ранее, уже не в силах терпеть определенные практики правосудия. Отсюда становится ясно, почему казни легко порождают народные волнения. Поскольку беднейшие – это наблюдение принадлежит одному магистрату – не имеют шанса быть выслушаны в судах[51], именно там, где закон проявляется публично, где они призваны быть свидетелями и едва ли не соисполнителями закона, именно там они могут вмешаться физически: живой силой войти в механизм исполнения наказания и перераспределить его результаты, изменить

[49] A. Boucher d'Argis, *Observations sur les lois criminelles*, 1781, p. 128–129. Буше д'Аржис был советником в Шатле.

[50] H. Fielding, *loc. cit.*, p. 41.

[51] C. Dupaty, *Mémoire pour trois hommes condamnés à la roue*, 1786, p. 247.

направление насилия в карательных ритуалах. Вот пример бунта против дифференциации наказаний в зависимости от сословной принадлежности: в 1781 г. кюре из Шампре был убит местным помещиком, и убийцу попытались объявить умалишенным. «Крестьяне, очень любившие пастыря, были разгневаны и в первый момент, казалось, были готовы совершить крайнюю жестокость по отношению к своему господину и поджечь его замок... Все протестовали, и справедливо, против попустительства судьи, лишившего правосудие возможности покарать за столь ужасное преступление»[52]. Бунтовали также против слишком суровых приговоров за обычные правонарушения, которые не считались серьезными (например, кража со взломом), или против наказания за некоторые правонарушения, связанные с социальным положением, такие, как домашняя кража, совершенная прислугой. Смертный приговор за такое преступление вызывал сильное недовольство, поскольку многочисленной домашней челяди трудно было доказать свою невиновность, поскольку слуги легко могли стать жертвами злонамеренности хозяев и поскольку снисходительность некоторых господ, закрывавших глаза на подобные проступки, делала тем более горькой судьбу обвиненных, осужденных и повешенных слуг. Казнь слуг часто вызывала протесты[53]. В 1761 г. в Париже произошел небольшой бунт в защиту одной служанки, укравшей кусок материи у хозяина. Несмотря на признание ею своей вины, возвращение украденного и мольбы о помиловании, хозяин не захотел отозвать жалобу. В день казни окрестные жители помешали повешению, ворвались в лавку торговца и разграбили ее.

[52] S. P. Hardy, *Mes loisirs*, 14 janvier 1781, t. IV, p. 394.

[53] О недовольстве, вызываемом такого рода приговорами, см.: Hardy, *Mes loisirs*, t. I, p. 319, 367; t. III, p. 227–228; t. IV, p. 180.

В конце концов служанку помиловали. Но одну женщину, пытавшуюся уколоть иголкой злого хозяина, приговорили к трем годам каторги[54].

Вспоминают знаменитые судебные процессы XVIII века, в которые вмешалось просвещенное мнение философов и ряда магистратов: дела Каласа, Сирвена, шевалье де Ла Барра*. Но меньше говорят о народных волнениях, связанных с карательной практикой. Правда, они редко выплескивались за границы отдельного города или даже квартала. И все же они имели важное значение. Иногда эти движения, зародившись в низах общества, распространялись и привлекали внимание высокопоставленных особ, которые, откликаясь на них, придавали им новое звучание (незадолго до Революции дело Катрин Эспинас, незаслуженно обвиненной в убийстве отца в 1785 г., или дело трех колесованных из Шомона, ради которых Дюпати написал в 1786 г. свой знаменитый труд; или дело Мари-Франсуаз Сальмон, приговоренной в 1782 г. Руанским парламентом за отравление к сожжению на костре, но еще не казненной в 1786 г.). Обычно же эти волнения поддерживали постоянное беспокойство вокруг уголовного правосудия и его проявлений, призванных быть образцовыми. Сколько раз оказывались необходимыми для обеспечения порядка вокруг эшафотов меры, «неприятные для народа», и предосторожности, «унизительные для властей»[55]? Было очевидно, что великое зрелище казней рискует быть опрокинуто теми, кому оно предназначалось. Ужас, внушаемый публичной казнью, действительно разжигал очаги противозаконности: в дни казней работа прекращалась, кабаки наполнялись,

[54] По кн.: R. Anchel, *Crimes et châtiments au XVIII^e siècle*, 1937, p. 226.
[55] Marquis d'Argenson, *Journal et Mémoires*, t. VI, p. 241.

власти терпели оскорбления, на палача, жандармов и солдат сыпались ругательства и камни; делались попытки захватить осужденного, чтобы спасти его или убить наверняка; завязывались драки, и для воров не было лучших жертв, чем зеваки, толпившиеся вокруг эшафота[56]. Но главное — и именно поэтому перечисленные неудобства несли в себе политическую опасность — народ нигде не чувствовал себя более близким к наказуемым, чем в этих ритуалах, призванных показать гнусность преступления и непобедимость власти; подобно осужденным, народ никогда не ощущал столь остро угрозы законного насилия, чинимого без порядка и меры. Солидарность значительного слоя населения с теми, кого мы назвали бы мелкими правонарушителями, — бродягами, псевдонищими и бедняками, карманниками, скупщиками и продавцами краденого — выражалась постоянно: об этом свидетельствуют оттеснения полицейских кордонов, охота за осведомителями, нападения на караул или полицейских инспекторов[57]. Разрушение этой солидарности и становится целью судебно-правовой и полицейской репрессии. Однако из церемонии публичной казни, из шаткого празднества, где насилие в любой миг могло быть «повернуто» в обратную сторону, с гораздо большей вероятностью должна была выйти окрепшей именно эта солидарность, а не власть суверена. Реформаторы XVIII–XIX столетий должны были понимать, что в конечном счете казни не пугают народ. И одним из первых их требований стала отмена казней.

Для того чтобы лучше понять политическую проблему, связанную с участием народа в церемонии казней, доста-

[56] Арди сообщает о нескольких таких случаях, например о крупной краже в том самом доме, где обосновался лейтенант по уголовным делам, участвовавший в проведении казни (см.: S.P. Hardy, *Mes loisirs*, t. IV, p. 56).

[57] См.: D. Richet, *La France moderne*, 1974, p. 118–119.

точно вспомнить два события. Одно из них имело место в Авиньоне в конце XVII века. Оно заключает в себе все основные элементы театра ужаса: физическая схватка палача с осужденным, нападение осужденного, преследование палача народом, спасение осужденного благодаря начавшемуся бунту и насильственное опрокидывание уголовно-правовой машины. Должны были повесить убийцу по имени Пьер дю Фор. Несколько раз он «цеплялся ногами за ступеньки», и никак не удавалось его вздернуть. «Тогда палач набросил на лицо ему свой кафтан и ударил под коленами и в живот. Увидев, что палач причиняет казнимому слишком большие страдания, и вообразив даже, будто он перерезает ему горло штыком... люди преисполнились жалости к жертве и ярости к палачу и стали забрасывать эшафот камнями; тем временем палач выбил из-под ног пациента обе лестницы, сбросил его вниз, вспрыгнул ему на плечи и принялся топтать, а жена палача тянула осужденного за ноги из-под виселицы. У пациента хлынула горлом кровь. Но град камней усилился, некоторые даже угодили в голову казнимого, и палач ринулся на лестницу, побежав по ней так быстро, что упал посередине головой оземь. Толпа набросилась на него. Он поднялся и замахнулся штыком, угрожая убить каждого, кто приблизится. Несколько раз он падал и поднимался, его сильно избили, вываляли в грязи, утопили в ручье, потом возбужденная и разъяренная толпа поволокла его к университету и, далее, на францисканское кладбище. Помощника его поколотили и с разбитой головой и изувеченным телом отнесли в больницу, где он умер несколько дней спустя. Между тем неизвестные взобрались на лестницу и перерезали верев-

ку, другие подхватили висельника внизу; он успел провисеть дольше, чем длится «помилуй мя, боже» от начала до конца... Толпа смела виселицу и разнесла в щепки лестницу палача... Дети бросили виселицу в Рону». Приговоренного отнесли на кладбище, «чтобы не попал в лапы правосудия, а оттуда в церковь Святого Антуана». Архиепископ помиловал его и приказал отправить в больницу, просив как следует заботиться о нем. Наконец, добавляет составитель протокола, «мы заказали для него новую одежду, две пары чулок, туфли, одели во все новое с головы до пят. Наши коллеги дали ему рубашки, шаровары, перчатки и парик»[58].

Второе событие произошло в Париже столетие спустя, в 1775 г., вскоре после хлебного бунта. Поскольку народ был доведен до крайности, власти хотели «просто» казни. Между эшафотом и толпой, удерживаемой на безопасном расстоянии, стоят две шеренги солдат, одна — лицом к месту казни, которая сейчас начнется, другая — лицом к народу на случай возможного бунта. Связь разорвана: казнь публичная, но элемент зрелища в ней нейтрализован, скорее — сведен к абстрактному устрашению. Под защитой оружия на пустой площади правосудие спокойно делает свое дело. Если и можно видеть смерть обвиняемых, то лишь с высоты и издалека: «Две виселицы высотой 18 футов, несомненно — для пущего назидания, не устанавливали до трех часов дня. Начиная с двух часов Гревская площадь и все окрестности были окружены отрядами разных родов войск, пешими и конными. Швейцарские и французские гвардейцы охраняли близлежащие улицы. Во время казни на Гревскую площадь никого

[58] L. Duhamel, *Les Exécutions capitales à Avignon au XVIII^e siècle*, 1890, p. 5–6. Такие сцены происходили даже в XIX веке; о некоторых из них упоминает Л. Лоуренс, см.: J. Laurence, *A history of capital punishment*, 1932, p. 195–198, 56.

не пускали, и по всему ее периметру были видны две шеренги солдат со штыками наготове, стоявших спина к спине, одни – глядя на площадь, другие – вовне. Оба несчастных... все время кричали, что они невиновны, и продолжали твердить это даже на лестнице»[59]. Какую роль играют гуманные чувства в отказе от литургии публичных казней? Как бы то ни было, власть обнаружила политический страх перед последствиями этих двусмысленных ритуалов.

* * *

Двусмысленность ритуала казни особенно ярко проявлялась в том, что можно назвать «эшафотными речами». Обряд казни требовал, чтобы осужденный сам возглашал свою вину, произнося публичное покаяние, демонстрируя дощечку с надписью, а также делая заявления, к которым его, несомненно, принуждали. Кажется, в момент казни ему предоставляли еще одну возможность говорить, но не для того, чтобы объявить о своей невиновности, а для признания факта преступления и справедливости приговора. Хроники сообщают о множестве таких речей. Действительно ли они имели место? В ряде случаев – безусловно. Или они были придуманы и пущены в ход позднее, в качестве примера и наставления? Несомненно, в большинстве случаев было именно так. Насколько можно верить, например, рассказу о смерти Марионы Ле Гофф, знаменитой предводительницы воровской шайки в Бретани в середине XVIII века? Она якобы вскричала на эшафоте: «Отцы и матери, если вы меня

[59] S. P. Hardy, *Mes loisirs*, t. III, 11 mai 1775, p. 67.

слышите! Оберегайте и учите своих детей; в детстве я была лгуньей и лентяйкой. Я начала с кражи ножичка ценой в шесть лиардов... Потом обкрадывала коробейников и торговцев скотом. Наконец, возглавила банду воров, и потому теперь я здесь. Расскажите все вашим детям, и пусть это послужит им уроком»[60]. Речь настолько близкая, даже своими оборотами, к традиционной морали листков и памфлетов, что не может не быть «апокрифической». Но само существование жанра «последнее слово осужденного» показательно. Правосудие требует, чтобы его жертва в известном смысле удостоверила справедливость казни, которой ее подвергают. Преступника просят «освятить» наказание путем громогласного признания мерзости своих преступлений. Так, трижды убийцу Жан-Доминика Лангляда заставили сказать следующее: «Послушайте о моем ужасном, бесчестном и прискорбном деянии, свершенном в городе Авиньоне, где память обо мне ненавистна, поскольку я бесчеловечно нарушил священные права дружбы»[61]. В каком-то смысле листки и баллады о казненных — продолжение судебного процесса; или, скорее, деталь механизма, с помощью которого правосудие переносит тайную, существующую в письменной форме истину судоразбирательства на тело, жест и речь преступника. Правосудие нуждалось в таких подложных свидетельствах, чтобы утвердить свою справедливость. Оттого его решения окружались всеми этими посмертными «доказательствами». Иногда также печатались рассказы о преступлениях и бесчестной жизни — в чисто пропагандистских целях, еще до начала судоразбирательства, дабы поддержать руку право-

[60] Corre, *Documents de criminologie rétrospective*, 1896, p. 257.
[61] Цит. по: I. Duhamel, p. 32.

судия, подозреваемого в излишней терпимости. Стремясь дискредитировать контрабандистов, откупное ведомство опубликовало «бюллетени», повествующие об их преступлениях: в 1768 г. оно распространило листок против некого Монтаня, главаря одной банды, о котором сам автор листка сообщает: «Ему приписали несколько краж, факт коих не вполне установлен... Монтаня представили как лютого зверя, новую гиену, мишень для охоты; в Оверни живут горячие головы, эту мысль сразу же подхватили»[62].

Но последствия распространения такой литературы неоднозначны. Осужденный превращался в героя из-за чудовищности его широко рекламируемых преступлений, а иногда – благодаря утверждениям о его запоздалом раскаянии. Он представал как борец с законом, богачами, сильными мира сего, судьями, полицией и охранниками, с налогами и их сборщиками, и люди легко отождествляли себя с ним. Возглашаемые преступления расширялись, приобретая эпические размеры и представая как маленькие битвы, остающиеся незаметными в повседневной жизни. Если осужденный изображался кающимся, признающим приговор, просящим прощения за преступления у Бога и людей, то он претерпевал очищение: он умирал как своего рода святой. Но и неукротимость претендовала на величие: не сдаваясь под пытками, осужденный выказывал силу, которую не могла сломить никакая власть: «В день казни – это может показаться невероятным – я без тени волнения произнес публичное покаяние, а когда наконец расположился на крестовине, не выказал и признака страха»[63]. «Черный» герой или прими-

[62] Архивы города Пюи-де-Дом, цит. по: M. Juillard, *Brigandage et contrebande en haute Auvergne au XVIII^e siècle*, 1937, p. 24.

[63] Жалобная песнь Ж. Д. Лангляда, казненного в Авиньоне 12 апреля 1768 г.

ривший преступник, защитник истинного права или предъявитель несокрушимой силы, преступник, рисуемый в листках, памфлетах, альманахах, дешевых романах под прикрытием морали примера, которому не надо следовать, нес память о битвах и схватках. Одни осужденные преступники после смерти становились едва ли не святыми, их память уважали, могилы чтили[64]. В воспоминаниях о других слава и отвращение не были отделены друг от друга, но сосуществовали еще долгое время в одном «обратимом» образе. Разумеется, в литературе о преступлениях, которая быстро разрасталась вокруг некоторых знаменитых личностей[65], не надо усматривать ни чисто «народное самовыражение», ни согласованную программу пропаганды и морализации, навязанную сверху. Она — место встречи двух целей уголовно-правовой практики, своего рода поле боя между преступлением, наказанием за преступление и памятью о нем. Если этим рассказам, этим правдоподобным повествованиям о повседневной истории позволено печататься и распространяться, значит, от них ожидают эффекта идеологического контроля[66]. Но если их воспринимают с таким вниманием, если они становятся основным чтением низших классов, значит, народ находит в них не только воспоминания, но и точку опоры; не только интерес «любопытства», но и интерес политический. Таким образом, эти тексты могут пониматься как двусторонний дискурс: в сообщаемых фактах, вызываемом ими резонансе, в славе, какую они дарują преступникам, называемым «знаменитыми», и, несомненно, в самих используемых ими словах (надо бы изучить использование категорий, вроде «несчастье» или

[64] Так произошло с Танги, казненным в Бретани примерно в 1740 г. Правда, его долгое покаяние по совету исповедника началось еще до вынесения приговора. Нет ли здесь конфликта между гражданским правосудием и религиозным покаянием? На ту же тему см.: A. Corre, *Documents de criminologie rétrospective*, 1895, p. 21. Корр ссылается на Треведи, см.: Trevedy, *Une promenade à la montagne de justice et à la tombe Tanguy*.

[65] Р. Мандру называл «двумя великими» Картуша и Мандрэна*, к ним следует добавить и Гийери (R. Mandrou, *De la culture populaire aux XVII^e et XVIII^e siècles*, 1964, p. 112). В Англии в той же роли выступали Джонатан Уайлд, Джек Шеппард, Клод Дюваль.

[66] Издание и распространение альманахов, листков и т. п. в принципе строго кон-

«мерзость», и эпитетов, вроде «знаменитый» или «жалкий», в таких повествованиях, как «История жизни, великих разбоев и хитрых уловок Гийери с сотоварищи и их жалкого и несчастного конца»[67]).

Несомненно, надо сопоставить эту литературу с «эшафотными волнениями», где на теле осужденного сталкивались осуждающая власть и народ – свидетель, участник, возможная и «выдающаяся» жертва казни. В кильватере за церемонией, плохо разделявшей отношения власти и подчинения, которые она стремилась возвести в ритуал, возникало множество дискурсов, продолжающих то же столкновение; посмертное обнародование преступником своего преступления оправдывало правосудие, но и восхваляло преступника. Вот почему реформаторы уголовно-правовой системы вскоре потребовали запрета листков[68]. Вот почему народ обнаруживал столь живой интерес к тому, что в известном смысле играло роль малой и повседневной эпопеи противозаконностей. Вот почему листки утратили свое значение, когда изменилась политическая функция народных противозаконностей.

Исчезли же они, когда появилась совершенно новая литература о преступлениях – литература, в которой преступление прославляется, но потому, что является одним из изящных искусств; потому что может быть делом одних лишь исключительных натур; потому что показывает чудовищность и гнусность сильных мира сего; потому что злодейство – еще один вид привилегированности: от приключенческого романа до Де Квинси**, от «Отрантского замка»*** до Бодлера происходит эстетическое пе-

тролировались.

[67] Такие названия встречаются в сентиментальной литературе не только Нормандии, но и Труа, см.: R. Helot, *La Bibliothèque bleue en Normandie*, 1928.

[*] См., например, у Лакретеля*: «Для удовлетворения мучительной потребности в острых ощущениях, для пущего назидания позволяют ходить этим ужасным историям, народные поэты хватаются за них и возвещают повсюду. Однажды какая-нибудь семья

реосмысление преступления, являющееся также присвоением преступности в приемлемых формах. По видимости – это открытие красоты и величия преступления, по сути же – утверждение, что величие тоже имеет право на преступление и, даже, что это право становится исключительной привилегией поистине великих. Великие убийства и вообще преступления – не для мелких правонарушителей. Между тем полицейский роман, начиная с Габорио*, продолжает это первое смещение: благодаря своей хитрости, уловкам и остроумию преступник, изображаемый в такой литературе, делается недосягаемым для подозрений; борьба двух светлых умов – убийцы и сыщика – становится основной формой столкновения. И действительно, мы ушли далеко от повествований о жизни и злодеяниях преступника, где он признавался в совершённых преступлениях и где детально описывалась принятая им казнь: мы перешли от изложения фактов или от признания к медленному процессу раскрытия преступления, от казни – к расследованию, от физического столкновения с властью – к интеллектуальной борьбе между преступником и следователем. С рождением полицейской литературы исчезли не только листки; вместе с ними ушли прославление неотесанного злодея и мрачное превращение его в героя посредством публичной казни. Ведь простолюдин не мог изрекать и отстаивать тонкие истины. В этом новом жанре больше нет народных героев и пышных казней; преступник, конечно, порочен, но и умен; и хотя его наказывают, ему не приходится страдать. Полицейская литература переносит сияние вокруг преступника в иной общественный класс.

услышит под собственной дверью песнь о преступлении и казни своих сыновей» (Lacretelle, *Discours sur les peines infamantes*, 1784, p. 106).

Тем временем газеты снова берут на себя задачу описывать в серых тонах, в ежедневной хронике происшествий, детали заурядных правонарушений и наказаний. Произошел раскол; народ лишили прежней гордости за преступления; великие преступления становятся молчаливой игрой умников.

II. НАКАЗАНИЕ

Глава 1

Общие принципы наказания

«Пусть наказания будут умеренны и пропорциональны правонарушениям. Пусть смертный приговор выносится только виновным в убийстве. Пусть будут отменены публичные казни, возмущающие человечность»[1]. Во второй половине XVIII века протесты против публичных казней слышатся всюду: среди философов и теоретиков права, юристов, парламентариев; в наказах третьего сословия, среди законодателей ассамблей. Необходимо наказывать иначе: пора положить конец физическому поединку между сувереном и осужденным, прекратить рукопашную схватку мести суверена с затаенным гневом народа, воплощаемую палачом и жертвой. Очень скоро публичная казнь начинает казаться невыносимой. Она возмутительна со стороны власти, прибегающей к тирании, проявляющей необузданность, жажду мести и «жестокое наслаждение наказанием»[2]. Она постыдна со стороны жертвы,

[1] Так в 1789 г. Министерство юстиции резюмирует общую мысль наказов и пожеланий третьего сословия относительно жестоких публичных казней. См.: E. Seligman, *La Justice sous la Révolution*, t. I, 1901; A. Desjardin, *Les Cahiers des États généraux et la justice criminelle*, 1883, p. 13–20.

[2] J. Petion de Villeneuve, Discours à la Constituante, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 641.

которую не просто ввергают в отчаяние, но и принуждают благословлять «небо и судей небесных, покинувших ее»[3]. И в любом случае, публичная казнь опасна, поскольку в ней обретают опору, противостоя друг другу, насилие короля и насилие народа. Власть суверена словно не замечает в этом соперничестве в жестокости вызов, который сама же бросает и который однажды может быть принят: «Привыкнув видеть, как льется кровь», народ вскоре поймет, что «она может быть отомщена только кровью»[4]. В церемониях казни, вмещающих в себя столько противоположных целей, очевидно пересечение чрезмерности вооруженного правосудия и гнева народа, которому угрожают. Жозеф де Местр* усматривает в этом отношении один из фундаментальных механизмов абсолютной власти: палач действует как сцепление между королем и народом; причиняемая им смерть подобна гибели крепостных, строивших Санкт-Петербург, невзирая на топи и чуму: она – принцип всеобщности; из единоличной воли деспота она делает закон для всех, а каждое из уничтоженных тел превращает в краеугольный камень государства. Важно ли, что она поражает и невиновных! Реформаторы XVIII века, напротив, изобличают в этом опасном ритуальном насилии то, что с обеих сторон выходит за рамки законного отправления власти: по их мнению, здесь тирания сталкивается с бунтом; они вызывают друг друга. Здесь двойная опасность. Необходимо, чтобы уголовное правосудие прекратило мстить и стало наказывать.

Необходимость наказания без публичной казни и пытки сначала выразилась как крик души или негодующей природы; наказывая худшего из убийц, нужно видеть и

[3] A. Boucher d'Argis, *Observations sur les lois criminelles*, 1781, p. 125.
[4] Lachèze, Discours à la Constituante, 3 juin 1791, *Archives parlementaires*, t. XXVI.

уважать в нем хотя бы одно – «человека». В XIX веке придет день, когда «человек», открытый в преступнике, станет мишенью уголовно-правового вмешательства, объектом исправления и преобразования, окажется в центре целого ряда странных наук и практик – «пенитенциарных», «криминологических». Но в эпоху Просвещения человек противопоставляется варварской жестокости публичных казней отнюдь не как тема положительного знания, а как законный предел: законная граница власти карать. Не та, что должна быть достигнута, чтобы преобразовать его, но та, что должна остаться неприкосновенной, чтобы сохранить уважение к нему. *Noli me tangere**. «Человек», на которого указывают реформаторы в противовес деспотизму эшафота, становится также человеком-мерой: не вещей, но власти.

И вот проблема: как человек-предел может быть противопоставлен традиционной практике наказаний? Каким образом он становится великим моральным обоснованием реформистского движения? Откуда столь единодушное отвращение к пытке и лирическая приверженность необходимой «гуманности» наказания? Или, что то же самое, как два элемента, присутствующие во всех требованиях смягчения наказаний, именно «мера» и «гуманность», сопрягаются друг с другом в единой стратегии? Эти элементы столь необходимы и все же столь неопределенны, что именно они, неизменно вносящие диссонанс и связанные прежним двусмысленным отношением, предстают и сегодня всякий раз, когда ставится проблема экономии наказаний. XVIII столетие как будто породило кризис упомянутой экономии и, чтобы разрешить его, предложило осно-

вополагающий закон («мерой» наказания должна быть «гуманность»), но не вложило в этот закон (рассматриваемый тем не менее как непреложный) точного смысла. Необходимо, стало быть, рассказать о рождении и первоначальной истории этой загадочной «мягкости».

* * *

Возносят хвалу великим «реформаторам» (Беккариа, Сервану, Дюпати, Лакретелю, Дюпору, Пасторэ, Тарже, Бергассу*, составителям и авторам наказов депутатов генеральных штатов и Конституанты) за то, что они принудили к восприятию мягкости судебный аппарат и «классических» теоретиков, которые еще в конце XVIII века приводили против нее убедительные доводы[5].

Однако необходимо поместить эту реформу в контекст процесса, недавно вновь обретенного историками в результате исследования судебных архивов: процесса ослабления наказаний в XVIII веке, или, точнее, двойного движения, в котором в течение указанного периода преступления как будто утрачивают жестокость, а наказания в ответ теряют долю своей интенсивности, но ценой усилившегося вмешательства власти. Действительно, с конца XVII века наблюдается значительное снижение числа убийств и вообще физически агрессивного поведения; правонарушения против собственности приходят на смену насильственным преступлениям; кража и мошенничество теснят убийства и телесные повреждения; не имеющая четких границ, спорадическая, но распространенная преступность беднейших классов сменяется пре-

[5] См., в частности, полемику Мюйара де Вуглансa с Беккариа: Muyart de Vouglans, *Réfutation du Traité des délits et des peines*, 1766.

ступностью ограниченной и «искусной»; преступники в XVII веке – «люди изнуренные, голодные, живущие одним моментом, разгневанные: преступники временные»; в XVIII же – «изворотливые, хитрые, расчетливые продувные бестии», «маргиналы»[6]. Наконец, изменяется сама внутренняя организация преступности: сплоченные и сильные банды злодеев (грабители, действовавшие небольшими вооруженными отрядами, шайки контрабандистов, нападавшие на агентов откупного ведомства, отставные солдаты или дезертиры, бродяжничавшие группами) начинают распадаться; преследование их становится более успешным, и потому, несомненно, чтобы стать незаметными, они разбиваются на все более мелкие группы, часто просто горстки; они действуют все больше «перебежками», меньшими силами и с меньшим риском кровопролития: «Физическая ликвидация или организационное дробление крупных банд... после 1755 г. открывают простор для преступлений против собственности, совершаемых грабителями и воришками в одиночку или мелкими группами, редко более чем вчетвером»[7]. Общее движение уводит противозаконность от нападения на тела к более или менее прямому расхищению имущества и от «массовой преступности» – к «преступности по краям», являющейся отчасти делом профессионалов. Наблюдается как будто постепенный спад – «уходит напряженность, господствовавшая в отношениях между людьми... лучше контролируются жестокие импульсы»[8], – и сами противозаконные действия отпускают тело и обращаются на другие цели. Смягчение характера преступлений опережает смягчение законов. Но эту перемену не-

[6] P. Chaunu, *Annales de Normandie*, 1962, p. 236; 1966, p. 107–108.

[7] E. Le Roy-Ladurie, в: *Contrepoint*, 1973.

[8] N. W. Mogensen, *Aspects de la société augeronne aux XVII^e et XVIII^e siècles*, 1971, p. 326 (машинопись). Автор показывает, что в департаменте Ож накануне Революции жестоких насильственных преступлений совершалось в четыре раза меньше, чем в конце царствования Людовика XIV. Вообще говоря, исследования преступности в Нормандии, проводимые под руководством Пьера Шоню, показывают возрастание количества случаев мошенничества и уменьшение числа насильственных преступлений. См. статьи Б. Бутле, Ж.-К. Жэго и В. Бушрона (B. Boutelet, J. Cl. Gegot, V. Boucheron, в: *Annales de*

возможно отделить от нескольких процессов, лежащих в ее основе. Первым из них, как отмечает П. Шоню, является изменение воздействия экономических факторов, общий подъем уровня жизни, значительный демографический рост, увеличение богатства и собственности и «вытекающая отсюда потребность в безопасности»[9]. Кроме того, на протяжении всего XVIII века наблюдается некоторое ужесточение правосудия, становятся более строгими многие пункты законодательных текстов: так, в Англии в начале XIX века смертным приговором каралось 223 преступления, и 156 из них были добавлены в течение предыдущего столетия[10]; во Франции законодательство о бродяжничестве начиная с XVII века неоднократно обновлялось и ужесточалось; более жесткое и скрупулезное отправление правосудия начинает учитывать массу мелких правонарушений, которым прежде удавалось ускользать от наказания с большей легкостью: «В XVIII веке правосудие делается более медлительным, более тяжелым и строгим по отношению к участившимся кражам, становясь в этом смысле буржуазным и классовым»[11]; рост, главным образом во Франции и особенно в Париже, полицейского аппарата, препятствующего развитию открытой организованной преступности, вынуждает ее принимать более скрытые формы; ко всем этим мерам предосторожности необходимо добавить весьма распространенную уверенность в неуклонном и опасном росте количества преступлений. Хотя современные историки отмечают уменьшение числа организованных преступных банд, Ле Трон* говорит, что они налетают на всю сельскую Францию, подобно тучам саранчи: «Это прожорли-

Normandie, 1962, 1966, 1971). Относительно Парижа см.: P. Petrovich, *Crime et criminalite en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, 1971. То же явление, похоже, наблюдалось в Англии, см.: Ch. Hibbert, *The Roots of evil*, 1966, p. 72; J. Tobias, *Crime and industrial society*, 1967, p. 37.

[9] P. Chaunu, *Annales de Normandie*, 1971, p. 56.

[10] Thomas Fowell Buxton, *Parliamentary Debate*, 1819, XXXIX.

[11] E. Le Roy-Ladurie, *Contrepoint*, 1973 Исследование А. Фаржа подтверждает эту тенденцию: с 1750 по 1755 г. 5% осужденных за кражу продуктов питания были приговорены к каторжным работам, а в 1775–1790 гг. такие приговоры составляют 15%:

вые насекомые, которые изо дня в день уничтожают припасы земледельцев. Это самые настоящие вражеские войска, разбредшиеся по всей территории, живущие в свое удовольствие, словно в завоеванной стране, и устанавливающие оброки под именем "милостыни"». Они обходятся беднейшим крестьянам дороже, чем подати: там, где обложение наиболее высокое, крестьяне отдают не меньше трети своих доходов[12]. Большинство наблюдателей утверждают, что преступность возрастает; в их числе, разумеется, сторонники более строгих мер; но и те, кто считает, что правосудие, ограниченное в применении насилия, будет более эффективным и менее расположенным отступать перед последствиями собственных шагов[13]; а также магистраты, сетующие на загруженность множеством процессов: «Нищета народа и падение нравов умножили число преступлений и преступников»[14]. Во всяком случае, об этом свидетельствует реальная практика судов. «Революционную и имперскую эру предвещают уже последние годы монархии. В судебных процессах 1782–1789 гг. поражает рост напряженности. Налицо строгость к беднякам, ответный отказ свидетельствовать, возрастание взаимного недоверия, ненависти и страха»[15].

На самом деле смещение преступности от «кровавой» к «мошеннической» составляет часть сложного механизма, включающего в себя развитие производства, рост богатства, более высокую юридическую и моральную оценку отношений собственности, более строгие методы надзора, весьма жесткое распределение населения «по графам», усовершенствование техники розыска и получения информации, поимки, осведомления: изменение характе-

«Строгость судов со временем усиливается ... над ценностями, полезными для общества, которое хочет быть упорядоченным и уважать частную собственность, нависла угроза» (A. Farge, *Le Vol d'aliments à Paris au XVIII^e siècle*, 1974, p. 130–142).

[12] G. Le Trosne, *Mémoire sur les vagabonds*, 1764, p. 4.

[13] См., например: C. Dupaty, *Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue*, 1786, p. 247.

[14] Так говорит один из председателей Турнельской Палаты в обращении к королю 2 августа 1768 г., цит. по: Arlette Farge, p. 66.

[15] P. Chaunu, *Annales de Normandie*, 1966, p. 108.

ра противозаконных практик соотносится с расширением и совершенствованием практик наказания.

Означает ли это общее преобразование установки, «изменение, относящееся к области духа и подсознания»[16]? Пожалуй, но скорее и прежде всего следует видеть в этих процессах попытку отладить механизмы власти, образующие каркас жизни индивидов, приспособить и усовершенствовать механизмы, которые обеспечивают каждодневное наблюдение за поведением, личностью, деятельностью индивидов, за их на вид незначительными жестами, – которые отвечают за них: новую политику в отношении множества тел и сил, составляющих население. Возникает, несомненно, не столько новое уважение к человеческому в осужденном (ведь казни с применением пыток все еще часты и карают даже за легкие преступления), сколько тенденция к более тонкому и справедливому правосудию, к более тщательному уголовно-правовому надзору за телом общества. Одно автоматически влечет за собой другое: порог на пути к тяжким преступлениям становится выше, возрастает нетерпимость к экономическим правонарушениям, контроль становится все более повсеместным, уголовно-правовые вмешательства – одновременно более ранними и частыми.

Если сопоставить этот процесс с критическим дискурсом реформаторов, то вырисовывается замечательное стратегическое совпадение. Прежде чем сформулировать принципы нового наказания, реформаторы ставили в упрек традиционному правосудию именно чрезмерность наказаний, но чрезмерность, которая связана больше с отсутствием правил, чем со злоупотреблением властью на-

[16] Выражение Н. У Могенсена, см. *loc. cit.*

казывать. 24 марта 1790 г. Турэ* начинает в Конституанте дискуссию о новой организации судебной власти. По его мнению, судебная власть «искажена» во Франции тремя факторами. Частным владением: судебные должности продаются, передаются по наследству, имеют рыночную стоимость, т. е. правосудие отягощено чуждыми ему элементами. Смешением двух типов власти: той, что отправляет правосудие и выносит приговор на основании закона, и той, что создает закон как таковой. Наконец, целым рядом привилегий, которые делают отправление правосудия непоследовательным: существуют суды, судопроизводства, участники процессов и даже правонарушения «привилегированные» и выходящие за пределы общего права[17]. Такова лишь одна из бесчисленных критических формул, предъявленных правовой системе в течение последних по крайней мере пятисот лет; все они объясняют «искажение» судебной власти неупорядоченностью правосудия. Уголовное правосудие оказывается неупорядоченным прежде всего из-за множественности инстанций, которые несут ответственность за его отправление, но отнюдь не образуют единую и непрерывную пирамиду[18]. Оставляя в стороне религиозную юрисдикцию, необходимо обратить внимание на несогласованность, взаимоналожения и конфликты различных форм правосудия: правосудия сеньоров, все еще сохраняющего важное значение в наказании мелких правонарушений; королевского правосудия, представленного многочисленными и плохо координированными судебными органами (королевские суды часто конфликтуют с окружными, а главное – с гражданскими и уголовными судами, недавно созданными в каче-

[17] *Archives parlementaires*, t. XII, p. 344.

[18] Сошлемся, в частности, на С. Лингэ или на А. Бушэ д'Аржиса, см.: S. Linguet, *Nécessité d'une réforme dans l'administration de la justice*, 1764; A. Boucher d'Argis, *Cahier d'un magistrat*, 1789.

стве промежуточных инстанций); правосудия, которое по праву или фактически отправляется административными (например, интендантами*) или полицейскими (прево** или полицейскими лейтенантами***) инстанциями. Надо добавить сюда право короля или его представителей принимать решение о заключении или ссылке, не следуя никакой правовой процедуре. Многочисленные инстанции в силу самой их множественности нейтрализуют друг друга и не могут охватить тело общества во всей его полноте. Парадоксально, но их переплетение оставляет многочисленные лакуны в уголовном правосудии. Лакуны, обусловленные различиями в обычаях и процедурах, несмотря на общее уложение 1670 г.; лакуны, вызванные внутренними конфликтами вокруг разделения сфер компетенции; лакуны, порожденные частными интересами – политическими или экономическими, – защищаемыми каждой инстанцией; наконец, лакуны, являющиеся результатом вмешательства королевской власти, которая может стать препятствием (посредством помилований, смягчения наказаний, передачи дела в государственный Совет или непосредственного давления на магистратов) для правильного, строгого отправления правосудия.

Критика реформаторов направлена не столько на слабость или жестокость власти, сколько на ее плохую экономию. Слишком много власти у низших судебных органов, которые могут – поощряемые невежеством и бедностью осужденных – игнорировать право осужденных на апелляцию и бесконтрольно приводить в исполнение самоуправные приговоры. Слишком много власти у стороны обвинения, которая располагает практически

неограниченными средствами проведения расследования и дознания, тогда как обвиняемый противостоит ей буквально безоружным, а потому судьи иногда чрезмерно строги, иногда же, напротив, чересчур снисходительны. Слишком много власти в руках судей, которые могут довольствоваться ничтожными доказательствами, если те «законны», и наделены излишней свободой в выборе наказания. Слишком много власти у «людей короля», причем и по отношению к обвиняемым, и по отношению к другим магистратам. Наконец, слишком много власти у короля, который может приостановить рассмотрение дела в суде, изменить решение суда, отстранить магистратов от ведения дела, сослать их, заменить судьями, действующими от его имени. Паралич правосудия объясняется не столько ослаблением власти, сколько ее дурно регулируемым распределением, сосредоточением в определенном числе точек и вытекающими отсюда конфликтами и неувязками.

Болезнь власти связана с неким главным избытком: с тем, что можно назвать избыточной властью короля, в которой право наказывать тождественно личной власти суверена. Теоретическое отождествление, делающее короля *fons justitiae**; но его практические последствия проявляются даже в том, что по видимости противостоит суверену и ограничивает его абсолютизм. Именно потому, что король в интересах казны присваивает себе право продавать судебные должности, «принадлежащие» ему, он сталкивается с магистратами — владельцами собственных должностей, которые не только несговорчивы, но и невежественны, своекорыстны, зачастую готовы пойти на

сговор. Именно потому, что король постоянно учреждает новые должности, он умножает конфликты между властью и сферами их компетенции. Именно потому, что король имеет слишком сильную власть над своими «людьми» и наделяет их почти дискреционными полномочиями, он обостряет конфликты в судебном ведомстве. Именно потому, что король внедряет в правосудие чрезмерно большое число упрощенных процедур (юрисдикция прево или полицейских лейтенантов) или административных мер, он парализует нормальное правосудие, делает его то снисходительным и непоследовательным, то слишком поспешным и строгим[19].

Критиковали не только и не столько привилегии правосудия, его произвол, старинное высокомерие и безграничные права, сколько смешение его слабости и чрезмерности, избыточности и лакун, а главное, сам принцип их смешения — избыточная власть монарха. Истинная цель реформы, даже в самых общих ее формулировках, состояла не столько в том, чтобы установить новое право наказывать на основе более справедливых принципов, сколько в том, чтобы заложить новую «экономию» власти наказывать, обеспечить ее лучшее распределение, — чтобы она не была ни чрезмерно сконцентрирована в нескольких привилегированных точках, ни слишком разделена между противостоящими друг другу инстанциями, но распределялась по однородным кругам, могла действовать повсюду и непрерывно, вплоть до мельчайшей частицы социального тела[20]. Реформу уголовного права должно понимать как стратегию переустройства власти наказывать в соответствии с модальностями, которые делают ее более

[19] По поводу критики «избытка власти» и плохого распределения ее в судебном аппарате см., в частности: C. Dupaty, *Lettres sur la procédure criminelle*, 1788; P. L. de Lacretelle, *Dissertation sur le ministère public*, в: *Discours sur le préjugé des peines infamantes*, 1784; G. Target, *L'Esprit des cahiers présentés aux États généraux*, 1789.

[20] См. о судебной власти: «Лишенная всякой возможности действовать против политического режима государства и не оказывающая ни малейшего влияния на волнен-

упорядоченной, более эффективной, постоянной и детализированной в своих проявлениях, словом – увеличивают эффективность власти при снижении ее экономической и политической себестоимости (отделяя ее, с одной стороны, от системы собственности, купли-продажи, подкупа для получения не только должностей, но и самих приговоров, а с другой – от произвола монархической власти). Новая юридическая теория уголовно-правовой системы фактически открывает новую «политическую экономию» власти наказывать. Отсюда понятно, почему у «реформы» нет единого истока. Реформа не была инициирована ни наиболее просвещенными подсудимыми, ни философами, считавшими себя врагами деспотизма и друзьями человечества, ни даже общественными группами, противостоящими парламентариям. Вернее, она была вынашена не только ими; в глобальном проекте нового распределения власти наказывать и нового распределения ее воздействий сходится много различных интересов. Реформа не подготавливалась вне судебного аппарата и не была направлена против всех его представителей; она готовилась главным образом изнутри – многочисленными магистратами на основе их общих целей и разделявших их конфликтов, вызванных борьбой за власть. Конечно, реформаторы не составляли большинства магистратов, но именно законоведы наметили основные принципы реформы: должна быть создана судебная власть, недосягаемая для непосредственного влияния власти короля. Власть, которая будет лишена всякой претензии на законотворчество; будет отделена от отношений собственности; и не имея иных ролей, помимо судебной, будет испол-

явления, соединяющиеся во имя образования или поддержания этого режима, она должна располагать, для того чтобы защитить всех индивидов и все права, такой силой, которая, будучи всемогущественной в деле защиты и поддержания режима, должна превращаться в абсолютный нуль при изменении ее направления в попытке использовать ее для угнетения» (N. Bergasse, *Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire*, 1789, p. 11–12).

нять свою единственную функцию в полную силу. Словом, судебная власть должна зависеть отныне не от многочисленных, «прерывистых», подчас противоречивых привилегий власти суверена, но от непрерывно, сплошь распределяемых воздействий государственной власти. Этот основополагающий принцип определяет общую стратегию, вмещающую в себя много противоречивых мнений. Мнений философов, таких, как Вольтер, и публицистов, таких, как Бриссо* или Марат; но и магистратов, чьи интересы были все же весьма различными: Ле Трона, советника орлеанского уголовного суда, и Лакретеля, заместителя прокурора в парламенте; Тарже, который вместе с парламентами противостоял реформе Мопу**; но и Ж. Н. Моро, поддерживавшего королевскую власть против парламентариев; мнения магистратов Сервана и Дюпати, не соглашавшихся со своими коллегами, и др.

На протяжении XVIII века внутри и вне судебного аппарата, в каждодневной судебно-уголовной практике и критике институтов формируется новая стратегия практического отправления власти наказывать. И собственно «реформа», как она формулируется в теориях права или намечается в проектах, представляет собой политическое или философское продолжение этой стратегии и ее изначальных целей: сделать наказание и уголовное преследование противозаконностей упорядоченной регулярной функцией, сопротяженной с обществом; не наказывать меньше, но наказывать лучше; может быть, наказывать менее строго, но для того чтобы наказывать более равно, универсально и неизбежно; глубже внедрить власть наказывать в тело общества.

Итак, рождение реформы связано не с новой чувствительностью, а с новой политикой по отношению к противозаконностям.

Вообще говоря, при королевском режиме во Франции каждый общественный слой располагал собственным полем терпимой противозаконности: невыполнение правил, многочисленных эдиктов или указов являлось условием политического и экономического функционирования общества. Черта, характерная не только для абсолютизма? Несомненно. Но противозаконности в ту эпоху были столь глубоко укоренены в жизни каждого слоя общества и столь необходимы, что обладали в некотором смысле собственной последовательностью и экономией. Иногда они принимали форму абсолютно законосообразную – как привилегии, предоставляемые некоторым индивидам и общинам, – и превращались в устоявшиеся льготы. Порой – форму массового неподчинения: десятилетиями, а то и столетиями указы издавались и переиздавались, но никогда не выполнялись. Бывало, законы постепенно предавались забвению и внезапно вновь становились актуальными, – то при молчаливом согласии властей, то из нежелания или просто невозможности принудить к исполнению закона и задержанию нарушителей. В принципе, самые обездоленные слои общества не имели привилегий: но они извлекали выгоду – в рамках полей, отведенных им законом и обычаем, – из пространства терпимости, завоеванного силой или упорством; и пространство это было для них столь необходимым условием сущест-

вования, что часто они готовы были пойти на бунт, чтобы отстоять его. Периодически предпринимавшиеся попытки сократить его путем восстановления старых правил или совершенствования репрессивных методов вызывали народные волнения, точно так же как посягательства на привилегии возмущали знать, духовенство и буржуазию.

Необходимая противозаконность в специфических формах, порожденных внутри себя каждым слоем общества, была связана с рядом парадоксов. В низших слоях она отождествлялась с преступностью, от которой юридически (если не морально) ее трудно было отделить: начиная с налоговых правонарушений до нарушения таможенных правил, контрабанды, грабежа, вооруженной борьбы со сборщиками налогов, даже с самими солдатами, и вплоть до бунта наблюдается непрерывность, где трудно провести границы; или, опять-таки, бродяжничество (строго наказуемое в соответствии с никогда не выполнявшимися указами) со всевозможными хищениями, грабежами, даже убийствами оказывало радушный прием безработным, рабочим, самовольно покинувшим работодателей, прислуге, имевшей причины убежать от хозяев, терзаемым подмастерьям, дезертирам, всем тем, кто хотел укрыться от принудительной вербовки на военную службу. Таким образом, преступность растворялась в более широкой противозаконности, к которой простонародье было привязано как к условию своего существования; и наоборот, противозаконность была непременным фактором роста преступности. Отсюда двусмысленность народного отношения к преступникам. С одной стороны, преступник – особенно контрабандист или крестьянин, сбежавший от

помещика-лихоимца, — вызывал к себе искреннюю симпатию: его насильственные действия рассматривались как прямое продолжение старых битв. С другой стороны, человек, который под прикрытием допускаемой народом противозаконности совершал преступления, наносящие ущерб тому же народу (например, нищенствующий бродяга — вор и убийца), легко становился предметом особой ненависти: ведь он делал объектом преступления самых обездоленных, тогда как противозаконность являлась неотъемлемым условием их существования. Таким образом, вокруг преступников завязывались в узел прославление и порицание; действенная помощь и страх чередовались по отношению к этому подвижному, неустойчивому населению: люди знали, что оно совсем близко, и вместе с тем — что в нем может возникнуть преступление. Народная противозаконность окутывала ядро — преступность, которая была ее крайней формой и ее внутренней опасностью.

Между противозаконностью низов и противозаконностью других общественных сословий не было ни полной схожести, ни глубинной противоположности. Вообще говоря, различные противозаконности, характерные для каждой общественной группы, поддерживали отношения не только соперничества, конкуренции, конфликта интересов, но также взаимной поддержки и участия: землевладельцы не всегда осуждали нежелание крестьян платить некоторые государственные или церковные подати; новые предприниматели часто приветствовали отказ ремесленников соблюдать фабричные правила; весьма широкой поддержкой пользовалась контрабанда (что доказывает история Мандрэна*, которого любил народ, прини-

мали в замках и защищали парламентарии). В XVII веке дело доходило до того, что отказы от уплаты податей и налогов перерастали в серьезные бунты в далеко отстоящих друг от друга слоях общества. Словом, игра противозаконностей была частью политической и экономической жизни общества. Более того: некоторые преобразования (состояние подвешенности, в каком оказались правила Кольбера*, несоблюдение таможенных правил в королевстве, распад цеховых практик) происходили в бреши, которая ежедневно расширялась народной противозаконностью; буржуазия нуждалась в этих преобразованиях; именно они отчасти обеспечивали экономический рост. И терпимость становилась поощрением.

Но во второй половине XVIII века процесс начинает менять направление. Прежде всего, с общим возрастанием богатства, но также и по причине бурного демографического роста главной мишенью народной противозаконности становятся не столько права, сколько имущество: мелкое воровство и кражи сменяют контрабанду и вооруженную борьбу против сборщиков налогов. При этом основными жертвами часто оказываются крестьяне, фермеры и ремесленники. Несомненно, Ле Трон не преувеличивал действительную тенденцию, когда писал, что крестьяне страдают от лихоимства бродяг еще сильнее, чем от требований феодалов: теперь воры обрушиваются на них, словно полчища вредных насекомых, пожирая урожай и разоряя закрома[21]. Можно сказать, что в XVIII веке постепенно нарастает кризис народной противозаконности; и ни волнения в начале Революции (в связи с отменой прав сеньоров), ни позднейшие движения, в которых соединя-

[21] G. Le Trosne, *Mémoire sur les vagabonds*, 1764, p. 4.

лись борьба против прав собственников, политический и религиозный протесты и отказ от несения воинской повинности, не вернули народной противозаконности былой привлекательности. Далее, хотя значительная часть буржуазии весьма легко приняла противозаконность в отношении прав, оказалось, что ей трудно смириться с преступлениями против права собственности. С этой точки зрения совершенно типична проблема крестьянской преступности в конце XVIII века и особенно после Революции[22]. Переход к интенсивному сельскому хозяйству оказывает все более серьезное ограничительное давление на право пользования общинными землями, на традиционно сложившиеся практики, на мелкие оправдываемые противозаконности. Более того, земельная собственность, частично приобретенная буржуазией и освобожденная от феодальных пошлин, некогда ее отягощавших, становится абсолютной собственностью: все послабления, которых крестьянство добилось и сохранило (отмена прежних обязательств или упрочение незаконных практик, как-то: право выпаса скота на чужих лугах после первого покоса, сбор хвороста и т. п.), теперь отменяются новыми землевладельцами, считающими их просто-напросто воровством (отчего в народе начинается ряд цепных реакций, все более противозаконных или, если хотите, преступных: ломают изгороди, крадут и режут скот, поджигают, нападают, убивают)[23]. Противозаконность, затрагивающая права, хотя часто она обеспечивает выживание наиболее обездоленных, с установлением нового статуса собственности становится противозаконностью в отношении собственности. И как таковая подлежит наказанию.

[22] Y.-M. Bercé, *Croquants et nu-pieds*, 1974, p. 161.

[23] См.: O. Festy, *Les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat*, 1956; M. Agulhon, *La vie sociale en Provence*, 1970.

И эта противозаконность, невыносимая для буржуазии в отношении земельной собственности, нетерпима и в отношении собственности торговой и промышленной. Развитие портов, возникновение крупных складов, где хранится товар, и огромных цехов (с большим количеством сырья, инструментов и готовых изделий, которые принадлежат предпринимателю и с трудом поддаются надзору) тоже требуют строгого подавления противозаконностей. Поскольку богатство начинают вкладывать в товары и машины с невиданным прежде размахом, требуется систематический и вооруженный отпор противозаконности. Это явление, безусловно, особенно ощутимо там, где происходит наиболее интенсивное экономическое развитие. На примере Лондона Колькхаун с цифрами в руках доказывает настоятельную необходимость сдерживания многообразных противозаконных практик: по оценкам предпринимателей и страховых компаний, стоимость украденных товаров, импортированных из Америки и хранящихся на складах по берегам Темзы, достигала в среднем 250 000 фунтов стерлингов в год. В самом лондонском порту (не считая арсеналов и окрестных пакгаузов) ежегодно похищали товаров примерно на 500 000 фунтов стерлингов. Надо добавить еще 700 000 фунтов, приходящихся на украденное в самом городе. По мнению Колькхауна, в этих постоянных расхищениях следует принять во внимание три явления: пособничество и часто активное участие служащих, сторожей, мастеров и рабочих: «Всякий раз, когда много рабочих собирается в одном месте, среди них обязательно оказывается много негодяев»; — существование целой организации незаконной торговли,

начинающейся в цехах или доках и проходящей через скупщиков краденого (оптовиков, специализирующихся на определенном товаре, и розничных скупщиков, на чьих витринах выставлены «жалкие кучи железяк, лохмотьев, плохой одежды», а в конурах за лавкой спрятаны «дорогостоящие морские боеприпасы, медные болты и гвозди, куски чугуна и драгоценных металлов, привезенных из западной Индии, мебель и поношенная одежда, покупаемая мастеровыми») к перекупщикам и разносчикам, доставляющим краденое в далекие села[24]; – наконец, подделку денег (по всей Англии постоянно работали 40–50 фабрик, чеканивших фальшивые деньги). Работу этого огромного предприятия, включающего расхищение и конкуренцию, облегчает целый ряд обычаев: одни из них практически равноценны исторически сложившимся правам (таковы, например, право подбирать куски железа и обрывки снастей вокруг судов или перепродавать сахарную крошку); другие носят характер морального одобрения: так, сами воры рассматривают воровство как своего рода контрабанду, которую «они не считают серьезным преступлением»[25].

Итак, стало необходимо взять под контроль незаконные практики и ввести новое законодательство, их квалифицирующее. Правонарушения должны быть четко определены и гарантированно караться, в массе отклонений от нормального порядка (то терпимых, то наказуемых слишком жестко, несоразмерно с тяжестью содеянного) необходимо вычленить то, что является нетерпимым правонарушением, правонарушители должны задерживаться и наказываться. С новыми формами накопления капитала,

[24] P. Colquhoun, *Traité sur la police de Londres*, 1807 (пер. на франц. яз.). Колькхаун рассматривает эти махинации очень подробно (t. I, p. 153–182, 292–339).
[25] *Ibid.*, p. 297–298.

новыми производственными отношениями и новым юридическим статусом собственности все народные практики, принадлежащие – в их спокойной, повседневной и терпимой или, наоборот, насильственной форме – к противозаконностям в отношении прав, были силой сведены к противозаконности в отношении собственности. Кража постепенно становится первой из основных лазеек, позволяющих обойти закон в движении, преобразующем общество юридическо-политического взимания в общество присвоения орудий и продуктов труда. Или, другими словами, экономия противозаконности перестроилась с развитием капиталистического общества. Противозаконность в отношении собственности отделилась от противозаконности в отношении прав. Это разделение выражает борьбу классов, поскольку, с одной стороны, противозаконность, наиболее характерная для низших классов, посягает на собственность, направлена на насильственное перераспределение собственности, и поскольку, с другой стороны, буржуазия сохраняет за собой противозаконность в отношении прав: возможность обходить собственные правила и законы, отгородить для себя огромный сектор экономического оборота путем искусного использования пробелов в законе – пробелов, предусмотренных умолчаниями или оставшихся не заполненными благодаря его фактической терпимости. И это великое перераспределение противозаконностей выражается даже в специализации судебных каналов: для преступлений против собственности (кражи) – обычные суды и наказания; для противозаконностей в отношении прав (мошенничество, увиливание от уплаты налогов, неправомерная торговая

деятельность) – особые суды, где достигались соглашения, компромиссы, накладывались уменьшенные штрафы и т. п. Буржуазия оставила за собой богатую область противозаконности в отношении прав. И в то самое время, когда совершается этот раскол, вырисовывается необходимость постоянного надзора, главным образом – за противозаконностью в отношении собственности. Теперь необходимо избавиться от прежней экономии власти наказывать, основывающейся на принципе путаной и прерывистой множественности инстанций, от распределения и концентрации власти соотносительно с фактической инерцией и неизбежным попустительством, от наказаний, зрелищных в своих проявлениях и не продуманных в применении. Необходимо определить стратегию и методы наказания, которые позволили бы заменить экономию судебных издержек и чрезмерности экономией непрерывности и постоянства. Короче говоря, реформа уголовного права возникла на стыке борьбы со сверхвластью суверена и с инфравластью противозаконностей, право на которые завоевано или терпится. И реформа оказалась не просто временным результатом чисто случайного столкновения по той причине, что между сверхвластью и инфравластью образовалась целая сеть отношений. Форма верховной монархической власти, возлагая на суверена дополнительную ношу зрелищной, неограниченной, персональной, неравномерной и «прерывистой» власти, предоставляет подданным свободу для постоянной противозаконной деятельности; такая противозаконность – своего рода коррелят монархической власти. А значит, выступать против различных прерогатив монарха – то же, что выступать

против существования противозаконностей. Эти две мишени продолжают друг друга. И в зависимости от обстоятельств и конкретных тактик реформаторы делали ударение на той или другой. Примером может служить Ле Трон, физиократ и советник орлеанского уголовного суда. В 1764 г. он опубликовал исследование о бродяжничестве, этом рассаднике воров и убийц, «которые живут в обществе, не являясь его членами», ведут «настоящую войну против всех граждан» и находятся среди нас «в состоянии, кое существовало, видимо, до установления гражданского общества». Он требует применения к бродягам наиболее суровых наказаний (что характерно, он удивляется тому, что принято относиться к ним более снисходительно, чем к контрабандистам); он хочет, чтобы полиция была укреплена, чтобы коннополицейская стража преследовала бродяг с помощью населения, страдающего от их набегов; он требует, чтобы эти бесполезные и опасные люди «были приструнены государством и принадлежали ему, как рабы хозяевам»; если же понадобится, следует устраивать массовые облавы в лесах и выкуривать бродяг из их логовища, причем всякий, кто поймает бродягу, должен получить вознаграждение: «Убившему волка платят 10 ливров. А бродяга много более опасен для общества»[26]. В 1777 г. во «Взглядах на уголовное правосудие» тот же Ле Трон требует, чтобы прерогативы стороны обвинения были сокращены, чтобы обвиняемые считались невиновными вплоть до возможного осуждения, чтобы судья был справедливым арбитром в споре между ними и обществом, чтобы законы были «незыблемыми, постоянными и как можно более четко определенными» и подданные знали, «за что их на-

[26] G. Le Trosne, *Mémoire sur les vagabonds*, 1764, p. 8, 50, 54, 61–62.

казывают», чтобы судьи были просто «инструментом закона»[27]. Для Ле Трона, как и для многих других в ту эпоху, борьба за установление границ власти наказывать была непосредственно связана с необходимостью более строгого и постоянного контроля над народной противозаконностью. Понятно, почему критика публичной казни имела столь важное значение для реформы уголовного права: казнь была формой, зримо соединявшей в себе неограниченную власть суверена и вечно бодрствующую народную противозаконность. Гуманность наказаний есть правило для режима наказаний, устанавливающее их пределы для обеих сторон. «Человек», которого должно уважать в наказании, является юридической и моральной формой, придаваемой этому двустороннему установлению пределов.

Но хотя верно, что реформа как теория уголовного права и как стратегия власти наказывать обрела четкие контуры в точке совпадения двух указанных целей, своей устойчивостью в будущем она обязана тому, что в течение долгого времени на переднем плане оставалась вторая из них. Именно потому, что давление на народные противозаконности стало – в период Революции, затем в эпоху империи и, наконец, на протяжении всего XIX столетия – важнейшим императивом, реформа смогла перейти от стадии проекта к институционализации и практическому осуществлению. Иными словами, хотя новое уголовное законодательство как будто бы предполагает смягчение наказаний, более четкую их кодификацию, заметное сокращение произвола, более широкое согласие относительно власти наказывать (в отсутствии более реального распределения ее отправления), в действительности оно

[27] G. Le Trosne, *Vues sur la justice criminelle*, 1777, p. 31, 37, 103–106.

основывается на перевороте в традиционной экономии противозаконностей и на жесткой необходимости поддерживать их новое регулирование. Система уголовных наказаний должна рассматриваться как механизм, призванный дифференцированно управлять противозаконностями, а не уничтожить их все.

* * *

Поставить новую цель и изменить масштаб. Определить новую тактику для достижения цели, тактику, которая является теперь более тонкой, но также и более широко распространенной в общественном теле. Найти новые методы регулирования наказания и адаптации его последствий. Установить новые принципы регуляции, совершенствования, обобщения и унификации искусства наказывать. Сделать однородным его применение. Снизить экономическую и политическую стоимость наказания путем увеличения его эффективности и числа каналов. Словом, создать новую экономию и новую технологию власти наказывать. Таковы, несомненно, существенно важные задачи уголовно-судебной реформы в XVIII веке.

На уровне принципов новая стратегия легко вписывается в общую теорию договора. Гражданину предлагается принять раз и навсегда вместе с законами общества и тот закон, в соответствии с которым он может быть наказан. Тогда преступник оказывается существом, парадоксальным с юридической точки зрения. Он нарушил договор и потому является врагом всего общества; но при этом он участвует в применяемом к нему наказании. Малейшее

преступление направлено против всего общества, и все общество – включая преступника – участвует в малейшем наказании. Следовательно, уголовное наказание есть обобщенная функция, сопротяженная со всем телом общества и с каждым его элементом. Здесь встает проблема «меры» и экономии власти наказывать.

Действительно, правонарушение противопоставляет индивида всему общественному телу; для того чтобы наказать его, общество вправе подняться против него всем корпусом. Борьба неравная: все силы, вся мощь, все права – у одной стороны. И справедливо: ведь дело касается защиты каждого индивида. Так устанавливается грозное право наказывать, ибо правонарушитель становится общим врагом. На самом деле он хуже врага, поскольку наносит удары изнутри общества, – он предатель. «Чудовище». Как же обществу не иметь абсолютного права на него? Как не требовать его простого и безусловного уничтожения? И если справедливо, что принцип наказаний должен быть записан в договоре, то разве, рассуждая логически, граждане не должны признать справедливой высшую меру наказания для тех из них, кто нападает на все общественное тело? «Всякий злоумышленник, посягая на законы общественного состояния, становится, по причине своих преступлений, мятежником и предателем родины; в такой ситуации сохранение государства несовместимо с сохранением жизни преступника; один из двух должен погибнуть; виновного предают смерти не как гражданина, но как врага»[28]. Право наказывать из мести суверена превращается в защиту общества. Но оно снова включает в себя элементы столь сильные, что становится едва ли не

[28] *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре. Кн. II, гл. V. Заметим, что эти идеи Руссо были взяты на вооружение в Конституанте некоторыми депутатами, стремившимися сохранить систему крайне строгих наказаний. И весьма любопытно, что принципы «Общественного договора» могли быть использованы для поддержки старого соответствия между жестокостью преступления и жестокостью наказания. «Защита, полагающаяся гражданам, требует, чтобы наказания измерялись жестокостью преступлений и чтобы человечность не приносилась в жертву во имя человечества» (Мужен де Рокфор, который цитирует приведенный параграф «Общественного договора», см.: Mougins de Roquefort, Discours à la Constituante, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 637).

еще более грозным. Злоумышленник спасается от угрозы, которая по самой своей природе избыточна, но подвергается ничем не ограниченному наказанию. Возврат к устрашающей чрезмерной власти. И отсюда необходимость установить для власти наказывать принцип умеренности.

«Кто не содрогнется от ужаса, читая в истории об ужасных и бессмысленных мучениях, которые изобретались и хладнокровно применялись чудовищами, называвшими себя мудрыми?»[29] Или: «Законы призывают меня к ужаснейшему наказанию преступлений. Я соглашаюсь, разъяренный преступлением. Но что это? Моя ярость превосходит само преступление... Боже, запечатлевший в наших сердцах отвращение к страданиям нашим собственным и наших ближних, неужели те самые твари, что созданы Тобой слабыми и чувствительными, изобрели столь варварские, столь утонченные пытки?»[30] Принцип умеренности наказаний, даже по отношению к врагу общественного тела, формулируется сначала как душевное движение. Скорее, как крик, что вырывается из тела, возмущенного зрелищем (пусть даже воображаемым) чрезмерной жестокости. Принцип, по которому уголовно-исполнительная система должна оставаться «гуманной», реформаторы формулируют от первого лица. Словно в нем непосредственно выражается чувствительность того, кто говорит; словно философ или теоретик во плоти встает между палачом и жертвой, чтобы утвердить собственный закон и навязать его наконец всей экономии наказания. Не означает ли этот лиризм неспособность рационально обосновать расчет наказания? Где можно найти грань между принципом договора, изгоняющим преступника из

[29] Beccaria, *Des délits et des peines*, éd. 1856, p. 87.

[30] P. L. de Lacretelle, *Discours sur le préjugé des peines infamantes*, 1784, p. 129.

общества, и образом чудовища, «изрыгаемого» природой, как не в самой человеческой природе, которая проявляется – не в строгости закона, не в жестокости преступника – в чувствительности разумного человека, создающего закон и не совершающего преступлений?

Но обращение к «чувствительности» не выражает в точном смысле теоретическое бессилие. В сущности, оно содержит в себе расчет. Требующие уважения к себе тело, воображение, сердце на самом деле принадлежат не наказываемому преступнику, а людям, подписавшим договор и имеющим право применить к преступнику власть, даваемую объединением. Страдания, которые должны исключать любое смягчение наказаний, – страдания судей или зрителей, испытывающих душевную черствость, жестокость, порождаемые знанием, или, наоборот, необоснованную жалость и снисходительность: «Боже, помилуй мягкие, чувствительные души, на которые сии ужасные казни воздействуют как род пытки»[31]. Что требует заботы и расчета, так это обратные последствия наказания для карающей инстанции и отправляемой ею власти.

Здесь корни принципа, согласно которому всегда следует применять «гуманные» наказания к преступнику, хотя он вполне может быть предателем и чудовищем. Если отныне закон должен обращаться «гуманно» с теми, кто «вне природы» (тогда как прежнее правосудие негуманно обращалось с теми, кто «вне закона»), то не по причине некой глубинной человеческой природы, сокрытой в преступнике, а ради необходимого регулирования воздействий власти. Именно экономическая «рациональность» и должна рассчитывать наказание и предписывать соответ-

[31] *Ibid.*, p. 131.

ствующие методы. «Гуманность» — почтительное наименование экономии и ее скрупулезных расчетов. «В том, что касается наказания, минимум диктуется гуманностью и рекомендуется политикой»[32].

Для того чтобы понять эту технику и политику наказания, представим себе предельное преступление: чудовищное злодеяние, попирающее самые непреложные законы. Оно совершилось бы на самой грани возможного, в столь необычных условиях, в столь глубокой тайне, с такой безудержностью, что не могло бы не быть уникальным, во всяком случае, последним в своем роде: никто никогда не смог бы повторить его; никто не смог бы избрать его примером для себя или даже возмутиться им. Оно обречено на бесследное исчезновение. Этот аполог[33] о «крайнем преступлении» для новой уголовно-правовой системы есть то же, что первородный грех — для прежней: чистая форма, в которой проявляется смысл наказания.

Должно ли быть наказано такое преступление? Какова в таком случае мера наказания? Какова польза от наказания его для экономии власти наказывать? Наказание за такое преступление было бы полезно в той мере, в какой позволило бы возместить «ущерб, причиненный обществу»[34]. И вот, если оставить в стороне собственно материальный ущерб — который, даже когда он невозместим, как в случае убийства, имеет малое значение для общества в целом, — вред, причиняемый преступлением телу общества, заключается в вызываемом им беспорядке: в провоцируемом возмущении, подаваемом примере, желании повторить его, если оно не наказано, в возможности его широкого распространения. Наказание может быть полез-

[32] A. Duport, Discours à la Constituante, 22 décembre 1789, *Archives parlementaires*, t. X, p. 744. В подтверждение этого тезиса сошлемся на различные конкурсы, организованные в конце XVIII века научными обществами и академиями. Как совместить «мягкость следствия и наказаний с гарантированностью быстрого и образцового наказания, так, чтобы гражданское общество обрело наибольшую возможную гарантию свободы и гуманности» (*Société économique de Berne*, 1777; Марат ответил: «Планом уголовного законодательства»); каковы «способы смягчения строгости уголовных законов Франции, не наносящие вреда общественной безопасности» (*Académie de Châlons-sur-Marne*, 1780; победили Бриссо и Бернарди); «способствует ли крайняя жестокость зако-

ным, если имеет целью следствия преступления, т. е. ряд беспорядков, которые оно может инициировать. «Соотношение между наказанием и характером преступления определяется влиянием нарушения договора на общественный порядок»[35]. Но влияние преступления не обязательно прямо пропорционально его жестокости: преступление, ужасающее сознание, часто влечет за собой меньше последствий, чем проступок, который все терпят и готовы повторить. Великие преступления – редкость; с другой стороны, существует опасность, несомая и распространяемая обычными преступлениями. Поэтому не следует искать качественной зависимости между преступлением и наказанием, их равенства в жестокости: «Могут ли вопли несчастного пытаемого вернуть из глубин безвозвратно ушедшего уже совершенное деяние?»[36]. Надо рассчитывать наказание, памятуя о его возможном повторении, а не в зависимости от характера преступления. Надо принимать во внимание будущий беспорядок, а не прошлое правонарушение. Надо добиваться того, чтобы у злоумышленника не возникло желания повторить преступление и чтобы возможность появления подражателей была исключена [37]. Итак, наказание должно быть искусством последствий; вместо того чтобы противопоставлять чрезмерность наказания чрезмерности проступка, надлежит соразмерять друг с другом два следующих за преступлением ряда: его собственные следствия и следствия наказания. Преступление, не имеющее последствий, не требует наказания; так же как (по другой версии того же аполога) общество, находящееся на грани распада и исчезновения, не имеет права возводить эшафоты. Самое «предель-

...ов снижению числа и смягчению чудовищности преступлений в дурном государстве?» (*Académie de Marseille*, 1786; лауреатом стал Эймар).

[33] G. Target, *Observations sur le projet du Code pénal*, цитируется по: Locré, *La Législation de la France*, t. XXIX, p. 7–8. В измененном виде тот же аполог приводится у Канта.

[34] C. E. de Pastoret, *Des lois pénales*, 1790, t. II, p. 21.

[35] G. Filangieri, *La Science de la législation*, 1786, t. IV, p. 214 (пер. на франц. яз.).

[36] Beccaria, *Des délits et des peines*, 1856, p. 87.

[37] «Общество не находит в налагаемых им наказаниях варварского наслаждения, вызываемого страданиями человеческого существа; оно видит в них необходимую пре-

ное» из преступлений не может не остаться безнаказанным.

Это старая концепция. Наказание исполняло роль примера задолго до реформы XVIII века. То, что наказание направлено в будущее и что по крайней мере одной из его главных функций является предотвращение преступления, было одним из расхожих обоснований права наказывать. Но является и новое: профилактика преступлений как результат наказания и его зрелищности – а следовательно, и чрезмерности – становится теперь принципом экономии наказания и мерой его справедливых масштабов. Необходимо наказывать ровно в той мере, какая достаточна для предотвращения возможного преступления. Следовательно, наблюдается изменение в самой механике примера: в уголовно-правовой системе, использующей публичные казни и пытки, пример является ответом на преступление; он должен, посредством своего рода двойственной демонстрации, обнаруживать преступление и в то же время – взнуздывающую его власть монарха. В уголовно-правовой системе, где наказание рассчитывается с учетом последствий преступления, пример должен отсылать обратно к преступлению, но в предельно сдержанной форме, указывать на вмешательство власти, но максимально экономно; в идеальном случае он должен также препятствовать последующему новому оживлению и преступления, и власти. Отныне пример – не обнаруживающий, проявляющий ритуал, но знак, служащий препятствием. Посредством этой техники карательных знаков, разворачивающей в противоположную сторону все временное поле уголовно-правового наказания, реформато-

лосторожность для предупреждения подобных преступлений, для защиты общества от зол, какие приносит убийство» (A. Barnave, Discours à la Constituante, *Archives parlementaires*, т. XXVII, 6 juin 1791, p. 9).

ры хотели дать власти наказывать экономичный, эффективный инструмент, который способен распространиться по всему телу общества, кодифицировать все его поведение, а значит, уменьшить всю неопределенную область противозаконностей. Семиотическая техника, которой пытаются вооружить власть наказывать, основывается на пяти-шести основных правилах.

Правило минимального количества. Преступление совершается потому, что обеспечивает определенные выгоды. Если связать с идеей преступления идею скорее невыгоды, нежели выгоды, оно перестанет быть желаемым. «Для достижения цели наказания достаточно, чтобы причиняемое им зло превышало выгоду, которую виновный мог бы извлечь из преступления»[38]. Можно и даже нужно признать родственность преступления и наказания, но уже не в прежней форме, где публичная казнь должна была быть равна преступлению по силе и вдобавок обнаруживать избыточную власть суверена, осуществляющего законное мщение; квазиравенство на уровне интересов: чуть выгоднее избежать наказания, чем пойти на риск, связанный с преступлением.

Правило достаточной идеальности. Если мотивом преступления является ожидаемая выгода, то эффективность наказания заключается в ожидаемой невыгоде. Поэтому «боль»*, составляющая сердцевину наказания, – не столько действительное ощущение боли, сколько идея боли, неудовольствия, неудобства, – «боль» от идеи «боли». Наказание должно использовать не тело, а представление. Или, точнее, если оно использует тело, то не столько как субъекта, переживающего боль, сколько как объект пред-

[38] Beccaria, *Traité des délits et des peines*, p. 89.

ставления: воспоминание о боли должно предотвратить повторение преступления, точно так же как зрелище, сколь угодно искусственное, физического наказания может предотвратить распространение заразы преступления. Но не боль как таковая является инструментом техники наказания. Следовательно, надо по мере возможности избегать торжественных эшафотов (за исключением тех случаев, когда требуется действенное представление). Тело «выпадает» как субъект наказания, но не обязательно как элемент зрелища. Упразднение публичных казней, которое при возникновении теории получило лишь лирическое выражение, теперь может быть выражено рационально: максимальное значение надо придавать представлению боли, а не телесной реальности ее.

Правило побочных эффектов. Наказание должно оказывать наибольшее воздействие на тех, кто еще не совершил проступка; рассуждая логически, если можно быть уверенным в том, что преступник не совершит преступление повторно, то это должно доказывать другим, что он наказан. Центробежное усиление воздействия, приводящее к парадоксу: в расчете наказаний наименее интересным элементом является преступник (если нет оснований полагать, что он совершит преступление еще раз). Беккариа иллюстрирует этот парадокс, предлагая заменить смертную казнь пожизненным рабством. Не является ли такое наказание физически более жестоким, чем смерть? Вовсе нет, говорит Беккариа: ведь боль, причиняемая рабством, подразделяется для осужденного на столько же частей, сколько мгновений ему осталось жить; это бесконечно делимое наказание, элейское, куда менее суровое,

чем исполнение смертного приговора, недалеко отстоящее от публичной казни. Но для тех, кто видит рабов или представляет их себе, претерпеваемые ими страдания концентрируются в одной-единственной мысли; все моменты рабства стягиваются в одно представление, которое становится поэтому более ужасным, чем мысль о смерти. Это экономически идеальное наказание: оно минимально для того, кто его претерпевает (и будучи превращен в раба, не способен совершить свое преступление еще раз), и максимально для того, кто рисует его в воображении. «Среди наказаний и способов их применения соразмерно преступлениям надо выбирать средства, производящие наиболее длительное впечатление на умы людей и наименее жестокие по отношению к телу преступника»[39].

Правило абсолютной достоверности. Мысль о всяком преступлении и ожидаемой от него выгоде должна быть связана с мыслью о наказании и его результате – совершенно определенной невыгоде; связь между ними должна расцениваться как необходимая и неразрывная. Этот общий элемент достоверности, обеспечивающий эффективность уголовно-исполнительной системы, включает ряд конкретных мер. Законы, квалифицирующие преступление и устанавливающие наказание, должны быть абсолютно ясными, «с тем чтобы каждый член общества мог отличить действия преступные от действий добродетельных»[40]. Законы должны быть опубликованы и доступны каждому; нужны не устные традиции и обычаи, а письменное законодательство – «прочный памятник, напоминающий об общественном договоре», открытые для всеобщего ознакомления печатные тексты: «Лишь книгопе-

[39] Beccaria, *Des délits et des peines*, p. 87.
[40] J. P. Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781, t. I, p. 24.

чатание делает хранителем священного свода законов все общество, а не горстку избранных»[41]. Монарх должен отказаться от права прощения, и тогда сила, присутствующая в мысли о наказании, не будет ослабляться надеждой на монаршее вмешательство: «Дать знать людям, что преступление может быть прощено и что наказание не является его непременным следствием, значит взлелеять в них надежду на безнаказанность... законы должны быть неумолимыми, а те, кто приводит их в исполнение, непреклонными»[42]. А главное, ни одно совершённое преступление не должно ускользнуть от взгляда тех, кто вершит правосудие. Ничто так не ослабляет действие законов, как надежда на безнаказанность. Можно ли утвердить в умах граждан строгую связь между преступлением и наказанием, если известен коэффициент, определяющий малую вероятность последнего? Не приходится ли делать наказание тем более устрашающим и жестоким, чем менее страшатся его по причине необязательности его исполнения? Вместо того чтобы подражать старой системе и быть «строже, надо быть бдительнее»[43]. Отсюда идея, что механизм правосудия надо усилить органом надзора, который работал бы с ним в одной связке и позволял бы либо предотвращать преступления, либо, если они уже совершены, арестовывать преступников; полиция и юстиция должны действовать вместе, как два взаимодополнительных элемента одного процесса: полиция — гарантируя воздействие «общества на каждого индивида», юстиция — гарантируя «права индивидов по отношению к обществу»[44]; таким образом каждое преступление будет выведено на свет дня и непременно наказано. Но необходимо также, чтобы су-

[41] Beccaria, *Des délits et des peines*, p. 26.

[42] Beccaria, *ibid.* См. также Бриссо: «Если помилование справедливо, то закон плох; при хорошем законодательстве помилования — лишь преступления против закона» (Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781, t. I, p. 200).

[43] G. de Mably, *De la législation, Œuvres complètes*, 1789, t. IX, p. 327. См. также: «В необходимости исполнять свой долг всех убеждает не столько жестокость наказаний, сколько неукоснительность, с какой они исполняются» (Vattel, *Le Droit des gens*, 1786, p. 163).

[44] A. Duport, «Discours à la Constituante», *Archives parlementaires*, t. XXI, p. 45.

допроизводство не было тайным, чтобы причины, по которым обвиняемого осуждают или оправдывают, были известны всем и чтобы каждый мог знать основания для наказания: «Пусть судья выскажет свое мнение во всеуслышание, пусть зачитает в суде текст закона, на основании которого выносится обвинительный приговор... пусть судебные процедуры, сокрытые во мраке судейских канцелярий, будут открыты всем гражданам, интересующимся судьбой осужденного»[45].

Правило общей истины. Совершенно банальный принцип, за которым скрывается важное преобразование. Старая система судебных доказательств, применение пыток, вырывание признаний, использование публичной казни, тела и зрелища для воспроизведения истины в течение долгого времени изолировали уголовно-правовую практику от обычных форм доказательства: полудоказательства производили полуистины и полупреступников; слова, вырванные под пытками, считались более ценными и правдивыми; предположение о виновности влекло определенную степень наказания. Неоднородность этой системы и обычной системы доказательства стала скандалом лишь тогда, когда власти наказывать для ее собственной экономии потребовалась атмосфера неопровержимой очевидности. Как можно неразрывно связать в сознании людей мысль о преступлении с мыслью о наказании, если реальность наказания не всегда следует за реальностью преступления? Установление этой связи во всей очевидности и в соответствии с общепризнанными методами становится задачей *первостепенной* важности. Верификация преступления должна подчиняться критериям, об-

[45] G. de Mably, *De la législation, Œuvres complètes*, 1789, t. IX, p. 348.

щим для всякой истины. В используемых аргументах, в получаемых доказательствах судебное суждение должно быть однородно со всяким нормальным суждением. Стало быть, налицо отказ от «судебного» доказательства, отказ от пытки, потребность в полной демонстрации для удостоверения истины, уничтожение какого бы то ни было соотношения между степенями подозрения и степенями наказания. Подобно математической истине, истинность преступления должна быть признана только в том случае, если она полностью доказана. Отсюда вытекает, что вплоть до окончательного доказательства факта совершенного преступления обвиняемый должен считаться невиновным и что для получения доказательства судья должен использовать не ритуальные формы, а обычные инструменты, обычный человеческий разум, присущий также философам и ученым: «Теоретически я рассматриваю судью как философа, который намерен открыть интересную истину... Мудрость его позволит ему охватить все обстоятельства и взаимоотношения, свести воедино или развести все, что надо свести или развести, дабы прийти к здравому суждению»[46]. Расследование, упражнение обычного разума, отставляет старую инквизиторскую модель и принимает куда более гибкую, дважды удостоверенную (наукой и здравым смыслом) модель эмпирического исследования. Отныне судья подобен «штурману, ведущему судно между скалами»: «Какие доказательства или улики будут сочтены достаточными? — Никто не дерзнет определить это в общей форме. Поскольку обстоятельства подвержены бесконечным изменениям, поскольку доказательства и улики необходимо черпать из обстоятельств, яснейшие

[46] G. Seigneux de Correvon, *Essai sur l'usage de la torture*, 1768, p. 49.

доказательства и улики должны изменяться соответственно»[47]. Отныне судебно-правовая практика должна подчиняться общему или, скорее, комплексному режиму истины, в котором разнородные элементы — научное доказательство, свидетельство органов чувств и здравый смысл — переплетаются, с тем чтобы сформировать «глубинное убеждение» судьи. Хотя уголовное правосудие сохраняет формы, гарантирующие его справедливость, отныне оно открывается для любых истин, если они очевидны, хорошо обоснованны и общепризнанны. Судебный ритуал сам по себе уже не производит отдельную истину. Его возвращают в поле общих доказательств. С многочисленными научными дискурсами завязываются трудные, бесконечные отношения, которые уголовное правосудие пока не способно контролировать. Хозяин правосудия отныне не является хозяином его истины.

Правило оптимальной спецификации. Для того чтобы судебно-правовая семиотика покрывала все поле противозаконностей, уменьшения количества которых добиваются, все правонарушения должны получить определение; все они должны быть классифицированы и собраны в виды. Следовательно, необходим кодекс, причем достаточно точный, где был бы четко обозначен каждый тип правонарушения. Молчание закона не должно взращивать надежду на безнаказанность. Требуется исчерпывающий, ясный кодекс, определяющий преступления и устанавливающий наказания[48]. Но та же настоятельная необходимость полного совпадения всех возможных правонарушений и следствий-знаков наказания заставляет идти дальше. Мысль об одном и том же наказании восприни-

[47] P. Risi, *Observations de jurisprudence criminelle*, 1758, p. 53 (пер. на франц. яз.).

[48] На эту тему см., в частности: S. Linguet, *Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle*, 1764, p. 8.

мается по-разному: штраф не пугает богатого, как бесчестье не пугает человека с дурной репутацией. Вред, причиняемый преступлением, и значение последнего как примера различны в зависимости от общественного положения правонарушителя: преступление, совершенное знатным, наносит больший ущерб обществу, чем преступление простолюдина[49]. Наконец, наказание должно предотвращать повторение преступления, а значит, учитывать глубинную природу самого преступника, возможную степень его порочности, внутреннее качество его воли: «Из двух людей, совершивших одинаковую кражу, кто виновен больше – тот, кто едва сводит концы с концами, или тот, кто купается в роскоши? Из двух клятвопреступников кто виновен больше – тот, кому с малых лет внушали чувство чести, или тот, кто был предоставлен сам себе и не знал преимуществ образования?»[50] Одновременно с необходимостью параллельной классификации преступлений и наказаний возникает необходимость индивидуализации наказания в соответствии с особым характером каждого преступника. Эта индивидуализация ляжет тяжелым грузом на всю историю современного уголовного права; ее корни именно здесь: в терминах теории права и в соответствии с требованиями повседневной практики индивидуализация, несомненно, прямо противоположна принципу кодификации; но с точки зрения экономии власти наказывать и методов, с помощью которых хотят распространить по всему общественному телу точно подогнанные знаки наказания – без излишества, но и без лакун, без ненужного «расходования» власти, но и без робости, – становится очевидно, что кодификация системы преступле-

[49] P. L. de Lacretelle, *Discours sur les peines infamantes*, 1784, p. 144.
[50] J.-P. Marat, *Plan de législation criminelle*, 1780, p. 34.

ния—наказания и модуляция пары преступник—наказание идут бок о бок, что одно требует другого. Индивидуализация предстает как конечная цель точно подогнанного кодекса.

Но индивидуализация по своей природе совершенно отлична от модулирования наказания в старой правовой системе. Для уточнения характера наказания старая система – и в этом она следовала христианской пенитенциарной практике – использовала два ряда переменных: «обстоятельства» и «намерения», т. е. элементы, позволяющие квалифицировать деяние как таковое. Модулирование наказания принадлежало к «казуистике» в широком смысле слова[51]. Теперь же зарождается модулирование, относящееся к самому правонарушителю, к его характеру, образу жизни и мыслям, к его прошлому, к «качеству», а не к намерению его воли. Угадывается, как пока еще не заполненное место, то пространство, где в судебно-правовой практике психологическое знание придет на смену казуистической системе права. Конечно, в конце XVIII века до этого момента еще далеко. Связь между кодексом и индивидуализацией искали в научных моделях той эпохи. Естественная история предлагала, несомненно, наиболее адекватную схему: таксономию видов, построенную как их непрерывная градация. Стремятся стать этаким Линнеем* для области преступлений и наказаний, добиться, чтобы каждое конкретное правонарушение и каждый наказуемый индивид могли без малейшей опасности произвола войти в сферу действия общего закона. «Необходимо составить таблицу всех родов преступлений, которые можно наблюдать в различных странах. Сообра-

[51] Относительно неиндивидуализирующего характера казуистики см.: P. Carlou, *Les Idéalités casuistiques* (диссертация, машинопись).

зуясь с перечнем преступлений, надо произвести деление на виды. Наилучшим основанием для деления является, на мой взгляд, различие целей. Деление должно быть таким, чтобы каждый вид совершенно четко отличался от другого и чтобы каждое конкретное преступление, рассматриваемое во всех его отношениях, помещалось между тем, что должно предшествовать ему, и тем, что должно следовать за ним, в строжайшем порядке. Необходимо, наконец, сопоставить эту таблицу с другой, классифицирующей наказания, так чтобы обе точно соответствовали друг другу»[52]. В теории или, скорее, в мечтах двойная таксономия наказаний и преступлений должна разрешить проблему: но как применить сформулированные законы к конкретным индивидам?

Вдали от этой умозрительной модели в ту же эпоху создаются формы антропологической индивидуализации, пока в самом приблизительном виде. Рассмотрим сначала понятие рецидива. Нельзя сказать, что оно не было известно старому уголовному праву[53]. Но теперь оно становится характеристикой самого преступника, способной изменить вынесенный приговор: согласно законодательству 1791 г., рецидивисты почти во всех случаях подвергались удвоенному наказанию; закон от флореаля* года X предписывал клеймить их буквой «Р»; а уголовный кодекс 1810 г. налагал на них либо максимально возможное нормальное наказание, либо чуть более суровое. Учитывая рецидив, метят не в человека, который совершил уголовно наказуемое деяние, а в преступного субъекта как такового, в намерение воли, что проявило его внутренне преступный характер. Постепенно, по мере того как объ-

[52] P. L. de Lacretelle, *Réflexions sur la législation pénale*, в: *Discours sur les peines infamantes*, 1784, p. 351–352.

[53] Вопреки мнениям Карно или Ф. Эльи и Шово, повторное преступление совершенно четко наказывалось в соответствии с рядом законов, действовавших при королевском режиме. Уложение 1549 г. провозглашает, что злоумышленник, совершающий повторное преступление, является «существом мерзким, гнусным, в высшей степени гибельным и опасным для общественного блага»; рецидивы богохульства, кражи, бродяжничества и т. п. карались особыми наказаниями.

ектом судебно-правового вмешательства становится не преступление, а преступность, противопоставление преступника, совершившего преступление впервые, и рецидивиста приобретает большее значение. И исходя из этого противоположения, усиливая его в некоторых пунктах, тогда же формируется понятие преступления «по страсти» — невольного, непредумышленного преступления, связанного с исключительными обстоятельствами, которые, хотя и не извиняют его вполне (в отличие от безумия), все же не позволяют считать его обычным преступлением. Уже в 1791 г. Ле Пелетье заметил, что тонкая градация наказаний, представленная им Конституанте, способна отвратить от преступления «злоумышленника, хладнокровно планирующего злодеяние», ибо его может остановить мысль о наказании; с другой стороны, эта градация бессильна против преступлений, вызванных «неистовыми страстями, которые пренебрегают последствиями»; но это не имеет значения, поскольку такие преступления не обнаруживают в их авторах «укоренившейся злокозненности»[54].

За гуманизацией наказаний просматриваются все те правила, что предписывают или, скорее, требуют «мягкости» как рассчитанной экономии власти наказывать. Но они также вызывают смещение точки приложения упомянутой власти: отныне это уже не тело с ритуальной игрой чрезмерных страданий, торжественных клеймений в ритуале публичной казни; это сознание или, скорее, игра представлений и знаков, циркулирующих молчаливо, но необходимым и очевидным образом в сознании всех и каждого. Более не тело, а душа, сказал Мабли. И совер-

[54] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 321–322. Год спустя Бельар выступил с речью, которую можно считать первой речью в защиту преступника, совершившего убийство из ревности; это произошло в связи с процессом Гра. См.: *Annales du barreau moderne*, 1823, t. III, p. 34.

шенно ясно, что он имел в виду: коррелят техники власти. Старые карательные «анатомии» отброшены. Но действительно ли мы вступили в эру нетелесных наказаний?

* * *

Итак, в исходной точке можно поместить политический проект «квадрильяжа» противозаконностей, скрупулезного разнесения их по клеточкам, проект, обобщающий функцию наказания и распределяющий с целью контроля власть наказывать. Отсюда вырисовываются две линии объективации преступления и преступника. С одной стороны, преступник, рассматриваемый как общий враг, преследование которого отвечает общим интересам, выпадает из договора, дисквалифицирует себя как гражданина и возникает как дикая часть природы, как бы неся ее в себе; он предстает негодяем, чудовищем, сумасшедшим, возможно – больным и, вскоре, «ненормальным». Именно в этом качестве он подвергнется однажды научной объективации и соответствующему «лечению». С другой стороны, необходимость измерять изнутри воздействие карающей власти предписывает тактику воздействия на всех преступников, будь то действительных или возможных: тактику, предполагающую организацию поля предотвращения преступлений, расчет интересов, циркуляцию представлений и знаков, создание горизонта достоверности и истины, сообразовывание наказаний со все более тонкими переменными; все это также ведет к объективации преступников и преступлений. В обоих случаях очевидно, что отношение власти, лежащее в основе отправления на-

казания, начинает дублироваться объектным отношением, которое вовлекает в себя не только преступление как факт, устанавливаемый в соответствии с общими нормами, но и преступника как индивида, познаваемого в соответствии с особыми критериями. Ясно также, что это объектное отношение не накладывается извне на практику наказания — в отличие от запрета, налагаемого на чрезмерную жестокость публичной казни пределами чувствительности, или от рационального («научного») исследования наказываемого индивида. Процессы объективации зарождаются в самих тактиках власти и в организации ее отправления.

Однако эти два типа объективации, возникающие вместе с проектом уголовно-правовой реформы, весьма отличаются друг от друга как своим развитием во времени, так и последствиями. Объективация преступника как человека вне закона, как естественного человека, — пока лишь возможность, линия горизонта, где сливаются темы политической критики и фигуры воображения. Придется долго ждать того момента, когда *homo criminalis* станет объектом в поле познания. Напротив, объективация другого типа дала много более ранние и определенные результаты (такие, как кодификация, квалификация преступлений, установление шкалы наказаний, процедурные правила, определение роли судей), потому что она была тесно связана с реорганизацией власти наказывать. А также потому, что она опиралась на дискурс, уже созданный идеологами*. В сущности, этот дискурс давал (через теорию интересов, представлений и знаков, через восстанавливаемые им последовательности и генезисы)

своего рода общий рецепт отправления власти над людьми: «сознание» как поверхность для надписывания знаков власти, использующей семиотику как инструмент; подчинение тел посредством контроля над мыслями; анализ представлений как принцип политики тела, гораздо более эффективной, нежели ритуальная анатомия пыток и казней. Учение идеологов было не только теорией индивида и общества; оно развилось как технология тонких, эффективных и экономичных отправлений власти в противовес чрезмерным расходам, сопряженным с властью суверена. Прислушаемся еще раз к тому, что сказал Серван: мысль о преступлении и мысль о наказании должны быть тесно связаны и «следовать друг за другом без перерыва... Сформировав в сознании граждан цепочку мыслей, вы сможете гордиться тем, что исполняете роль их вождей и хозяев. Глупый деспот приковывает рабов железными цепями; истинный политик связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей; первое ее звено он закрепляет в надежной точке — в разуме. Связь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держится, и считаем ее делом собственных рук. Отчаяние и время разъедают скрепы из железа и стали, но бессильны против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его. На мягких волокнах мозга возводится прочный фундамент мощнейших империй»[55].

Семиотическая техника наказаний, «идеологическая власть», останется — по крайней мере отчасти — в подвешенном состоянии и сменится новой политической анатомией, где тело (но в новой форме) опять станет главным героем. И эта новая политическая анатомия обеспечит пе-

[55] J. M. Servan, *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, 1767, p. 35

ресечение двух расходящихся линий объективации, которые наметились в XVIII веке: той, что отвергает преступника «с другой стороны» – со стороны природы против природы, и той, что хочет контролировать преступность путем рассчитанной экономии наказаний. Взгляд на новое искусство наказания сразу обнаруживает, что семиотическая техника наказания вытесняется новой политикой тела.

Глава 2

Мягкость наказаний

Искусство наказывать должно основываться, стало быть, на целой технологии представления. Такое предприятие может быть успешным только в том случае, если составляет часть некой естественной механики. «Подобно силе притяжения, тайная сила вечно влечет нас к нашему благополучию. На этот импульс воздействуют лишь препятствия, воздвигаемые законами. Все поступки человека вытекают из этой внутренней склонности». Подобрать надлежащее наказание для преступления – значит найти невыгоду, мысль о которой лишает мысль о преступлении всякой привлекательности. Искусство сталкивающихся энергий, искусство ассоциативно связанных образов, создание устойчивых связей, не боящихся времени: надо образовывать пары представлений с противоположными значениями, устанавливать количественные различия между действующими силами, вводить игру знаков-пре-

пятствий, которые могут подчинить движение сил отношению власти. «Пусть мысль о жестокой публичной казни вечно живет в сердце слабого человека и преобладает над чувством, толкающим его на преступление»[1]. Знаки-препятствия должны образовывать новый арсенал наказаний, подобно тому как раньше карательные знаки организовывали вокруг себя публичные казни. Но для того чтобы действовать, они должны удовлетворять нескольким условиям.

1. Они должны быть как можно менее произвольными. Правда, само общество определяет, исходя из собственных интересов, что́ должно расцениваться как преступление: преступление не есть нечто «природное». Но, чтобы наказание представлялось уму при первой же мысли о преступлении, нужна как можно более непосредственная связь между наказанием и преступлением: связь по сходству, аналогии, смежности. Надо, «насколько возможно, привести наказание в соответствие с природой преступления, чтобы страх перед наказанием уводил сознание с пути, на который его толкает перспектива извлечь выгоду из преступления»[2]. Идеальное наказание должно отражать преступление, за которое оно карает; таким образом, для всякого размышляющего о наказании оно неминуемо будет знаком данного преступления; а перед тем, кто грезит о преступлении, тотчас предстанет знак наказания. Утвердится устойчивая связь, расчет соотношения между преступлением и наказанием и количественная оценка интересов; кроме того, наказание, принимая форму естественного следствия, не будет казаться проявлением произвола человеческой власти: «Выводить

[1] Beccaria, *Des délits et des peines*, éd. de 1856, p. 119.
[2] *Ibid.*

преступление из наказания – лучший способ соразмерить наказание с преступлением. В этом торжество правосудия, но и торжество свободы, поскольку наказания проистекают уже не из воли законодателя, а из природы вещей; здесь нет уже насилия человека над человеком»[3]. В наказании, которое аналогично преступлению, карающая власть действует незаметно.

Реформаторы предложили целую коллекцию наказаний, институционально естественных и по форме напоминающих состав преступления. Возьмем, например, Вермея: тех, кто посягает на свободу общества, надо лишать личной свободы; злоупотребляющие преимуществами, предоставляемыми законом, и привилегиями, обеспечиваемыми государственной службой, должны быть лишены гражданских прав; взяточничество и ростовщичество должны караться штрафом, кража – конфискацией имущества, «тщеславие» – позором; убийство наказывается смертью, поджог – сожжением. Отравителю «палач поднесет кубок и выплеснет содержимое в лицо, дабы заставить его осознать чудовищность совершенного злодеяния, воскресив перед ним картину преступления; засим палач бросит его в котел с кипящей водой»[4]. Просто мечтания? Возможно. Но принцип символической связи четко сформулировал уже Ле Пелетье, когда в 1791 г. представил Конституанте новое уголовное законодательство: «Необходимо четкое соотношение между природой преступления и природой наказания»; преступник, прибегший к насилию, должен подвергнуться физическим страданиям, лодырь – изнурительному труду, подлый – бесчестью[5].

[3] J.-P. Marat, *Plan de législation criminelle*, 1780, p. 33.

[4] F. M. Vermeil, *Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle*, 1781, p. 68–145. См. также: Ch. E. Dufriche de Valazé, *Des lois pénales*, 1784, p. 349.

[5] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 321–322.

Несмотря на жестокости, весьма напоминающие пытки и казни королевского режима, в наказаниях, как бы повторяющих преступления, действует совсем другой механизм. Зверство не противопоставляется зверству в поединке власти; это уже не симметрия мщения, а прозрачность знака относительно того, что он означает; на театре наказаний требуется установить отношение, которое непосредственно понятно чувствам и может служить основанием для простого расчета: своего рода разумная эстетика наказания. «Не только в изящных искусствах надлежит точно следовать природе. Политические институты, по крайней мере те, коим свойственны мудрость и долговечность, основываются на природе»[6]. Наказание должно вытекать из преступления, закон — восприниматься как необходимый порядок вещей, а власть — действовать, прикрываясь мягкой силой природы.

2. Этот набор знаков должен накладываться на механику сил: уменьшать желание, делающее преступление привлекательным; усиливать интерес, заставляющий бояться наказания; изменять соотношение интенсивностей, так чтобы представление о наказании и связанных с ним невыгодах было более живым, чем представление о преступлении и связанных с ним удовольствиях. Словом, здесь целая механика интереса, его движения, способа, каким человек его себе представляет, и живости этого представления. «Законодатель должен быть искусным зодчим, который умеет использовать все силы, способствующие прочности здания, и ослаблять все силы, что могут его разрушить»[7].

[6] Beccaria, *Des délits et des peines*, 1856, p. 114.
[7] *Ibid.*, p. 135.

Ряд средств. «Идти прямо к истокам зла»[8]. Сломать побудительный мотив, что питает представление о преступлении. Ослабить вызвавший его интерес. За преступлениями, порождаемыми бродяжничеством, стоит лень – с ней и надо бороться. «Нельзя добиться успеха, сажая нищих в смрадные тюрьмы, больше похожие на клоаки»; надо принуждать их к труду. «Лучший способ наказать их – заставить работать»[9]. Против дурного пристрастия – хорошая привычка, против одной силы – другая сила, но сила чувствительности и страсти, а не вооруженной власти. «Не следует ли выводить все наказания из этого принципа, который столь прост, столь уместен и уже хорошо известен, – выбирать их из того, что наилучшим образом подавляет намерение, приведшее к совершённому преступлению?»[10]

Повернуть силу, побудившую преступника к преступлению, против нее самой. Разделить интерес, использовать его, с тем чтобы наказание стало внушать страх. Пусть наказание раздражает и стимулирует больше, чем преступление прельщает. Если к преступлению привело самолюбие – надо ранить самолюбие, превратить его в наказание. Бесчестящие наказания эффективны, потому что направлены против самого корня преступления – тщеславия. Фанатики кичатся и своими убеждениями, и пытками, которые претерпевают. Поэтому надо направить против фанатизма питающее его надменное упрямство: «Уничтожить его осмеянием и позором; если наказание состоит в унижении высокомерного тщеславия фанатиков перед большой толпой, можно ожидать прекрасных результатов». Было бы совершенно бесполезно, с другой

[8] Mably, *De la législation. Œuvres complètes*, t. IX, p. 246.

[9] J.-P. Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781, t. I, p. 258.

[10] P. L. de Lacretelle, *Réflexions sur la législation pénale*, в: *Discours sur les peines infamantes*, 1784, p. 361.

стороны, подвергать их физическим страданиям[11].

Оживить полезный и добродетельный интерес, столь ослабленный преступлением. Чувство уважения к собственности — к богатству, но также уважение к чести, свободе и жизни: вот что теряет преступник, когда крадет, клевещет, похищает или убивает. Значит, надо снова научить его этому чувству. И его начинают учить ради его же блага; ему показывают, что значит потерять свободу распоряжаться своим имуществом, честью, временем и телом, чтобы он уважал ее у других[12]. Наказание, формирующее устойчивые и легко читаемые знаки, должно также пересоставить экономию интересов и динамику страстей.

3. Отсюда полезность модуляции наказания во времени. Наказание преобразует, изменяет, устанавливает знаки, ставит преграды. Полезно ли наказание, остающееся неизменным и постоянным? Наказание, не имеющее конца, было бы противоречивым: все ограничения, которые предписываются осужденному и из которых он, став добродетельным, не сможет извлечь пользу, будут лишь пыткой; и усилия, направленные на его перевоспитание, обернутся для общества напрасным беспокойством и пустыми тратами. Если есть неисправимые, надо иметь решимость их уничтожить. Но по отношению к остальным наказание действенно только в том случае, если имеет конец. С таким анализом согласились участники Конституанты: кодекс 1791 г. предусматривает смертную казнь для предателей и убийц; все другие наказания должны ограничиваться определенным сроком (и продолжаться не более двадцати лет).

[11] Beccaria, *Des délits et des peines*, p. 113.
[12] G. E. Pastoret, *Des lois pénales*, 1790, t. I, p. 49.

Что главное, роль длительности должна быть неотделима от экономии наказания. В самой своей жестокости публичные казни имели тенденцию к следующему результату: чем серьезнее преступление, тем короче наказание. Длительность играла определенную роль и в прежней системе наказания: дни у позорного столба, годы изгнания, часы умирания на колесе. Но то было время испытания, а не продуманного преобразования. Теперь длительность должна способствовать надлежащему воздействию наказания: «Продолжительная последовательность болезненных лишений, избавляющая человечество от ужаса пытки, воздействует на виновного гораздо сильнее, чем преходящее мгновение боли... Она постоянно напоминает людям, на чьих глазах длится, о законах мщения и оживляет в каждом мгновения целительного страха»[13]. Время, оператор наказания.

Но хрупкая механика страстей не должна сдерживаться прежним образом и с той же настойчивостью, когда страсти начинают преобразовываться. Наказание должно смягчаться по мере достижения результатов. Наказание вполне может быть фиксированным, т. е. определенным в соответствии с законом и равным для всех, но его внутренний механизм должен быть изменяемым. В законопроекте для Конституанты Ле Пелетье предложил систему убывающих наказаний: приговоренный к самому тяжелому наказанию должен находиться в карцере (с цепями на руках и ногах, в темноте и одиночестве, на хлебе и воде) только на первой стадии заключения; ему должно быть позволено работать сначала два, а потом три дня в неделю. По отбывании двух третей предписанного срока можно

[13] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI. Авторы, отвергающие смертную казнь, предусматривают определенные наказания, в частности пожизненное тюремное заключение, для «неисправимо порочных» (J.-P. Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781, p. 29–30; Ch. E. Dufriche de Valazé, *Des lois pénales*, 1784, p. 344).

перевести его на режим «стесненности» (освещенная клеть, цепь на поясе, работа в течение пяти дней в полном одиночестве, остальные два дня — вместе с другими заключенными; работа должна оплачиваться, чтобы он мог улучшить свой ежедневный рацион). Приближаясь к концу срока, заключенный может перейти на тюремный режим: «Он каждый день встречается с другими заключенными для совместной работы, а если хочет — то работает в одиночестве. Рацион зависит от труда»[14].

4. Для осужденного наказание есть механика знаков, интересов и длительности. Но виновный — лишь одна из мишеней наказания. Ведь наказание направлено главным образом на других, на всех потенциально виновных. Знаки-препятствия, постепенно запечатлеваемые в представлении об осужденном, должны циркулировать быстро и широко; они должны усваиваться и перераспределяться всеми; они должны формировать дискурс, в котором каждый сообщается со всем миром и запрещает преступление, они — настоящая монета, заменяющая в умах людей ложные выгоды от преступления.

Каждый должен расценивать наказание не только как естественное, но и как соответствующее своим интересам; видеть в нем свою выгоду. Довольно зрелищных, но бесполезных наказаний. Довольно тайных наказаний. Наказание должно рассматриваться как вознаграждение, которое виновный выплачивает каждому из сограждан за преступление, нанесшее ущерб всем им. Наказания должны «без конца воспроизводиться перед глазами граждан» и «выявлять общественную полезность общих и индивидуальных действий»[15]. В идеале осужденный предстает свое-

[14] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 329–330.
[15] Ch. E. Dufriche de Valazé, *Des lois pénales*, 1784, p. 346.

го рода рентабельной собственностью: рабом на службе у всех. Зачем обществу уничтожать жизнь и тело, которые оно может присвоить? Полезнее заставить его «служить государству, отбывая рабство, более или менее длительное в зависимости от характера преступления». Во Франции множество непроезжих дорог, препятствующих торговле; воры, которые тоже мешают свободной циркуляции товаров, могут заняться постройкой больших дорог. Куда красноречивее смерти «пример человека, который всегда перед глазами, лишен свободы и вынужден употребить остаток дней своих на возмещение вреда, нанесенного им обществу»[16].

При старом режиме тело осужденного становилось собственностью короля, монарх ставил на нем свое клеймо и обрушивал на него всю мощь своей власти. Теперь осужденный должен быть скорее общественной собственностью, предметом коллективного и полезного присвоения. Вот почему реформаторы почти всегда предлагали общественные работы как одно из лучших наказаний. Их поддержали в этом наказы третьего сословия «Пусть приговоренные к наказанию (за исключением смертного) осуждаются на общественные работы ради блага страны и на срок, пропорциональный совершенному преступлению»[17]. Общественные работы означали две вещи: коллективную заинтересованность в наказании осужденного и зримый, контролируемый характер наказания. Таким образом, виновный платит дважды выполняемой работой и производимыми знаками. В сердце общества, на площадях или больших дорогах осужденный образует средоточие выгоды и значения

[16] A. Boucher d'Argis, *Observations sur les lois criminelles*, 1781, p. 139.

[17] См.: L. Masson, *La Révolution pénale en 1791*, p. 139. Однако против работы как средства наказания возражали, что она предполагает насилие (Ле Пелетье) или профанацию священного характера труда (Дюпорт*). Рабо Сент-Этьен** ввел выражение «принудительный труд» в противоположность «свободному труду», подобающему исключительно свободным людям (*Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 710 f.).

очевидно, что он служит каждому, но вместе с тем внедряет в сознание всех граждан знак преступления—наказания: вторая, чисто моральная, но гораздо более реальная полезность.

5. Отсюда — вся искусная экономия публичности. В пытке и казни основой примера является устрашение: физический ужас, коллективный страх, образы, отпечатывающиеся в памяти зрителей, словно клеймо на щеке или плече осужденного. Теперь основание примера — урок, дискурс, расшифровываемый знак, явление и картина общественной нравственности. Отныне церемония наказания будет подкрепляться не устрашающим воспроизведением власти монарха, а восстановлением уголовного кодекса, коллективным упрочением связи между мыслью о преступлении и мыслью о наказании. В наказании уже не надо усматривать присутствие монарха, в нем следует видеть сами законы. Законы связывают конкретное преступление с конкретным наказанием. За совершением преступления немедленно следует наказание, вводя в действие дискурс закона и показывая, что кодекс связывает не только мысли, но и реальности. Связь, непосредственная в тексте, должна быть непосредственной и в действиях. «Вспомните первые моменты, когда весть об ужасном деянии облетает наши города и села: рядом с гражданами словно ударила молния; все охвачены негодованием и ужасом... Это самый подходящий момент для наказания: не дайте преступлению остаться безнаказанным, поторопитесь уличить и осудить преступника. Возводите плахи, разжигайте костры, волочите виновного по площадям, созывайте людей громкими криками. Тогда они станут руко-

плескать вашим приговорам, как провозглашению мира и свободы. Вы увидите, что они сбегутся на ужасные зрелища, ожидая присутствовать при торжестве законов»[18]. Публичное наказание есть церемония мгновенного раскодирования.

Закон перестраивается, он возвращается на свое место со стороны преступления, которое его нарушило. Злоумышленник, напротив, отделяется от общества. Он уходит. Но не в тех двусмысленных празднествах королевского строя, где народ неизбежно участвовал как преступник или зритель, а в скорбной церемонии. Общество, вновь обретшее свои законы, теряет гражданина, который их нарушил. Публичное наказание должно обнаруживать двойную беду: нарушение законов и необходимость расстаться с одним из граждан. «Свяжите с публичной казнью самую грустную и самую трогательную церемонию; пусть сей ужасный день будет днем траура для всего отечества; пусть общая скорбь отпечатается повсюду аршинными буквами... Пусть судья с траурным крепом, облаченный в черное, объявит народу о посягательстве и печальной необходимости законной мести. Пусть сцены этой трагедии всколыхнут все чувства, все нежные и достойные привязанности»[19].

Смысл траура должен быть ясен всем. Каждый элемент ритуала должен говорить, рассказывать о преступлении, напоминать о законе, показывать необходимость наказания и обосновывать его меру. Плакаты, объявления, знаки, символы должны распространяться в больших количествах, чтобы каждый мог уяснить их значение. Публичность наказания не должна иметь своим физичес-

[18] J. M. Servan, *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, 1767, p. 35–36.
[19] Dufau, «Discours à la Constituante», *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 688.

ким последствием устрашение; она призвана открыть книгу для чтения. Ле Пелетье полагал, что раз в месяц люди должны иметь возможность посетить осужденных «в их жалком застенке: тогда они смогут прочесть начертанные большими буквами над дверью имя виновного, описание его преступления и приговор»[20]. И несколько лет спустя Бексон* нарисует настоящий герб карающего правосудия в наивном военном стиле имперских церемоний: «Осужденного на смерть доставят на плаху в телеге, "затянутой черно-красной материей или выкрашенной в эти цвета". Предатель будет облачен в красную рубаху с начертанным спереди и сзади словом "предатель". На голову отцеубийцы накинут черное покрывало, на рубахе вышьют кинжал или орудие убийства. Красная рубаха отравителя будет расписана змеями и другими ядовитыми тварями»[21].

Этот доходчивый урок, это ритуальное раскодирование надо повторять как можно чаще. Пусть наказания будут скорее школой, чем празднеством, скорее вечно открытой книгой, нежели церемонией. Длительность, делающая наказание эффективным для виновного, полезна и для зрителей. Они должны иметь возможность в любой момент заглянуть в постоянно доступный словарь преступления и наказания. Тайное наказание – наполовину тщетное наказание. Надо позволить детям приходить в места, где отбывают наказание, и постигать там азы гражданственности. А взрослые люди должны периодически вновь изучать законы. Давайте представим места отбывания наказаний как некий Сад законов, куда по воскресеньям приходят семьи. «Я хотел бы, чтобы время от време-

[20] Le Peletier de Saint-Fargeau, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 329–330.

[21] S. Bexon, *Code de sûreté publique*, 1807, 2e partie, p. 24–25. Речь идет о проекте, представленном королю Баварии.

ни, предварительно подготовив умы разумной речью о сохранении общественного порядка, о полезности наказания, юношей да и взрослых водили на рудники, на каторжные работы, где они видели бы ужасную судьбу каторжников. Такие паломничества были бы полезнее тех, что турки совершают в Мекку»[22]. Ле Пелетье считал наглядность наказаний одним из основных принципов нового уголовного кодекса: «Часто, в специально отведенное время присутствие людей должно навлекать позор на головы виновных; а присутствие виновного в том жалком положении, в которое он ввергнут совершенным преступлением, – служить полезным назиданием для человеческих душ»[23]. Задолго до того как преступника стали рассматривать как предмет науки, в нем видели фактор воспитания. Некогда предпринимались благотворительные посещения заключенных с целью разделить их страдания (практика, введенная или перенятая XVII столетием); теперь полагают, что дети, побывав у заключенных, поймут полезность закона применительно к преступлению: получат живой урок в музее порядка.

6. Это позволит изменить направленность традиционного дискурса преступления. Важная забота составителей законов XVIII столетия: как приглушить сомнительную славу преступников? Как положить конец эпопее великих преступников, прославляемых в альманахах, листках, народных легендах? Если раскодирование наказания осуществлено успешно, если траурная церемония проходит должным образом, то преступление начинает восприниматься как несчастье, а злоумышленник – как враг, которого вновь приучают к жизни в обществе. Вместо тех по-

[22] J.-P. Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781.
[23] *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 322.

хвал, что превращают преступника в героя, в дискурсе людей будут обращаться лишь знаки-препятствия, убивающие желание совершить преступление рассчитанным страхом перед наказанием. Эта положительная механика полностью развернется в повседневной речи, которая будет непрерывно укреплять ее новыми рассказами. Дискурс станет проводником закона, постоянным принципом всеобщего раскодирования. Народные поэты наконец примкнут к тем, кто называет себя «миссионерами вечного разума»; они станут моралистами. «Исполненный ужасных образов и спасительных идей, каждый гражданин начнет распространять их в своей семье, и собравшиеся вокруг дети будут ловить его долгие повествования с жадностью, сравнимой лишь с пылом рассказчика, и благодаря им откроют свою юную память детальнейшему восприятию понятий о преступлении и наказании, о любви к законам и родине, об уважении и доверии к судебному ведомству. Селяне тоже познакомятся с этими примерами, посеют их вокруг своих хижин; вкус к добродетели пустит корни в их грубых душах, а злоумышленник, встревоженный общественным ликованием и напуганный огромным числом врагов, возможно, откажется от своих замыслов, исход которых столь же скор, сколь гибелен»[24].

Вот как, стало быть, можно представить себе город наказаний. На перекрестках, в садах, на обочинах ремонтируемых дорог и на возводимых мостах, в открытых для всех мастерских, в глубинах рудников, куда можно спуститься, – тысячи маленьких театров наказания. На каждое преступление – свой закон, на каждого преступни-

[24] J. M. Servan, *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, 1767, p. 37

ка — свое наказание. Наказание наглядное, наказание, которое все рассказывает, объясняет, обосновывает себя, убеждает: плакаты, колпаки с надписями, афиши, объявления, символы, тексты — печатные или читаемые вслух — неустанно повторяют кодекс. Декорации, перспективы, оптические эффекты, изображения, создающие иллюзию реальности, иногда преувеличивают сцену, делая ее более страшной, чем она есть, но и более ясной. Оттуда, где располагается публика, можно поверить в некоторые жестокости, в действительности не существующие. Но главное в этих реальных или раздутых строгостях то, что, согласно строгой экономии, все они должны служить уроком: что каждое наказание должно быть апологом. И что одновременно со всеми прямыми образцами добродетели можно в любой момент увидеть, как живую сцену, несчастья порока. Вокруг каждого из моральных «представлений» будут толпиться школяры и учителя, и взрослые узнают, какие уроки преподают их детям. Уже не торжественный наводящий ужас ритуал публичных казней, а развертывающийся изо дня в день и на каждой улице серьезный театр с многочисленными и убедительными сценами. И народная память воспроизведет в молве суровый дискурс закона. Но может быть, над этими бесчисленными зрелищами и повествованиями следовало бы поместить главный знак наказания за самое ужасное преступление: краеугольный камень судебного здания. Во всяком случае, Вермей представил сцену абсолютного наказания, которая должна доминировать над театрами повседневного наказания: единственный случай, когда необходимо стремиться к бесконечности нака-

зания, эквивалент — в новой уголовно-правовой системе — тому, чем было цареубийство в прежней. Виновному выколют глаза; совершенно нагим посадят в железную клетку, подвесят в воздухе над центральной площадью; его прикрепят к прутьям клетки железным ремнем, опоясывающим талию; до конца дней своих он будет питаться хлебом и водой. «Он испытает все тяготы, приносимые сменой времен года, голову его покроет снег и опалит обжигающее солнце. Именно в этой жестокой пытке, продолжении скорее мучительной смерти, чем тягостной жизни, можно будет действительно узнать злодея, отданного во власть суровой природе, обреченного никогда не видеть оскорбленных им небес и никогда не жить на оскверненной им земле»[25]. Над карательным городом — железный паук, и преступник, распятый таким образом новым законом, — отцеубийца.

* * *

Целый арсенал живописных наказаний. «Избегайте налагать одинаковые наказания», — предостерегал Мабли. Изгнана идея уравнительного наказания, модулируемого только в зависимости от тяжести проступка. Вернее, использование тюрьмы как общая форма наказания никогда не присутствует в этих проектах специфических, зримых и «говорящих» наказаний. Заключение предусматривается, но как одно из наказаний; как особое наказание за определенные правонарушения, которые ущемляют свободу индивида (похищение) или вытекают из злоупотребления свободой (беспорядки, насилие). Оно преду-

[25] F. M. Vermeil, *Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle*, 1781, p. 148–149.

сматривается также как условие, позволяющее применить другие наказания (например, каторжные работы). Но оно не покрывает всего поля наказания, поскольку его единственный принцип вариативности – длительность наказания. Точнее говоря, идею заключения как меры наказания открыто критикуют многие реформаторы. Потому что заключение не может учитывать специфику преступлений. Потому что оно не воздействует на публику. Потому что оно бесполезно, даже вредно для общества: дорогостоящее, укрепляет осужденных в праздности, умножает их пороки[26]. Потому что осуществление такого наказания трудно контролировать, и существует опасность бросить заключенных на произвол тюремщиков. Потому что работа, сводящаяся к лишению человека свободы и надзору за ним, – упражнение в тирании. «Вы настаиваете, что среди вас есть чудовища; и если такие мерзавцы существуют, то законодатель должен, пожалуй, рассматривать их как убийц»[27]. Тюрьма в целом несовместима со всей этой технологией наказания–следствия, наказания–представления, наказания – общей функции, наказания – знака и дискурса. Тюрьма – мрак, насилие и подозрение. «Мрачное место, где взгляд гражданина не может сосчитать жертв, а потому число их не может служить примером... Между тем если бы удалось без умножения преступлений добиться большей доходчивости наказаний, то в конце концов удалось бы сделать их менее необходимыми; притом мрак тюрем рождает недоверие у граждан; они с легкостью заключают, что в тюрьмах вершатся большие несправедливости... Что-то явно не так, раз закон, имеющий в виду благо масс, постоянно вызы-

[26] См.: *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 712.
[27] G. de Mably, *De la législation*, *Œuvres complètes*, 1789, t. IX, p. 338.

вает ропот, а не благодарность»[28].

К идее о том, что тюремное заключение могло бы, как это происходит сегодня, покрывать срединное пространство между смертной казнью и легкими наказаниями, реформаторы не могли прийти сразу.

Проблема в следующем: в течение очень краткого времени тюремное заключение стало основной формой наказания. В уголовном кодексе 1810 г. различные формы тюремного заключения занимают почти все поле возможных наказаний между смертной казнью и штрафами. «Что такое система наказания, принятая новым законом? Это тюремное заключение во всех его формах. Действительно, сравните четыре основных наказания, сохраненные в этом уголовном кодексе. Принудительные работы – форма заключения. Каторга – тюрьма на открытом воздухе. Содержание в местах лишения свободы, одиночное заключение, исправительное заключение – в некотором смысле просто различные названия для одного и того же наказания»[29]. Империя сразу решила воплотить в жизнь законосообразное заключение, выстроив для этого целую карательную, административную и географическую иерархическую лестницу: на самой нижней ступени, при каждом мировом судье, – камеры предварительного заключения муниципальной полиции; в каждом округе – тюрьмы; в каждом департаменте – исправительные дома; на самом верху – несколько центральных тюрем для осужденных преступников или тех, кто осужден уголовным судом на срок свыше года; наконец, в некоторых портах – каторжные тюрьмы. Было запланировано огромное тюремное здание, различные ярусы которого должны были в

[28] Ch. E. Dufriche de Valazé, *Des lois pénales*, 1784, p. 344–345.
[29] C.F. M. de Rémusat", *Archives parlementaires*, t. LXXII, 1er décembre 1831, p. 185.

точности соответствовать уровням административной централизации. Эшафот, где тело казнимого преступника предоставлялось ритуально проявляемой силе монарха, и карательный театр, где представление наказания было постоянно доступно общественному телу, были заменены огромным, замкнутым, сложным и иерархизированным сооружением, встроенным в самое тело государственного аппарата. Совершенно другая «материальность», совершенно другая физика власти, совершенно другая манера захватывать тела людей. Во времена Реставрации и Июльской монархии, за исключением некоторых моментов, во французских тюрьмах содержится от 40 до 43 тысяч заключенных (примерно один заключенный на 600 жителей). Высокая стена – уже не та, что окружает и защищает, не та, что символизирует власть и богатство, но предельно замкнутая на себе самой, не проходимая ни в каком направлении, скрывающая отныне таинственную работу наказания – станет почти подручным, находящимся порой в самом центре городов XIX столетия монотонным образом (сразу материальным и символическим) власти наказывать. Уже во время Консулата министра внутренних дел обязали разобраться с тем, какие «надежные места» действуют и какие могут быть использованы как тюрьмы в разных городах. Несколько лет спустя были отпущены средства на постройку новых крепостей гражданского порядка – соответствующих величию власти, которую они должны были выражать и обслуживать. Первая империя использовала их для другой войны[30]. Менее расточительная, но более упорная экономия позволила завершить их строительство на протяжении XIX века.

[30] См.: E. Decazes*, Rapport au roi sur les prisons, *Le Moniteur***, 11 avril 1819

Во всяком случае, менее чем через двадцать лет столь четко сформулированный Конституантой принцип особых, тщательно подобранных и эффективных наказаний, долженствующих служить уроком для всех, стал законом о тюремном заключении за правонарушения любой степени тяжести, кроме тех, что требовали смертной казни. Театр наказаний, о котором мечтали в XVIII веке и который должен был воздействовать главным образом на умы потенциальных подсудимых, заменили единообразным тюремным аппаратом, раскинувшим сеть массивных тюремных зданий по всей Франции и Европе. Но двадцать лет, пожалуй, слишком большой срок для столь ловкого маневра. Можно сказать, что он осуществился почти мгновенно. Достаточно взглянуть на проект уголовного кодекса, представленный Ле Пелетье. Принцип, сформулированный в начале, устанавливает необходимость «точных соотношений между природой правонарушения и природой наказания»: боль для тех, кто совершил жестокие преступления, труд для лодырей, позор для падших душ. Но на самом деле предлагаемые суровые наказания сводятся к трем формам заключения: карцер, т. е. заключение, отягчаемое различными мерами (одиночеством, темнотой, ограничениями в пище); «стесненность», где дополнительные меры смягчены; наконец, собственно тюрьма, в сущности – простое заключение. Столь торжественно провозглашенное разнообразие сводится в итоге к единообразному и серому наказанию. И действительно, одно время некоторые депутаты удивлялись тому, что вместо установления естественного соотношения между преступлениями и наказаниями был принят совсем другой план: «Что

же, если я предал родину, меня сажают в тюрьму; если я убил отца, меня сажают туда же; все преступления, какие только можно вообразить, наказываются одним и тем же единообразным способом. Так и видится лекарь, предлагающий одно лекарство от всех болезней»[31].

Эта быстрая замена не была привилегией Франции. Она произошла и в других странах. Когда вскоре после публикации трактата «О преступлениях и наказаниях» Екатерина II приказала составить «новое Уложение», урок Беккариа о специфичности и разнообразии наказаний не был забыт; он был повторен почти дословно: «Гражданская вольность тогда торжествует, когда законы на преступников выводят всякое наказание из особливого каждому преступлению свойства. Все произвольное в наложении наказания исчезает. Наказание не должно происходить от прихоти законоположника, но от самой вещи; и не человек должен делать насилие человеку, но собственное человека действие»[32]. Несколько лет спустя общие принципы Беккариа легли в основу нового тосканского кодекса и кодекса, данного Австрии Иосифом II. И все же оба этих законодательства сделали тюремное заключение – модулируемое в его длительности и подкрепляемое в некоторых случаях клеймением и кандалами – практически единственным наказанием: минимум тридцать лет тюрьмы за покушение на монарха, за изготовление фальшивых денег и убийство, отягощенное грабежом; от пятнадцати до тридцати лет за преднамеренное убийство и вооруженный грабеж; от одного месяца до пяти лет за простую кражу и т. д.[33]

Но подчинение судебно-правовой системы тюрьме

[31] Ch. Chabroud, *Archives parlementaires*, t. XXVI, p. 618.

[32] 1769, § 67, см.: Наказ Ея Императорского Величества Екатерины Вторыя, Самодержицы Всероссийския, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения с принадлежащими к тому приложениями. М., 1809, с. 129.

[33] Часть этого кодекса была приведена во введении к книге Колькхауна во франц. переводе: P. Colquhoun, *Traité sur la police de Londres*, 1807, t. I, p. 84.

вызывает удивление, поскольку тюрьма не была (хотя сама собой возникает мысль об обратном) наказанием, которое уже прочно закрепилось в системе наказаний непосредственно за смертью и естественно заняло место, освободившееся после прекращения публичных казней. В сущности, тюрьма – и в этом отношении многие страны находились в той же ситуации, что и Франция, – занимала в системе наказаний лишь ограниченное и маргинальное положение. Это доказывают тексты. В уложении 1670 г. тюремное заключение не указывается среди наказаний по приговору суда. Несомненно, пожизненное или временное тюремное заключение применялось наряду с прочими наказаниями в соответствии с некоторыми местными обычаями[34]. Но утверждали, что оно вышло из употребления, как и другие пытки: «Раньше были наказания, которые уже не практикуются во Франции, например запечатление вины на лице или лбу осужденного и пожизненное тюремное заключение; точно так же преступника уже не приговаривают к растерзанию хищными зверями и не посылают на рудники»[35]. В действительности, однако, тюрьма упорно продолжает существовать как наказание за незначительные правонарушения, применяемое в согласии с местными обычаями и привычками. В этом смысле Сулатж говорил о «легких наказаниях», не упомянутых в уложении 1670 г.: порицании, выговоре, запрете на проживание в определенном месте, удовлетворении оскорбленному и временном заключении. В некоторых областях, особенно тех, что в значительной мере сохранили судебный партикуляризм, наказание в форме тюремного заключения было еще широко распространено, но сталки-

[34] См., например: Coquille, *Coutume du Nivernais*.
[35] G. du Rousseaud de la Combe, *Traité des matières criminelles*, 1741, p. 3

валось с некоторыми трудностями, как в недавно аннексированном Руссийоне*.

И все же, несмотря на разногласия, юристы твердо придерживались принципа, что «в нашем гражданском праве тюремное заключение не расценивается как наказание»[36]. Роль тюрьмы – удерживать человека и его тело как залог: ad continendos homines, non ad puniendos** – гласит пословица. С этой точки зрения заключение подозреваемого играет роль, сходную с заключением должника. Посредством тюремного заключения обеспечивают гарантии, а не наказывают[37]. Таков общий принцип. И хотя заключение подчас, и даже в важных случаях, служит наказанием, оно выступает главным образом как замена: заменяет каторгу для тех, кто не может там работать, для женщин, детей, инвалидов: «Приговор к тюремному заключению на какой-то срок или пожизненному равнозначен осуждению на каторжные работы»[38]. В этой равнозначности достаточно четко просматривается возможная смена. Но для того чтобы она произошла, тюрьма должна была изменить свой юридический статус.

Надлежало также преодолеть второе, значительное – по крайней мере для Франции – препятствие. Тюрьму делало негодной для этой роли особенно то, что на практике она была непосредственно связана с королевским произволом и с чрезмерностью монаршей власти. Работные дома, приюты тюремного типа, «королевские приказы» или предписания полицейских лейтенантов, указы короля о заточении без суда и следствия (выхлопотанные нотаблями или родственниками) составляли целую репрессивную практику, которая сосуществовала с «законным

[36] F. Serpillon, *Code criminel*, 1767, t. III, p. 1095. Однако у Серпийона находим мысль о том, что строгость заключения есть начало наказания.

[37] Этим объясняется наличие многочисленных правил для тюрем, касающихся лихоимства смотрителей, надежности помещений и невозможности общения между заключенными. Таково, например, постановление Дижонского парламента от 21 сентября 1706 г. См. также: F. Serpillon, *Code criminel*, 1767, t. III, p. 601–647.

[38] Именно это утверждается в декларации о ворах-рецидивистах (4 марта 1724 г.), а также в декларации о бродяжничестве (18 июля 1724 г.). Маленький мальчик не может

правосудием», а чаще противостояла ему. И это «внесудебное» заключение отвергали и классические юристы, и реформаторы. Тюрьма — создание государя, сказал традиционалист Серпийон, прикрываясь авторитетом судьи Буйе: «Хотя монархи по государственным соображениям склоняются иногда к применению такого наказания, обычное правосудие к нему не прибегает»[39]. Реформаторы очень часто характеризуют тюремное заключение как образ и излюбленное орудие деспотизма: «Что сказать о тех тайных тюрьмах, что порождены в воображении пагубным духом монархизма и предназначены главным образом для философов, в чьи руки природа вложила факел и кои осмелились осветить свою эпоху, либо для благородных и независимых душ, коим недостает трусости умолчать о бедствиях своей родины, — о тюрьмах, мрачные двери которых распахиваются таинственными указами и навеки проглатывают несчастных жертв? Что сказать о самих указах, шедеврах изощренной тирании, что уничтожают принадлежащую каждому гражданину привилегию быть выслушанным до вынесения приговора? Они в тысячу раз опаснее для людей, чем изобретение Фалариса*...»[40]

Несомненно, эти протесты, исходящие от людей со столь различными взглядами, направлены не против заключения как законного наказания, а против «незаконного» применения самочинного, неопределенного по сроку заключения. Тем не менее тюрьма всегда воспринималась, вообще говоря, как запятнанная злоупотреблениями властью. Многие наказы третьего сословия отвергают тюрьму как несовместимую с нормальным правосудием. Иногда

быть отправлен на каторгу и остается в тюрьме до тех пор, пока не «дорастет», подчас — весь срок, установленный приговором. См.: *Crime et criminalité en France sous l'Ancien Régime*, 1971, p. 266 ff.

[39] F. Serpillon, *Code criminel*, 1767, t. III, p. 1095.

[40] J.-P. Brissot, *Théorie des lois criminelles*, 1781, t. I, p. 173.

во имя классических юридических принципов: «Тюрьмы предназначались законом не для наказания, а для содержания под арестом...»[41] Иногда из-за последствий заключения, карающего тех, кто еще не осужден, передающего и распространяющего зло, которое оно должно предупреждать, наказывающего всю семью и тем самым противоречащего принципу «адресности» наказаний; говорят, что «тюрьма не есть наказание. Человеколюбие восстает против ужасной мысли, что лишить гражданина самого драгоценного, опозорить его, погрузив в преступную среду, оторвать его от всего, что ему дорого, а то и раздавить, лишить всех средств к существованию не только его самого, но и его семью, – это не наказание»[42]. Депутаты неоднократно требуют отмены домов заключения: «Мы считаем, что дома заключения должны быть стерты с лица земли ...»[43] И действительно, декрет от 13 марта 1790 г. постановляет освободить «всех лиц, содержащихся в заключении в крепостях, монастырях, работных домах, полицейских тюрьмах и всех прочих тюрьмах по королевским указам или по приказам представителей исполнительной власти».

Каким образом тюремное заключение, совершенно явно связанное с противозаконностью, изобличаемой даже во власти монарха, так быстро стало одной из основных форм законного наказания?

* * *

Наиболее частое объяснение указывает на образование в течение классического века нескольких великих моделей

[41] *Paris intra muros* (Noblesse), цит. по: A. Desjardin, *Les Cahiers de doléance et la justice criminelle*, p. 477.

[42] Langres, «Trois Ordres», цит. там же, p. 483.

[43] Briey, «Tiers État», цит там же, p. 484. См.: P. Goubert, M. Denis, *Les Français ont la parole*, 1964, p. 203. В наказах третьего сословия содержатся также требования сохранения домов заключения для расселения в них семей.

карательного заключения. Их престиж — тем более высокий, что самые последние из них пришли из Англии и особенно из Америки, — будто бы позволил преодолеть двойное препятствие: вековые правила юстиции и деспотическую сторону действия тюрьмы. Очень быстро, кажется, эти препятствия были сметены карательными чудесами, захватившими воображение реформаторов, и заключение стало серьезной реальностью. Важность этих моделей не вызывает сомнения. Но сами они, прежде чем обеспечить решение, ставят проблемы: проблемы, связанные с их существованием и распространением. Как могли они зародиться и, главное, быть приняты столь повсеместно? Ведь легко доказать, что, хотя в некоторых отношениях эти модели соответствуют основным принципам уголовной реформы, во многих других отношениях они абсолютно разнородны и даже несовместимы.

Старейшая из моделей, которая, как принято считать, в той или иной мере вдохновила все остальные, — амстердамский Распхёйс, открытый в 1596 г.[44] Первоначально он предназначался для нищих и малолетних злоумышленников. Он действовал в соответствии с тремя основными принципами. Срок наказаний — по крайней мере в известных рамках — мог определяться администрацией сообразно с поведением заключенного; такая свобода действий администрации иногда предусматривалась самим приговором: в 1597 г. одного заключенного приговорили к двенадцати годам тюрьмы, но в случае его удовлетворительного поведения срок мог быть сокращен до восьми лет. Предусматривался обязательный труд, работали вместе с другими заключенными (одиночные камеры ис-

[44] См.: Thorsten Sellin, *Pioneering in Penology*, 1944; здесь дается исчерпывающий анализ амстердамских Распхёйса и Спинхёйса. Можно оставить в стороне другую «модель», часто упоминавшуюся в XVIII веке. Она была предложена Мабийоном* в «Размышлениях о тюрьмах религиозных орденов» (*Réflexions sur les prisons des ordres religieux*, переизд. 1845). Кажется, этот текст вытащили на свет в XIX веке, когда католики спорили с протестантами за место в филантропическом движении и в некоторых административных органах. Видимо, он был малоизвестен и не имел влияния; в нем доказыва-

пользовались лишь в качестве дополнительного наказания; заключенные спали по двое-трое на одной койке, в камерах содержалось от 4 до 12 человек); за выполненную работу получали вознаграждение. Наконец, строгий распорядок дня, система запретов и обязанностей, непрерывный надзор, наставления, духовное чтение, целый комплекс средств, «побуждающих к добру» и «отвращающих от зла», удерживали заключенных в определенных рамках изо дня в день. Можно рассматривать амстердамский Распхёйс как основополагающий образец. Исторически он послужил связующим звеном между столь характерной для XVI века теорией педагогического, духовного преобразования индивидов путем непрерывного упражнения и пенитенциарными техниками, возникшими во второй половине XVIII века. И он задал созданным тогда трем другим институтам основные принципы, которые каждый из них развил в собственном особом направлении.

В работном доме в Генте принудительный труд был организован главным образом на основании экономических принципов. Утверждали, что праздность – основная причина большинства преступлений. Исследование – несомненно, одно из первых – состава приговоренных в пределах юрисдикции Алоста в 1749 г. показало, что преступниками были не «ремесленники или пахари (работяги думают лишь о работе, что их кормит), а лентяи, предавшиеся попрошайничеству»[45]. Отсюда идея дома, который в некотором смысле обеспечил бы применение универсальной трудовой педагогики к тем, кто уклоняется от работы. Такой подход дает четыре преимущества: сокра-

лось, что «первый проект американской пенитенциарной системы» «совершенно монастырский и французский, что бы ни говорили о ее женевском или пенсильванском происхождении» (Л. Фоше).

[45] Vilan XIV, *Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs*, 1773, p. 64; этот текст, связанный с организацией работного дома в Генте, оставался неопубликованным до 1841 г. Частота наказаний в форме изгнания делала еще более явным соотношение между преступлением и бродяжничеством. В 1771 г. государства Фландрии констатируют, что «наказания изгнанием, применяемые к нищим, не приносят результата, поскольку

шает число уголовных преследований, дорого обходящихся государству (во Фландрии экономия должна была составить свыше 100 000 ливров); избавляет от необходимости возврата денег, выплачиваемых разоренным бродягами лесовладельцам; создает массу новых работников, которая «благодаря конкуренции способствует снижению стоимости рабочей силы»; наконец, позволяет настоящим беднякам получить максимальную благотворительную помощь[46]. Эта полезная педагогика должна была оживить в лентяе тягу к труду, вернуть его в систему интересов, где работа предпочтительнее лени, образовать вокруг него компактное, упрощенное принудительное сообщество, где действует ясная максима: хочешь жить — трудись. Обязательный труд, но и обязательное денежное вознаграждение, позволяющее заключенному улучшить свою участь во время и после заключения. «Человеку, который не имеет средств к существованию, необходимо внушить желание добыть их с помощью работы, сначала в условиях полицейского надзора и дисциплины. В некотором смысле его заставляют работать. Потом его привлекают заработком. Нравы его улучшаются, возникает привычка к труду, ему не приходится думать о еде, и он приберегает к выходу на свободу небольшую сумму», он учится ремеслу, «которое позволит ему не беспокоиться о средствах к существованию»[47]. Перестройка homo oeconomicus исключала применение слишком кратких и слишком долгих наказаний: первые не позволили бы заключенному приобрести навык и вкус к труду, вторые сделали бы обучение ремеслу бессмысленным. «Шести месяцев слишком мало для того, чтобы исправить пре-

государства отсылают друг к другу тех, кого считают вредными на собственной территории. В итоге гоняемый с места на место нищий попадет на виселицу, тогда как если бы ему привили привычку к труду, он не встал бы на сей гибельный путь» (L. Stoobant, в: *Annales de la Société d'histoire de Gand*, t. III, 1898, p. 228). См. ил. 15.

[46] Vilan XIV, *Mémoire*, p. 68.

[47] *Ibid.*, p. 107.

ступников и вселить в них трудовой дух»; с другой стороны, «пожизненное заключение ввергает в отчаяние; преступники становятся равнодушными к исправлению нравов и духу труда, их ум занимают лишь планы побега и бунта; и раз уж не сочли целесообразным лишить их жизни, зачем же делать ее невыносимой?»[48]. Срок наказания имеет смысл лишь в том случае, если возможно перевоспитание и экономическое использование исправившегося преступника.

К принципу труда английская модель добавляет как главное условие исправления изоляцию. Схему задал в 1775 г. Хенуэй, обосновавший ее прежде всего отрицательными доводами: скученность в тюрьме способствует распространению дурных примеров и создает возможность побега в настоящем и шантажа или сообщничества – в будущем. Тюрьма будет слишком похожа на мануфактуру, если позволить заключенным работать вместе. Далее следовали положительные соображения: изоляция вызывает «страшный шок», который, защищая заключенного от дурных влияний, помогает ему углубиться в себя и вновь услышать в недрах своего сознания голос добра; работа в одиночестве должна быть не только ученичеством, но и обращением; она должна перестраивать не только игру интересов, присущих homo oeconomicus, но и императивы морального субъекта. Одиночная камера, техника христианского монашества, сохранившаяся лишь в католических странах, становится в этом протестантском обществе инструментом, с помощью которого можно перестроить одновременно и homo oeconomicus и религиозное сознание. Тюрьма должна образовывать

[48] *Ibid.*, p. 102–103.

«пространство между двумя мирами», между преступлением и возвратом к праву и добродетели; место преобразования индивида, которое вернет государству утраченного гражданина. Аппарат для преобразования индивидов, который Хенуэй называет «реформаторием»[49]. Эти общие принципы Говард и Блэкстоун привели в действие в 1779 г., когда независимость Соединенных Штатов положила конец высылкам из Англии и началась подготовка закона для изменения системы исполнения наказаний. Тюремное заключение с целью преобразования души и поведения вошло в систему гражданского права. Преамбула к закону, составленная Блэкстоуном и Говардом, характеризует заключение в его тройной функции — как устрашающего примера, инструмента обращения индивида и условия для обучения ремеслу: подвергнутые «одиночному заключению, регулярному труду и влиянию религиозного наставления», некоторые преступники смогут «не только вселить страх в тех, кто захотел бы последовать их примеру, но и исправиться и приобрести привычку к труду»[50]. Отсюда — решение построить две исправительные тюрьмы, специально для мужчин и для женщин, где изолированные друг от друга заключенные должны выполнять «самые рабские работы, как нельзя лучше соответствующие невежеству, нерадивости и закоснелости преступников»: идти за колесом, запускающим машину, крепить вал, полировать мрамор, трепать пеньку, обдирать рашпилем кампешевое дерево, кромсать ветошь, изготовлять веревки и мешки. В действительности была построена только одна исправительная тюрьма, в Глочестере, и она лишь отчасти отвечала пер-

[49] J. Hanway, *The Defects of Police*, 1775.

[50] Преамбула к биллю 1779 г.; цит. по: Julius, *Leçons sur les prisons*, 1831, t. I, p. 299 (пер. на франц. яз.).

воначальному плану: одиночное заключение для наиболее опасных преступников, для остальных — совместная работа днем и изоляция ночью.

Наконец, филадельфийская модель. Несомненно, наиболее известная: ведь она воспринималась в связи с политическими нововведениями американской системы и, в отличие от других, не была обречена на немедленный провал и забвение. Ее постоянно критиковали и преобразовывали вплоть до серьезных дискуссий о пенитенциарной реформе в 30-х годах XIX столетия. Во многих отношениях тюрьма Уолнат Стрит, открытая в 1790 г. под непосредственным влиянием квакеров, строилась по модели Гента и Глочестера[51]. Там предусматривались обязательная работа в цехах, постоянная занятость заключенных, финансирование тюрьмы за счет их труда, но и выплата индивидуальных вознаграждений за труд как средство, обеспечивающее возвращение заключенных, в моральном и материальном отношении, в суровый мир экономии; если заключенных «постоянно использовать на производственных работах, они обеспечат оплату тюремных расходов, не будут бездельничать и смогут накопить некоторые средства к моменту окончания срока»[52]. Жизнь расписана в соответствии со строжайшим распорядком дня и протекает под неусыпным надзором; каждый момент дня посвящается определенной конкретной деятельности и несет с собой собственные обязательства и запреты: «Все заключенные встают на рассвете и, застелив койки, умывшись и справив прочие потребности, обычно начинают работу с восходом солнца. С этого момента никто не может войти в помещения и другие места, за исключением цехов и

[51] Безусловно, квакерам были известны и амстердамские Расхёйс и Спинхёйс. См.: T. Sellin, *Pioneering in Penology*, p. 109–110. Во всяком случае тюрьма Уолнат Стрит продолжала традицию открытого в 1767 г. Алмхауза и уголовного законодательства, которое квакеры хотели навязать против воли английской администрации.

[52] G. de La Rochefoucauld-Liancourt, *Des prisons de Philadelphie*, 1796, p. 9.

мест, отведенных для работы... С наступлением сумерек звонит колокол, извещающий об окончании работы... Заключенным дается полчаса, чтобы приготовить постели, после чего не разрешаются громкие разговоры и малейший шум»[53]. Как в Глочестере, одиночное заключение не тотально: оно применяется лишь к отдельным заключенным, которые в былые времена получили бы смертный приговор, и к заключенным, заслужившим особого наказания уже в тюрьме: «Без занятий, без развлечений, без уверенности в скором освобождении», заключенный проводит «долгие тревожные часы наедине с мыслями, посещающими всех виновных»[54]. Наконец, как в Генте, срок заключения может изменяться в зависимости от поведения заключенного: изучив дела, тюремные инспектора получают от властей – до 1820-х годов без особых трудностей – помилования для заключенных, отличившихся хорошим поведением.

Кроме того, тюрьма Уолнат Стрит характеризуется некоторыми чертами, специфическими для нее или по крайней мере развившими то, что потенциально присутствовало в других моделях. Прежде всего, это принцип неразглашения наказания. Хотя приговор и основания для него должны быть известны всем, наказание должно осуществляться тайно; публика не должна вмешиваться ни как свидетель, ни как гарант наказания; уверенность в том, что за тюремными стенами заключенный отбывает наказание, должна быть достаточным уроком: надо положить конец уличным зрелищам, открытым законом 1786 г., который принуждал некоторых осужденных к общественным работам в городах или на крупных дорогах[55].

[53] J. Turnbull, *Visite à la prison de Philadelphie*, 1797, p. 15–16 (пер. на франц. яз.).

[54] Caleb Lownes; по кн.: N. K. Teeters, *Cradle of penitentiary*, 1955, p. 49.

[55] О беспорядках, вызванных этим законом, см.: B. Rush, *An Inquiry into the effects of Public punishments*, 1787, p. 5–9; Roberts Vaux, *Notices*, p. 45. Заметим, что доклад Ж.-Л. Сигеля, подсказавший распорядок в амстердамском Распхёйсе, предусматривал, что наказания не должны оглашаться публично, что заключенные доставляются в

Наказание и его исправительное воздействие – процессы, развертывающиеся между заключенным и надзирателями. Эти процессы приводят к преобразованию всего индивида: его тела и привычек – посредством ежедневного принудительного труда, его сознания и воли – благодаря духовному попечению: «Библия и другие книги о жизни в вере всегда под рукой. Священники различных церквей, действующих в городе и окрестностях, служат поочередно по одному разу в неделю, а все другие духовные наставники имеют доступ к заключенным в любое время»[56]. Но это преобразование вверено самой администрации. Одиночества и самоанализа недостаточно; недостаточно и чисто религиозных увещеваний. Работа над душой заключенного должна производиться как можно чаще. Тюрьма, являющаяся административным аппаратом, должна быть в то же время машиной по изменению сознания. При поступлении в тюрьму заключенному зачитывают устав. «Вместе с тем инспектора стремятся укоренить в нем моральные обязательства, соответствующие его положению, разъясняют ему, какое правонарушение по отношению к ним он совершил, каким злом оно оказалось для общества, под защитой коего он находится, и необходимость возмещения ущерба примерным поведением и исправлением. Затем они заставляют его обещать с радостью выполнить свой долг и вести себя достойно; они объясняют ему, что при хорошем поведении он может надеяться на освобождение до истечения срока ... Время от времени инспектора обязаны беседовать с преступниками об их долге перед людьми и обществом»[57].

тюрьму ночью, что тюремщики под присягой обязуются не раскрывать их личность и что посещения не разрешаются (T. Sellin, *Pioneering in Penology*, p. 27–28).

[56] Первый отчет инспекторов об Уолнат Стрит, цит. по: N. K. Teeters, *loc. cit.*, p. 53–54.

[57] J. Turnbull, *Visite à la prison de Philadelphie*, 1797, p. 27 (пер. на франц. яз.).

Но самое важное, несомненно, то, что условием и следствием этого контроля и преобразования является формирование знания об индивидах. Одновременно с новым заключенным администрация Уолнат Стрит получает отчет о совершённом им преступлении и сопутствовавших обстоятельствах, резюме допроса обвиняемого, сведения о его поведении до и после вынесения приговора: все это необходимо знать, чтобы «определить, какое лечение и помощь требуются для искоренения его старых привычек»[58]. И на протяжении всего заключения он подвергается наблюдению, его поведение изо дня в день документально фиксируется, и инспектора (в 1795 г. — двенадцать знатных горожан), дважды в неделю по двое посещающие тюрьму, получают информацию о происходящем, осведомляются о поведении каждого заключенного и решают, кто заслуживает ходатайства о снисхождении. Постоянно совершенствуемое знание индивидов позволяет подразделить их в тюрьме не столько по совершённым преступлениям, сколько в соответствии с обнаруженными наклонностями. Тюрьма становится своего рода постоянной обсерваторией, дающей возможность распределить разные пороки или слабости. Начиная с 1797 г. заключенные делились на четыре класса: первый составляли те, кто приговорен к одиночному заключению или совершил серьезные правонарушения в тюрьме; ко второму принадлежали те, кто «хорошо известен как матерый преступник... порочен, опасен, неустойчив в своих склонностях или непредсказуем в поступках» и проявил все эти качества за время пребывания в тюрьме; третий класс включает в себя тех, «чей характер и обсто-

[58] Б. Раш, один из инспекторов, после посещения Уолнат Стрит отмечает: «Моральный уход: проповеди, чтение хороших книг, чистота одежды и спален, бани; голос не повышают, мало вина, как можно меньше табака, мало непристойных или грубых разговоров. Постоянная работа: уход за огородом, он великолепен: 1200 кочанов капусты». По кн.: N. K. Teeters, *The Cradle of penitentiary*, 1935, p. 50.

ятельства до и после осуждения заставляют заключить, что они не являются закоренелыми преступниками»; наконец, особое отделение, испытательный класс для тех, чей характер еще не известен, или для тех, кто во всяком случае не заслуживает зачисления в предыдущие категории[59]. Организуется целый корпус индивидуализирующего знания, область значения которого – не столько совершённое преступление (по крайней мере не оно одно), сколько потенциальная опасность, сокрытая в индивиде и проявляющаяся в его наблюдаемом каждодневном поведении. С этой точки зрения тюрьма действует как аппарат познания.

* * *

Между карательным аппаратом, предлагаемым фламандской, английской и американской моделями, между этими «реформаториями» и всеми наказаниями, придуманными реформаторами, имеются точки сходства и различия.

Точки сходства. В первую очередь, налицо изменение временно́го направления наказания. Задача «реформаториев» также состоит не в том, чтобы изгладить преступление, а в том, чтобы воспрепятствовать его повторению. Это механизмы, направленные в будущее и устроенные так, чтобы исключить повторение злодеяния. «Цель наказаний – не искупление преступления, по справедливости остающееся в воле Всевышнего, но предупреждение правонарушений того же рода»[60]. В Пенсильвании Бакстон заявил, что принципы Монтескье и Беккариа долж-

[59] Minutes of the Board, 16 juin 1797; цит. по: N. K. Teeters, *loc. cit.*, p. 59.

[60] W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, 1776, p. 19 (пер. на франц. яз.).

ны иметь отныне «силу аксиом», что «предупреждение преступлений — единственная цель наказания»[61]. Итак, наказывают не для того, чтобы было искуплено преступление, а для того, чтобы преобразовать преступника (реального или потенциального); наказание должно быть сопряжено с определенной исправительной техникой. В этом отношении к юристам-реформаторам близок Раш — если, конечно, следующие его слова лишены метафорического смысла: люди изобрели машины, облегчающие труд; куда большей похвалы был бы достоин изобретатель «самых быстрых и эффективных методов восстановления порочной части человечества в добродетели и счастье и удаления из мира некоторой доли порока»[62]. Наконец, англосаксонские модели, подобно проектам законодателей и теоретиков, предполагают методы индивидуализации наказания: срок, вид, интенсивность, способ исполнения наказания должны соответствовать характеру индивида и исходящей от него опасности для других. Система наказаний должна быть открыта для индивидуальных переменных. В своих общих чертах модели, более или менее вдохновленные амстердамским Распхёйсом, не противоречили проектам реформаторов. На первый взгляд может даже показаться, будто они были лишь их развитием — или эскизом — на уровне конкретных учреждений.

И все же при определении техники индивидуализирующего исправления возникает весьма очевидное различие. Различие в процедуре подхода к индивиду, в способе, каким карательная власть берет его под контроль, в орудиях, какие она использует для осуществления преобразова-

[61] W. Bradford, *An inquiry how far the punishment of death is necessary in Pennsylvania*, 1793, p. 3.

[62] B. Rush, *An inquiry into the effects of public punishments*, 1787, p. 14. Идея аппарата для преобразования индивидов развивается уже в проекте «реформатория» Хенуэя: «Мысль о больнице и мысль о злоумышленнике несовместимы; но попытаемся сделать из тюрьмы подлинный и эффективный реформаторий, с тем чтобы она, в отличие от других заведений, не была школой порока» (*Defects of police*, p. 52).

ния, различие – в технологии наказания, а не в его теоретическом обосновании, в отношении, которое оно устанавливает между телом и душой, а не в способе, каким оно встраивается в правовую систему.

Возьмем метод реформаторов. Какова точка приложения наказания, захвата контроля над индивидом? – Представления: представления о его интересах, о преимуществах и невыгодах, удовольствии и неудовольствии; и если наказание захватывает тело, применяет к нему техники, мало отличающиеся от пытки, то в той мере, в какой оно является – для осужденного и для зрителей – объектом представления. Каким инструментом воздействуют на представления? – Другими представлениями или, скорее, ассоциациями идей (преступление–наказание, воображаемая выгода от преступления – невыгода от наказаний); эти пары действуют лишь как элемент публичности: сцены наказания, устанавливающие или укрепляющие их в глазах всех, дискурс, который распространяет, каждый момент вводит в обращение игру знаков. Роль преступника в наказании заключается в том, чтобы вновь вводить наряду с кодексом и преступлениями реальное присутствие означаемого, иными словами наказания, которое в соответствии с задачами кодекса должно безошибочно связываться с правонарушением. Избыточное и зримое производство этого означаемого, а значит, реактивация означающей системы кодекса, идеи преступления, служащего знаком наказания, – вот какой монетой правонарушитель выплачивает свой долг обществу. Индивидуальное исправление должно, следовательно, обеспечивать переквалифика-

цию индивида в субъекта права путем укрепления систем знаков и распространяемых ими представлений.

Аппарат исправительного наказания действует совершенно иначе. Точка приложения наказания здесь — не представление, а тело, время, обычные жесты и деятельности, а также душа, но лишь как вместилище привычек. Тело и душа как принципы поведения образуют элемент, который отныне подлежит карательному вмешательству. Не как искусству представлений, а как обдуманному манипулированию индивидом: «Всякое преступление излечивается благодаря физическому и моральному воздействию»; следовательно, для выбора наказаний необходимо «знать принцип ощущений и симпатий, имеющих место в нервной системе»[63]. Что касается используемых инструментов, то это уже не игра представлений, но применяемые на практике и повторяемые формы и схемы принуждения. Упражнения, не знаки: расписание, организация времени, обязательные движения, регулярная деятельность, раздумье в одиночестве, работа сообща, молчание, прилежание, уважение, хорошие привычки. И наконец, посредством техники исправления стремятся восстановить не столько правового субъекта, захваченного фундаментальными интересами социального договора, сколько покорного субъекта, индивида, подчиненного привычкам, правилам, приказам, власти, которая постоянно отправляется вокруг него и над ним и которой он должен позволить автоматически действовать в себе самом. Имеется, следовательно, два совершенно различных способа реакции на правонарушение: можно или восстанавливать юридического субъекта общественного договора, или

[63] B. Rush, *An inquiry into the effects of public punishments*, 1787, p. 13.

формировать покорного субъекта согласно общей и детализированной форме власти.

Несомненно, все их различие было бы разве что умозрительным – поскольку в обоих случаях речь идет, по существу, о формировании послушных субъектов, – если бы наказание как «принуждение» не влекло за собой несколько важных последствий. Дрессировка посредством детально расписанного времени, приобретение привычек и принуждение тела подразумевают совершенно особое отношение между тем, кого наказывают, и тем, кто наказывает. Отношение, не просто делающее зрелищное измерение ненужным, но исключающее его[64]. Наказывающий должен иметь тотальную власть, которую не может нарушить третья сторона; исправляемый должен быть полностью захвачен отправляемой над ним властью. Обязательная тайна. И отсюда автономия, по крайней мере относительная, этой техники наказания: она должна обладать собственным действием, собственными правилами, собственными методами, собственным знанием; она должна устанавливать свои нормы, определять свои результаты. Здесь разрыв, во всяком случае различие, между властью наказывать и судебной властью, объявляющей виновного и устанавливающей общие границы наказания. Два этих следствия – тайна и автономия в отправлении карательной власти – неприемлемы для теории и политики наказания, имеющей в виду две цели: обеспечить участие всех граждан в наказании общественного врага и сделать отправление власти наказывать адекватным и прозрачным относительно законов, публично устанавливающих ее пределы. Тайные наказания и

[64] См. у Раша критику карательных зрелищ, в частности тех, что рисовал в воображении Дюфриш де Валеэ: B. Rush. *An inquiry into the effects of public punishments*. 1787, p. 5–9.

наказания, не предусмотренные законодательством; власть наказывать, отправляемая во мраке в соответствии с критериями, ускользающими от контроля, и с помощью таких же инструментов, – и в результате вся стратегия реформы рискует быть скомпрометирована. После вынесения приговора образуется власть, напоминающая ту, что действовала в прежней системе. Власть, осуществляющая наказания, грозит быть такой же самочинной, такой же деспотичной, как та, что некогда их устанавливала.

Коротко говоря, различие таково: карательный город или принудительное заведение? С одной стороны, функционирование власти наказывать, распределенной по всему пространству общества; присутствующей повсюду как сцена, зрелище, знак, дискурс; удобочитаемой, как открытая книга; действующей путем постоянного перекодирования сознания граждан; обеспечивающей подавление преступления благодаря препятствиям, поставленным перед мыслью о преступлении; воздействующей невидимо и ненавязчиво на «мягкие волокна мозга», как сказал Серван. Власть наказывать, которая распространяется по всему протяжению общественной сети, действует в каждой ее точке и в конечном счете воспринимается уже не как власть одних индивидов над другими, а как непосредственная реакция всех на каждого. С другой стороны, компактное функционирование власти наказывать: принятие ею на себя полной ответственности за тело и время виновного, управление его жестами и поведением посредством системы власти и знания; согласованная ортопедия, применяемая к виновным для инди-

видуального исправления; автономное отправление этой власти, отделенное как от тела общества, так и от судебной власти в строгом смысле слова. За возникновением тюрьмы стоит институционализация власти наказывать или, точнее, вопрос: в каком случае власть наказывать (с ее принятой в конце XVIII столетия стратегической целью, состоящей в снижении числа народных противозаконностей) отправляется более оптимально – когда скрывается за общей социальной функцией, в «карательном городе», или когда облекается в форму принудительного института, действует в замкнутом пространстве «реформатория»?

Как бы то ни было, можно сказать, что в конце XVIII века наличествуют три способа организации власти наказывать. Первый – тот, что еще сохраняется и основывается на старом монархическом праве. Два других зиждутся на превентивном, утилитарном и исправительном понимании права наказывать, принадлежащего всему обществу; но они весьма отличаются друг от друга на уровне предусматриваемых ими механизмов. Вообще говоря, в монархическом праве наказание – церемониал власти суверена; в нем используются ритуальные метки мщения, наносимые на тело осужденного, и он развертывает перед глазами зрителей ужасное действие, которое тем ужаснее, чем более прерывисто, нерегулярно всегда возвышающееся над собственными законами физическое присутствие монарха и его власти. Юристы-реформаторы, со своей стороны, рассматривают наказание как процедуру нового определения индивидов как субъектов, как правовых субъектов; в этой процедуре исполь-

зуются не метки, а знаки, кодированные совокупности представлений и образов, наиболее быстрое распространение и как можно более универсальное принятие которых обеспечивает сцена наказания. Наконец, в создававшемся тогда проекте института тюрьмы наказание – техника принуждения индивидов; она использует не знаки, а методы муштры тел, оставляющей в поведении следы в виде привычек; и она подразумевает установление особой власти для управления наказанием. Суверен и его сила, тело общества, административный аппарат. Метка, знак, след. Церемония, представление, отправление. Побежденный враг, правовой субъект в процессе нового определения, индивид, подвергаемый непосредственному принуждению. Пытаемое тело, душа и ее манипулируемые представления, муштруемое тело. Вот три ряда элементов, характеризующих три механизма, которые сталкиваются друг с другом во второй половине XVIII века. Их нельзя ни свести к теориям права (хотя они частично совпадают с такими теориями), ни отождествить с аппаратами или институтами (хотя они опираются на них), ни вывести из морального выбора (хотя они находят свое обоснование в морали). Это модальности, согласно которым отправляется власть наказывать. Три технологии власти.

Стало быть, проблема состоит в следующем: как произошло, что именно третья технология была в конечном счете принята? Как принудительная, телесная, обособленная и тайная модель власти наказывать сменила репрезентативную, сценическую, означающую, публичную, коллективную модель? Почему физическое отправление

наказания (не пытка) заменило – вместе с тюрьмой, служащей его институциональной опорой, – социальную игру знаков наказания и распространяющее их многословное празднество?

III. ДИСЦИПЛИНА

Глава 1

Послушные тела

Представим себе идеальный образ солдата, каким он виделся еще в начале XVII века. Прежде всего, солдата можно узнать издали. У него есть «знаки отличия»: природные знаки силы и мужества, они же предмет его гордости. Его тело – символ его силы и храбрости. И хотя он должен овладевать военным мастерством постепенно – главным образом в сражениях, – движения (походный шаг) и выправка (прямая посадка головы) принадлежат большей частью к телесной риторике чести: «Наиболее годных к этому ремеслу можно узнать по многим признакам: это люди бодрые и живые, с высоко поднятой головой, втянутым животом, широкоплечие, длиннорукие, с сильными пальцами, не толстые, с подтянутыми бедрами, стройными ногами и непотеющими ступнями, – человек такого телосложения не может не быть ловким и сильным». Став копейщиком, солдат «должен маршировать размеренно и

ритмично, дабы достичь наибольшей грации и степенности, ибо копье – почетное оружие, кое положено нести торжественно и отважно»[1]. Вторая половина XVIII века: солдат стал чем-то, что можно изготовить. Из бесформенной массы, непригодной плоти можно сделать требуемую машину. Постепенно выправляется осанка. Рассчитанное принуждение медленно проникает в каждую часть тела, овладевает им, делает его послушным, всегда готовым и молчаливо продолжается в автоматизме привычки. Короче говоря, надлежит «изгнать крестьянина», придать ему «облик солдата»[2]. Рекрутов приучают «нести голову высоко, держаться прямо, не сгибая спины, втягивать живот, выставлять грудь и расправлять плечи. А чтобы это вошло в привычку, их заставляют принять требуемое положение, прижавшись спиной к стене, чтобы пятки, икры, плечи и талия касались ее, также и тыльные части рук, причем руки должны быть развернуты наружу и прижаты к телу... Их учат также никогда не уставляться в землю, смотреть прямо в лицо тем, мимо кого они проходят... стоять неподвижно в ожидании команды, не шевеля ни головой, ни руками, ни ногами... наконец, ходить чеканным шагом, напрягая колено и икру, вытягивая носок и отводя его в сторону»[3].

В классический век произошло открытие тела как объекта и мишени власти. Не составляет труда найти признаки пристального внимания к телу – телу, которое подвергается манипуляциям, формированию, муштре, которое повинуется, реагирует, становится ловким и набирает силу. Великая книга о Человеке-машине создавалась одновременно в двух регистрах: анатомо-метафизическом –

[1] L. de Montgommery*, *La Milice française*, éd. de 1636, p. 6, 7.
[2] Указ от 20 марта 1764 г.
[3] Там же.

первые страницы были написаны Декартом, последующие медиками и философами; и технико-политическом, образованном совокупностью военных, школьных и больничных уставов, а также эмпирических и рассчитанных процедур контроля над действиями тела или их исправления. Это совершенно разные регистры, поскольку речь в них идет, с одной стороны, о подчинении и использовании, с другой — о функционировании и объяснении: теле полезном и теле понимаемом. И все-таки у них есть точки пересечения. «Человек-машина» Ламетри — одновременно материалистическая редукция души и общая теория муштры, где в центре правит понятие «послушности», добавляющее к телу анализируемому тело манипулируемое. Послушное тело можно подчинить, использовать, преобразовать и усовершенствовать. Знаменитые автоматы, с другой стороны, являлись не только способом иллюстрации функционирования организма; они были также политическими куклами, уменьшенными моделями власти: навязчивая идея Фридриха II, мелочно-дотошного короля маленьких машин, вымуштрованных полков и долгих упражнений.

Что же нового в схемах послушания, которыми так интересовалось XVIII столетие? Безусловно, тело не впервые становилось объектом столь жестких и назойливых посягательств. В любом обществе тело зажато в тисках власти, налагающей на него принуждение, запреты или обязательства. Тем не менее в упомянутых техниках есть и новое. Прежде всего, масштаб контроля: не рассматривать тело в массе, в общих чертах, как если бы оно было неразделимой единицей, а прорабатывать его в деталях, подвер-

гать его тонкому принуждению, обеспечивать его захват на уровне самой механики — движений, жестов, положений, быстроты: бесконечно малая власть над активным телом. Далее, объект контроля: это уже не значащие элементы поведения или языка тела, а экономия, эффективность движений, их внутренняя организация; принуждение нацелено скорее на силы, чем на знаки; единственная по-настоящему важная церемония — упражнение. Наконец, модальность: она подразумевает непрерывное, постоянное принуждение, озабоченное скорее процессами деятельности, чем ее результатом, и осуществляется согласно классификации, практически разбивающей на клеточки время, пространство и движения. Методы, которые делают возможным детальнейший контроль над действиями тела, обеспечивают постоянное подчинение его сил и навязывают им отношения послушания—полезности, можно назвать «дисциплинами». Издавна существовали многочисленные дисциплинарные методы — в монастырях, армиях и ремесленных цехах. Но в XVII—XVIII веках дисциплины стали общими формулами господства. Они отличаются от рабства тем, что не основываются на отношении присвоения тел, и даже обладают некоторым изяществом, поскольку могут достичь по меньшей мере равной полезности, не затрудняя себя упомянутым дорогостоящим и насильственным отношением. Они отличаются также от «услужения» домашней челяди — постоянного, глобального, массового, неаналитического, неограниченного отношения господства, устанавливаемого в форме единоличной воли хозяина, его «каприза». Они отличаются от вассалитета — в высшей степени кодифици-

рованного, но далекого отношения подчинения, основывающегося не столько на действиях тела, сколько на продуктах труда и ритуальном выражении верноподданнических чувств. Они отличаются и от аскетизма и «дисциплины» монастырского типа, функция которых – скорее достижение отрешенности, чем увеличение полезности, и которые, хотя и подразумевают повиновение, нацелены главным образом на более полное владение каждым индивидом собственным телом. Исторический момент дисциплин – момент, когда рождается искусство владения человеческим телом, направленное не только на увеличение его ловкости и сноровки, не только на усиление его подчинения, но и на формирование отношения, которое в самом механизме делает тело тем более послушным, чем более полезным оно становится, и наоборот. Тогда формируется политика принуждений – работы над телом, рассчитанного манипулирования его элементами, жестами, поступками. Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается «политическая анатомия», являющаяся одновременно «механикой власти». Она определяет, как можно подчинить себе тела других, с тем чтобы заставить их не только делать что-то определенное, но действовать определенным образом, с применением определенных техник, с необходимой быстротой и эффективностью. Так дисциплина производит подчиненные и упражняемые тела, «послушные» тела. Дисциплина увеличивает силы тела (с точки зрения экономической полезности) и уменьшает те же силы (с точки зрения политического послушания). Короче говоря, она

отделяет силы от тела: с одной стороны, превращает его в «способность», «пригодность», которые стремится увеличить, а с другой – меняет направление энергии, могущества, которое может быть ее результатом, и превращает его в отношение неукоснительного подчинения. Если экономическая эксплуатация разделяет силу и продукт труда, то дисциплинарное принуждение, можно сказать, устанавливает в теле принудительную связь между увеличивающейся пригодностью и возрастающим господством.

«Изобретение» этой новой политической анатомии не следует понимать как внезапное открытие. Скорее, происходит множество часто второстепенных процессов, различного происхождения и спорадической локализации, которые пересекаются, повторяются или имитируют друг друга, поддерживают друг друга, различаются в зависимости от области применения, сходятся и понемногу вырисовывают контур общего метода. Уже очень давно они начали действовать в коллежах, позднее – в начальных школах, постепенно они захватывают больничное пространство и за несколько десятилетий перестраивают военную организацию. Иногда они циркулируют от одной точки к другой (между армией и техническими училищами или коллежами и лицеями) очень быстро, иногда медленно и более скрыто (коварная милитаризация крупных фабрик). Почти всякий раз они навязываются в ответ на требования обстоятельств, будь то промышленное новшество, обострение эпидемии, изобретение ружья или победа Пруссии. Однако это не мешает им вписаться в общие и существенные преобразования, которые мы сейчас попытаемся выявить.

Не идет и речи о создании истории дисциплинарных институтов со всеми их индивидуальными различиями. Просто определим с помощью ряда примеров некоторые существенно важные методы, которые, переходя от института к институту, чрезвычайно легко стали общепринятыми. Всегда незаметные, часто ничтожные, они все же имеют некоторое значение, поскольку определяют способ детального политического завоевания тела, новую «микрофизику» власти, и поскольку начиная с XVII века постоянно охватывают все более широкие области, словно стремясь завладеть всем общественным телом. Маленькие хитрости, обладающие большой способностью к распространению, тонкие устройства, внешне невинные, но глубоко подозрительные, механизмы, которые подчинены потаенным и постыдным экономиям и которые внедрили всепроникающее подчинение, – однако именно они довели изменение режима наказаний до порога современной эпохи. Описывать их – значит вникать в детали и обращать внимание на мелочи: за мельчайшей фигурой искать не смысл, а меру предосторожности; рассматривать их не только в единстве функционирования, но и в последовательности тактики. Это хитрости не столько великого разума, который работает, даже когда спит, который придает смысл незначащему, – сколько внимательного «недоброжелательства», из всего извлекающего выгоду. Дисциплина – политическая анатомия детали.

Опережая нетерпение, вспомним слова маршала де Сакса*: «Хотя те, кто вдается в детали, слывут людьми ограниченными, мне кажется, что деталь – главное, ведь она образует фундамент, и невозможно возвести здание

или выработать метод, не зная их оснований. Недостаточно любить архитектуру. Надо уметь обтесывать камни»[4]. Можно написать целую историю такого «обтесывания камней» – историю утилитарной рационализации детали в моральном учете и политическом контроле. Она началась ранее классического века, но он ускорил ее, изменил ее масштаб, дал ей точные инструменты и, вероятно, некоторым образом откликнулся на нее исчислением бесконечно малых или описанием мельчайших свойств природных существ. Во всяком случае, «малое» издавна было категорией теологии и аскетизма: всякая малая вещь важна, поскольку в глазах Господа нет огромности больше малого и нет малого помимо Его воли. В этой великой традиции почитания малого легко находит свое место вся детализированность христианского воспитания, школьной или военной педагогики – в конечном счете, все формы муштры. Для дисциплинированного человека, как и для истинно верующего, никакая мелочь не безразлична – не столько из-за заключенного в ней смысла, сколько как ушко для власти, которая стремится за него ухватиться. Характерна великая хвала «малому» в его вечной значимости, воспетая Жан-Батистом де Ла Саллем* в «Трактате об обязательствах братьев христианских школ». Мистика повседневного сочетается здесь с дисциплиной малого. «Как опасно пренебрегать малым. Для души, вроде моей, едва ли способной к великим деяниям, сколь утешительна мысль, что верность малому, незаметно развиваясь, может вознести нас до вершин святости: ведь малые вещи располагают к великим... Малое; да и то сказать, увы, Господи, можем ли мы сделать великое для Тебя, мы, слабые и

[4] Maréchal de Saxe, *Mes rêveries*, t. I, p. 5.

смертные твари. Малое; но если нам предстанет великое, не дрогнем ли мы? Не решим ли, что сие выше сил наших? Малое; а ежели Бог возлюбит его и пожелает принять как великое? Малое; а знаем ли мы, что́ оно есть? Судим ли по опыту? Малое; значит, мы виновны, считая его малым и потому отвергая? Малое; но оно-то и создало в конце концов великих святых! Да, малое; но великие помыслы, великие чувства, великое рвение, великий пыл, а значит, великие заслуги, великие сокровища, великое воздаяние»[5]. Детализированность правил, придирчивость инспекций, надзор над мельчайшими фрагментами жизни и тела вскоре породят в рамках школы, казармы, больницы или фабрики секуляризованное содержание, экономическую или техническую рациональность для этого мистического исчисления бесконечно малого и бесконечного. И История Детали в XVIII столетии, удостоверенная именем Жан-Батиста де Ла Салля, коснувшись Лейбница и Бюффона, пройдя через Фридриха II, охватив педагогику, медицину, военную тактику и экономику, должна была привести нас в конце столетия к человеку, который мечтал стать новым Ньютоном, но не Ньютоном неизмеримости небес или планетарных масс, а Ньютоном «малых тел», малых движений, малых деяний, — к человеку, который ответил Монжу* на его «можно открыть лишь один мир»: «Что я слышу? А что же мир деталей, вы, никогда не мечтавшие об этом другом мире, как быть с ним? Я верил в него с пятнадцати лет. Я интересовался им тогда, и воспоминание живет во мне как навязчивая идея, никогда меня не покидающая... Этот другой мир самый важный из всех, которые — льщу себя надеждой — я открыл: при одной

[5] J.-B. de La Salle, *Traité sur les obligations des frères des Écoles chrétiennes*, éd. de 1783, p. 238–239.

мысли о нем болит душа»[6]. Бонапарт не открыл этот мир; но известно, что он пытался организовать его, и он хотел создать вокруг себя механизм власти, который позволил бы ему улавливать мельчайшее событие в государстве. Он намеревался посредством установленной им строгой дисциплины «объять всю огромную машину, так чтобы ни малейшая деталь не ускользнула от его внимания»[7].

Въедливое изучение детали и одновременно политический учет мелочей, служащих для контроля над людьми и их использования, проходят через весь классический век, несут с собой целую совокупность техник, целый корпус методов и знания, описаний, рецептов и данных. И из этих пустяков, несомненно, родился человек современного гуманизма[8].

Искусство распределений

Прежде всего, дисциплина связана с распределением индивидов в пространстве. Для этого она использует несколько методов.

1. Дисциплина иногда требует *отгораживания*, спецификации места, отличного от всех других и замкнутого в самом себе. Отгороженного места дисциплинарной монотонности. Было великое «заключение» бродяг и нищих, были и другие, менее заметные, но коварные и действенные. Это коллежи: в них постепенно воцаряется монастырская модель; интернат олицетворяет собой если не самый распространенный, то по крайней мере самый совершенный воспитательный режим; он становится обяза-

[6] Во введении к «Синтетическим и историческим понятиям естественной истории» Э. Жоффруа Сент-Илер приписывает это суждение Бонапарту.

[7] J. B. Treilhard*, *Motifs du code d'instruction criminelle*, 1808, p. 14.

[8] В качестве примера я воспользуюсь военными, медицинскими, школьными и промышленными заведениями. Можно было бы привести примеры, связанные с колонизацией, рабством, попечением о младенцах.

тельным в коллеже Людовика Великого, когда после ухода иезуитов его превратили в образцовую школу[9]. Это казармы: нужно расположить в определенном месте армию, эту блуждающую массу; предотвратить мародерство и насилие; успокоить местных жителей, плохо переносящих проход войск через город; избежать конфликтов с гражданскими властями; прекратить дезертирство; установить контроль над расходами. Указ 1719 г. предписывает строительство нескольких сотен казарм по примеру тех, что уже возведены на юге страны; предусматривается надежное ограждение: «Все должно быть огорожено, опоясано внешней стеной высотой десять футов, которую надлежит возвести на расстоянии тридцать футов от всех корпусов». Это поможет поддерживать в войсках «порядок и дисциплину, так чтобы офицер мог за них отвечать»[10]. В 1745 г. казармы имелись примерно в 320 городах, и в 1775 г. их общая вместимость составляла почти 200 000 человек[11]. Наряду с распространением цехов развиваются и огромные производственные пространства, однородные и четко ограниченные: вначале объединенные мануфактуры, а затем, во второй половине XVIII века, заводы (Шоссадский металлургический завод занимает весь Мединский полуостров между Ньевром и Луарой; для размещения завода в Индрэ в 1777 г. Уилкинсон построил с помощью насыпей и дамб остров на Луаре*; на месте бывших угольных копей Туфэ построил Ле Крезо** и оборудовал на самом заводе жилые помещения для рабочих). Это означало изменение масштаба, – но и новый тип контроля. Завод явственно уподобили монастырю, крепости, закрытому городу: сторож «отворяет ворота только с приходом рабочих и по зво-

[9] См.: Ph. Ariès, *L'Enfant et la famille*, 1960, p. 308–313; G. Snyders, *La Pédagogie en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, 1965, p. 35–41.

[10] *L'ordonnance militaire*, t. XII., 25 septembre 1719; см. ил. 5.

[11] Daisy, *Le Royaume de France*, 1745, p. 201–209; Анонимная докладная записка, 1775 г. (Dépôt de la guerre, 3689 f. 156); A. Navereau, *Le Logement et les ustensiles des gens de guerre de 1439 à 1789*, 1924, p. 132–135.

ну колокола, возвещающему возобновление работы». Через четверть часа никого уже не пропустят. По окончании рабочего дня начальники цехов обязаны сдать ключи привратнику мануфактуры, который после этого вновь отворяет ворота[12]. По мере все большей концентрации производительных сил надо извлекать из них максимальную выгоду и нейтрализовать недостатки (кражи, перерывы в работе и отказы от нее, волнения и «крамолу»): охранять материалы и инструменты, обуздывать рабочую силу. «Необходимые порядок и дисциплина требуют, чтобы все рабочие были собраны под одной крышей. Тогда тот из компаньонов, на кого возложена ответственность за управление мануфактурой, сможет предупреждать и устранять злоупотребления, которые могут возникнуть среди рабочих, и пресекать их в корне»[13].

2. Но принцип «отгораживания» не является ни постоянным, ни необходимым, ни достаточным в дисциплинарных механизмах. Они прорабатывают пространство много более гибким и тонким образом. Прежде всего, по принципу элементарной локализации или расчерчивания и распределения по клеткам. Каждому индивиду отводится свое место, каждому месту – свой индивид. Избегать распределения по группам, не допускать укоренения коллективных образований, раздроблять смутные, массовые или ускользающие множества. Дисциплинарное пространство имеет тенденцию делиться на столько клеточек, сколько есть тел или элементов, подлежащих распределению. Необходимо аннулировать следствия нечетких распределений, бесконтрольное исчезновение индивидов, их диффузную циркуляцию, их бесполезное и опасное сгу-

[12] *Projet de règlement pour l'aciérie d'Amboise*, Archives nationales, f. 12 1301.

[13] Записка для короля по поводу Анжерской фабрики, производящей парусину, по кн.: V. Dauphin, *Recherches sur l'industrie textile en Anjou*, 1913, p. 199.

щение. Тактика борьбы с дезертирством, бродяжничеством, скоплениями людей. Требуется вести учет наличия и отсутствия, знать, где и как найти того или иного индивида, устанавливать полезные связи, разрывать все другие, иметь возможность ежеминутного надзора за поведением каждого, быть в состоянии оценивать его, подвергать наказанию, измерять его качества и заслуги. Словом, имеется в виду методика, нацеленная на познание, завладение и использование. Дисциплина организует аналитическое пространство.

И здесь тоже используется старый архитектурный и религиозный образец: монашеская келья. Даже если отделения, отводимые дисциплиной, становятся чисто идеальными, дисциплинарное пространство по сути своей всегда является пространством кельи. Необходимое одиночество и тела и души выражает определенный аскетизм: они должны, по крайней мере время от времени, в одиночестве преодолевать соблазны и, быть может, ощутить строгость Божьей кары. «Сон – образ смерти, дортуар – образ склепа... хотя дортуары общие, кровати расставлены таким образом и столь искусно закрываются занавесками, что девицы могут вставать и ложиться, не видя друг друга»[14]. Но это еще очень неразвитая форма.

3. Правило *функциональных размещений* мало-помалу посредством дисциплинарных институтов кодирует пространство, которое архитектура обычно оставляет свободным, предусматривая его разнообразное использование. Отводятся определенные места, что должно не только отвечать необходимости надзора и разрыва опасных связей, но и создавать полезное пространство. Этот процесс ясно

[14] *Règlement pour la communauté des filles du Bon Pasteur*, см. в: Delamare, *Traité de Police*, livre III, titre V, p. 507. См. также ил. 9.

просматривается в организации пространств больниц, особенно военных и флотских госпиталей. Во Франции экспериментальной площадкой и моделью послужил, видимо, госпиталь в Рошфоре*. Порт, к тому же военный порт, – с обращением товаров, с людьми, завербованными добровольно или насильно, приплывающими и отплывающими моряками, болезнями и эпидемиями – место дезертирства, контрабанды, распространения заразы: перекресток опасных смешений, место пересечения запрещенных циркуляций. Следовательно, флотский госпиталь должен лечить, но для этого – быть фильтром, устройством, которое улавливает и распределяет по клеточкам. Он должен удерживать под контролем все это движение и кишение, разрубая клубок противозаконностей и зла. Медицинское наблюдение над больными и борьба с заражением неразрывно связаны с иными видами контроля: военного контроля над дезертирами, налогового – над товарами, административного – над лекарствами, нормами довольствия и пайками, исчезновениями, излечениями, смертями, симуляцией. Отсюда потребность в строгом распределении и разбиении пространства. Первые меры, принятые в Рошфоре, относятся скорее к вещам, нежели к людям, скорее к ценным товарам, нежели к больным. Меры налогового и экономического надзора предшествуют методам медицинского наблюдения: хранение лекарств в запертых сундуках, ведение реестров их расходования. Несколько позже налаживается система проверки реального числа больных, их личности и принадлежности к подразделениям. Затем начинает регламентироваться их передвижение – их заставляют оставаться в палатах, к

каждой койке привязывают табличку с фамилией больного, каждый больной заносится в реестр, врач сверяется с ним во время обхода. Позднее приходят изоляция заразных больных и отдельные койки для них. Понемногу административное и политическое пространство соединяется с пространством терапевтическим. Оно имеет тенденцию к индивидуализации тел, болезней, симптомов, жизней и смертей; оно образует реальную картину налагающихся друг на друга и тщательно различаемых особенностей. Из дисциплины рождается терапевтически полезное пространство.

На заводах, возникших в конце XVIII века, принцип индивидуализирующего распределения усложняется. Речь идет о распределении индивидов в пространстве, в котором их можно изолировать и отыскать, но также о связи этого распределения с производственным механизмом, диктующим собственные требования. Распределение тел, пространственное устройство производственного механизма и различные виды деятельности должны быть увязаны вместе в распределении «должностей». Согласно этому принципу организована мануфактура Оберкампфа в Жуи*. Она состоит из ряда цехов, специализированных в соответствии с типами основных операций: цехов раклистов, проборщиков, колористов, щипальщиц, гравировщиков, красильщиков. Самое большое здание, построенное в 1791 г. Туссэном Баррэ, – четырехэтажное длиной сто десять метров. Первый этаж занят в основном цехом валковой набивки. Здесь 132 стола, поставленных в два ряда в 88-оконном помещении. Каждый раклист работает за столом вместе с «подборщиком», приготовляющим и накла-

дывающим краски. Всего здесь 264 человека. Рядом с каждым столом стоит своего рода рама для просушки только что изготовленной ткани[15]. Прохаживаясь по центральному проходу в цехе, можно осуществлять надзор одновременно и общий, и индивидуальный: отмечать присутствие рабочего, его прилежание, качество работы; сравнивать рабочих друг с другом, классифицировать их сообразно с их ловкостью и быстротой, следить за последовательными стадиями производства. Все эти ряды надзора образуют постоянную сетку; смешение устраняется[16]; производство подразделяется, и рабочий процесс организуется, с одной стороны, соответственно его фазам, стадиям или элементарным операциям, а с другой — соответственно выполняющим его индивидам, занятым в нем отдельным телам: каждая переменная этой силы — сила, быстрота, сноровка, постоянство — может наблюдаться, а следовательно, характеризоваться, оцениваться, учитываться и соотноситься с конкретным индивидом, который ее обнаруживает. Таким образом, совершенно четко рассредоточенная по всему ряду отдельных тел рабочая сила может быть разложена на индивидуальные единицы. При зарождении крупной промышленности под разделением процесса производства обнаруживается индивидуализирующее разложение рабочей силы; распределения дисциплинарного пространства часто обеспечивают то и другое.

4. В дисциплине элементы взаимозаменяемы, поскольку каждый из них определен местом, занимаемым им в ряду других, и промежутком, отделяющим его от других. Следовательно, единицей является не территория (единица господства), не место (единица расположения), а *ранг**:

[15] Регламент фабрики в Сен-Мор, см.: B. N. Ms. coll. Delamare. *Manufactures* III.

[16] Вот что сказал Ла Метри при посещении Ле Крезо: «Корпуса для столь великолепного предприятия и столь большого количества различных работ должны занимать достаточно большую площадь и не допускать ни малейшего смешения рабочих во время работы» (*Journal de physique*, t. XXX, 1787, p. 66).

место, занимаемое в классификации, место пересечения строки и столбца, интервал в ряду интервалов, которые можно просмотреть друг за другом. Дисциплина – искусство ранга и техника преобразования размещений. Она индивидуализирует тела посредством локализации, которая означает не закрепление их на определенном месте, а их распределение и циркулирование в сети отношений.

Рассмотрим, например, «учебный класс». В иезуитских коллежах еще можно найти структуру бинарной и единообразной организации. Классы, которые могут насчитывать двести-триста учеников, подразделяются на группы по десять человек. Каждая из групп во главе с декурионом размещалась в лагере римского или карфагенского типа. Каждой декурии соответствовала враждебная декурия. Общая форма – война и соперничество. Работа, учение и классификация осуществлялись в виде состязания, столкновения двух армий. Роль каждого ученика вписывалась в общую дуэль; он вносил свой вклад в победу или поражение лагеря. Каждому ученику отводилось место, соответствующее его функции и ценности как воина, в унитарной группе его декурии[17]. Надо отметить, кроме того, что эта римская комедия позволяла связать с двусторонним соперничеством пространственное расположение, вдохновленное легионом (с рангом, иерархией, пирамидальным надзором). Не следует забывать, что, вообще говоря, в эпоху Просвещения римская модель играла двойную роль: в ее республиканском аспекте она была самим воплощением свободы, в военном– идеальной схемой дисциплины. Рим XVIII столетия и Революции – Рим Сената, но также легиона, Рим Форума, но и лагерей.

[17] См.: C. de Rochemonteix, *Un collège au XVII^e siècle*, 1889, t. III, p. 51 ff.

Вплоть до Первой Империи фигура Рима несколько двусмысленно выражала юридический идеал гражданства и технику дисциплинарных методов. Как бы то ни было, все строго дисциплинарное в античной фабуле, постоянно разыгрываемой в иезуитских коллежах, взяло верх над тем, что было в ней от схватки и изображаемой войны. Постепенно, но особенно заметно с 1762 г., школьное пространство развертывается; класс становится однородным, он уже не состоит из индивидуальных элементов, распределенных бок о бок под контролем учителя. В XVIII веке «ранг» начинает определять основную форму распределения индивидов в школьном порядке. Ряды учеников в классах, коридорах и дворах. Ранг, присваиваемый каждому ученику в результате каждого задания или испытания. Ранг, достигаемый каждым из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Выстраивание классов друг за другом по старшинству, последовательность преподаваемых дисциплин, вопросы, рассматриваемые в порядке возрастающей сложности. И в этой совокупности обязательных выстраиваний каждый ученик в зависимости от возраста, успехов и поведения имеет то тот, то другой ранг. Он постоянно перемещается по рядам клеток: некоторые из них идеальны и выражают иерархию знаний или способностей, другие выражают распределение по ценности или заслугам материально, в пространстве коллежа или классной комнаты. Вечное движение, в котором индивиды заменяют друг друга в пространстве, разграниченном упорядоченными интервалами.

Организация пространства по рядам — одно из крупных технических изменений в начальном образовании.

Оно позволило изжить традиционную систему (ученик несколько минут занимается с учителем, в то время как остальные члены беспорядочной группы пребывают в праздности и без надзора). Предусмотрев индивидуальные места, оно сделало возможным контроль за каждым и одновременную работу всех. Образовалась новая экономия времени обучения. Школьное пространство стало функционировать как механизм обучения, но также надзора, иерархизации и вознаграждения. Ж. Б. де Ла Салль мечтал о классе, где пространственное распределение предусматривало бы сразу целый ряд различий: в зависимости от успехов учеников, достоинства каждого из них, положительных или отрицательных свойств характера, большего или меньшего прилежания, чистоплотности и состояния родителей. Таким образом, класс образовал бы единую большую таблицу* с многочисленными графами под пристальным «классификаторским» надзором учителя: «В каждом классе будут отведены специальные места для всех школьников на всех уроках, так что все ученики, слушающие один и тот же урок, будет сидеть на своем постоянном месте. Ученики, присутствующие на самых главных уроках, будут сидеть на ближайших к стене скамьях, а остальные, соответственно порядку уроков, смещаются к середине класса... У каждого ученика будет свое постоянное место, которое нельзя ни покинуть, ни поменять, разве что по распоряжению или с согласия школьного инспектора». Все должно быть устроено так, чтобы «те, чьи родители неопрятны и вшивы, были отделены от опрятных и чистоплотных; чтобы пустой и ветреный ученик сидел между двумя прилежными и серьезными, а рас-

путный — либо отдельно, либо между двумя набожными»[18].

Организуя «кельи», «места» и «ранги», дисциплина создает комплексные пространства: одновременно архитектурные, функциональные и иерархические. Пространства, которые обеспечивают фиксированные положения и перемещение. Они вырисовывают индивидуальные сегменты и устанавливают операционные связи. Они отводят места и определяют ценности. Они гарантируют повиновение индивидов, но также лучшую экономию времени и жестов. Смешанные пространства: реальные, поскольку они определяют расположение зданий, помещений, мебели, но также воображаемые, поскольку они проецируют на это устроение характеристики, оценки, иерархии. Первой крупной операцией дисциплины является, следовательно, образование «живых таблиц», преобразующих беспорядочные, бесполезные и опасные массы в упорядоченные множества. Создание «таблиц» — одна из огромных проблем научной, политической и экономической технологии XVIII века: устраивать ботанические и зоологические сады и одновременно создавать рациональные классификации живых существ; наблюдать, контролировать, упорядочивать обращение товаров и денег и при этом создавать экономическую таблицу, которая может служить как принцип увеличения благосостояния; надзирать за людьми, констатировать их присутствие или отсутствие и составлять общий и постоянный реестр вооруженных сил; распределять больных, отделять одних от других, тщательно подразделять больничное пространство и производить систематическую классификацию болезней —

[18] J.-B. de La Salle, *Conduite des écoles chrétiennes*, B. N. Ms. 11759, p. 248–249. Чуть ранее Батенкур предлагал разделить классные помещения на три части: «Самая почетная — для тех, кто учит латынь... Желательно, чтобы за столами было столько же мест, сколько и пишущих, дабы избежать неразберихи, какую любят устраивать лентяи». В другой части должны располагаться те, кто учится читать: скамья для богатых и скамья для бедных, «чтобы паразиты не прыгали от одних к другим». Третье отделение пред-

все это двойные операции, в которых неразрывно связаны друг с другом два составных элемента: распределение и анализ, контроль и понимание. В XVIII веке таблица – одновременно и техника власти, и процедура познания. Требуется и организовать множество, и обеспечить себя инструментом для его отслеживания и обуздания. Требуется навязать ему «порядок». Подобно полководцу (о котором писал Гибер), натуралист, врач, экономист «ослеплен необъятностью, ошеломлен массой объектов. Множество вещей, какими надо заниматься одновременно, придавливают его непосильным бременем. Совершенствуясь и приближаясь к истинным принципам, современная военная наука, возможно, становится проще и легче»; армии «с простыми, единообразными тактиками, которые могут быть приспособлены к любым движениям... легче перебрасывать и вести»[19]. Тактика – пространственное упорядочение людей. Таксономия – дисциплинарное пространство природных существ. Экономическая таблица – правильное движение богатств.

Но таблица не исполняет одну и ту же функцию в этих различных регистрах. На уровне экономики она позволяет измерять количества и анализировать движения. В форме таксономии она призвана характеризовать (а следовательно, уменьшать индивидуальные особенности) и образовывать классы (а следовательно, исключать соображения о количестве). Но в виде дисциплинарного распределения таблица, напротив, выполняет функцию обработки множественности как таковой, распределяя ее и извлекая из нее максимум полезных следствий. В то время как природная таксономия строится по оси, которая

назначается для новичков: «Когда их способности выявятся, они займут подобающее им место» (M. I. D. B., *Instruction méthodique pour l'école paroissiale*, 1669, p. 56–57). См. ил. 10–11.

[19] J. A. de Guibert, *Essai général de tactique*, 1772, I, Discours préliminaire, p. XXXVI.

связывает признак и категорию, дисциплинарная тактика располагается на оси, которая связывает единичное с множественным. Она позволяет и характеризовать индивида как индивида, и упорядочивать данную множественность. Она – непременное условие для контроля и использования совокупности различных элементов: основа микрофизики того, что можно назвать «клеточной»* властью.

Контроль над деятельностью

1. *Распределение рабочего времени* – старое наследие. Строгая модель была подсказана, несомненно, монастырскими общинами. Она быстро распространилась. Три ее основных метода – установление ритмичности, принуждение к четко определенным занятиям, введение повторяющихся циклов – очень скоро обнаружились в коллежах, мастерских и больницах. Новые дисциплины без малейшего труда нашли себе место в старых схемах; воспитательные дома и благотворительные заведения продолжали размеренную жизнь монастырей, при которых часто и существовали. Строгость промышленной эпохи долго сохраняла религиозный облик: «Всяк... приходящий утром на рабочее место, прежде всего должен вымыть руки, вверить свой труд воле Господа, осенить себя крестом и начать работать»[20]. Но даже в XIX веке сельских жителей, востребованных тогда в промышленности, порой объединяли в конгрегации, чтобы приучить к работе в цехах. Рабочих втискивали в рамки «заводов-монастырей». Воен-

[20] Статья 1 регламента фабрики в Сен-Море.

ная дисциплина в протестантских армиях Мориса Оранского* и Густава Адольфа** была установлена под влиянием ритмики той эпохи, акцентированной благочестивыми упражнениями. Армейская жизнь, как сказал позднее Буссанель, должна обладать даже некоторыми «совершенствами самого монастыря»[21]. Столетиями религиозные ордена были учителями дисциплины: они были специалистами по времени, великими мастерами по ритму и регулярной деятельности. Но дисциплины изменяют методы упорядочения времени, из которых они произошли. Прежде всего, они их совершенствуют. Начинают считать в четвертях часа, минутах, секундах. Разумеется, это произошло в армии: Гибер систематически проводил хронометраж стрельбы, предложенный ранее Вобаном***. В начальных школах разбивка времени становится все более дробной; все виды деятельности до мелочей регулируются приказами, которые должны выполняться немедленно: «При последнем ударе часов один из школьников звонит в колокол, и с первым его звоном все школьники становятся на колени, скрещивают руки и опускают глаза. По окончании молитвы учитель подает один сигнал, означающий, что ученики должны подняться, еще один — что они должны воздать хвалу Спасителю, и третий, приглашающий их сесть»[22]. В начале XIX века для школ взаимного обучения предлагается следующее расписание: «8.45: появление наставника, 8.52: наставник приглашает детей, 8.56: приход детей и молитва, 9.00: дети рассаживаются по скамьям, 9.04: первый диктант на грифельных досках, 9.08: окончание диктанта, 9.12: второй диктант и т. д.[23] Постепенное распространение наемного труда влечет за со-

[21] L. de Boussanelle, *Le Bon Militaire*, 1770, p. 2. О религиозном характере дисциплины в шведской армии см.: *The Swedish Discipline*, London, 1632.

[22] J.-B. de La Salle, *Conduite des écoles chrétiennes*, B. N. Ms. 11759, p. 27–28.

[23] Балли (Bally), цит. по диссертации: R. R. Tronchot, *L'Enseignement mutuel en France*, t. I, p. 221. (Машинопись.)

бой все более детальное дробление времени: «Если рабочие придут более чем через четверть часа после звона колокола...»[24]; «если рабочего отвлекают во время работы и он теряет больше пяти минут...»; «тот, кого нет на работе в положенный час...»[25]. Но стремятся также обеспечить качественное использование рабочего времени: непрерывный контроль, давление со стороны надзирателей, устранение всего, что может помешать или отвлечь. Надо создать полностью полезное время: «Строго запрещается во время работы развлекать товарищей жестами или иным образом, играть в игры, есть, спать, сплетничать и смешить»[26]. И даже во время обеденного перерыва «не допускается никаких россказней, похвальбы своими похождениями или другой болтовни, отвлекающей рабочих от дела». Кроме того, «строго воспрещается под каким бы то ни было предлогом приносить вино на фабрику и выпивать в цехах»[27]. Измеряемое и оплачиваемое время должно быть также временем без примесей и изъянов, высококачественным временем, когда тело прилежно предается работе. Точность и прилежание являются наряду с размеренностью основными добродетелями дисциплинарного времени. Но не это самое большое новшество. Другие методы более характерны для дисциплин.

2. *Детализация действия во времени.* Рассмотрим, например, два способа контроля над марширующим войском. Начало XVII века: «Приучать солдат, шагающих шеренгами или батальоном, маршировать под барабанный бой. А для этого необходимо начать с правой ноги, необходимо, чтобы вся часть одновременно поднимала правую ногу»[28]. В середине XVIII века предусматриваются четыре

[24] *Projet de règlement pour la fabrique d'Amboise*, art. 2, Archives nationales F 12 1301. Уточняется, что это относится и к слельщикам.

[25] Регламент, предложенный для фабрики М. С. Оппенгейма, 1809, ст. 7–8; по кн.: Hayem, *Mémoires et documents pour revenir à l'histoire du commerce*.

[26] Регламент фабрики М. С. Оппенгейма, ст. 16.

[27] *Projet de règlement pour la fabrique d'Amboise*, art. 4.

[28] L. de Montgommery, *La Milice française*, éd. de 1636, p. 86.

типа шага: «Длина короткого шага – один фут, обычного шага, удвоенного шага, походного шага – два фута, причем измеряется она от пятки до пятки; что же касается продолжительности, то короткий шаг и обычный шаг производятся за одну секунду; за это же время делаются два удвоенных шага; шаг походный занимает несколько более секунды. Шаг на повороте производится за ту же секунду; его длина максимум 18 дюймов от пятки до пятки... Обычный шаг выполняется вперед, с высоко поднятой головой и выпрямленным телом; равновесие удерживается таким образом, что тяжесть тела целиком приходится на одну ногу, тогда как другая выносится вперед, причем икра напряжена, носок несколько повернут наружу и вниз, что позволяет без труда мягко касаться земли, и нога опускается на землю сразу вся и плавно, без топота»[29]. За промежуток времени, разделяющий эти два предписания, были введены в действие новый пучок принуждений, другая степень точности в разбиении жестов и движений, другой способ подчинения тела временны́м императивам.

Указ 1766 г. определяет не распределение времени – не общую рамку деятельности, но скорее коллективный и обязательный ритм, навязанный извне; «программу», которая обеспечивает детальную разработку самого действия, контролирует изнутри его выполнение и стадии. От формы приказа, измерявшего или подкреплявшего жесты, перешли к сетке, сковывающей и поддерживающей жесты во всей их последовательности. Устанавливается своего рода анатомо-хронологическая схема поведения. Действие разбивается на элементы. Определяется положение тела, конечностей, суставов. Для каждого движе-

[29] *Ordonnance du F^r janvier 1766, pour régler l'exercice de l'infanterie.*

ния предусматриваются направление, размах, длительность, предписывается последовательность его выполнения. В тело проникает время, а вместе с ним – все виды детальнейшего контроля, осуществляемого властью.

3. Отсюда *корреляция тела и жеста*. Дисциплинарный контроль заключается не только в обучении ряду конкретных жестов или их навязывании. Он насаждает наилучшее соотношение между жестом и общим положением тела, которое является условием его эффективности и быстроты. При надлежащем использовании тела, обеспечивающем надлежащее использование времени, ничто не должно оставаться бездействующим или бесполезным: должны быть привлечены все средства для поддержки требуемого действия. Хорошо дисциплинированное тело образует операционный контекст для малейшего жеста. Хороший почерк, например, предполагает некую гимнастику – прямо-таки установившийся порядок, строгие правила которого опутывают все тело от носка до кончика указательного пальца. Надо «не сутулиться, слегка повернуть тело и высвободить левую сторону, чуть наклониться, так чтобы, поставив локоть на стол, можно было опереться подбородком на кисть, если только это не мешает видеть. Левая нога под столом должна быть выдвинута чуть дальше правой. Между телом и столом должно оставаться расстояние в два пальца: не только потому, что это позволяет писать более энергично, но и потому, что нет ничего более вредного для здоровья, нежели привычка прижиматься животом к столу. Часть левой руки от локтя до кисти должна лежать на столе. Правая рука должна быть примерно на три пальца удалена от тела и примерно на пять

пальцев — от стола, легко опираясь на него. Учитель должен объяснить школьникам, какой должна быть их осанка, и знаком или как-то иначе поправлять их, если они отклоняются от оптимального положения»[30]. Дисциплинированное тело — подставка для эффективного жеста.

4. *Связь между телом и объектом.* Дисциплина определяет, какие отношения тело должно поддерживать с объектом, которым оно манипулирует. Она устанавливает детально выверенное сцепление между ними. «Ружье вперед. В три такта. Ружье поднять правой рукой, приближая его к телу, чтобы держать его перпендикулярно правому колену. Конец ствола — на уровне глаз. Схватить ружье четким взмахом левой руки, причем эта рука прижата к телу на уровне пояса. Второй такт: левой рукой вынести ружье перед собой, расположив ствол отвесно прямо между глазами. Правой рукой схватить приклад, рука вытянута, спусковая скоба упирается в указательный палец, левая рука находится на уровне насечки, большой палец на стволе и прижат к багету. Третий такт: отвести от ружья правую руку, затвор повернут наружу против груди, правая рука полувытянута, локоть прижат к телу, большой палец лежит на затворе, упираясь в первый винт, курок прижат к указательному пальцу, ствол расположен вертикально»[31]. Перед нами пример того, что можно назвать инструментальным кодированием тела. Оно заключается в разложении целостного жеста на два параллельных ряда: ряд используемых частей тела (правая рука, левая рука, различные пальцы руки, колено, глаз, локоть и т. д.) и ряд частей объекта, подвергаемого манипуляциям (ствол, насечка, курок, винт и т. д.); затем эти два ряда частей связываются

[30] J.-B. de La Salle, *Conduite des Écoles chrétiennes*, éd. de 1828, p. 63–64. См. ил. 8.
[31] *Ordonnance du 1er janvier 1766*, titre XI, art. 2.

вместе посредством некоторого числа простых жестов (нажать, согнуть); наконец, устанавливается каноническая последовательность, где каждое из этих соотношений занимает определенное место. Этот обязательный синтаксис и есть то, что военные теоретики XVIII века называли «маневром». Традиционный рецепт уступает место четким и принудительным предписаниям. На всю поверхность соприкосновения тела с объектом, подвергаемым манипуляции, проникает власть, скрепляющая их друг с другом. Она образует комплексы: тело–оружие, тело–инструмент, тело–машина. Отсюда предельно далеки те формы подчинения, что требовали от тела лишь знаков или продуктов, форм выражения или результата труда. Насаждаемая властью регламентация является в то же время законом построения операции. Так проявляется еще одно свойство дисциплинарной власти: она выполняет функцию не столько изъятия, сколько синтеза, не столько вымогательства продуктов труда, сколько принудительной связи с производственной машиной.

5. *Исчерпывающее использование.* Принцип, определявший распорядок дня в его традиционной форме, был в сущности негативным. Это принцип антипраздности: он запрещает попусту тратить время, которое отводится Богом и оплачивается людьми. Распорядок дня должен предотвращать опасность пустой траты времени, представляющей собой моральный проступок и экономическую нечестность. Дисциплина же обеспечивает позитивную экономию. Она устанавливает принцип теоретически постоянно возрастающего использования времени: скорее даже его исчерпывания, чем использования. Речь идет о том,

чтобы извлекать из времени все больше доступных моментов, а из каждого момента – все больше полезных сил. Это значит, что надо стремиться более интенсивно использовать малейший миг, как если бы время в самом своем фрагментировании было неисчерпаемым или как если бы, по крайней мере путем все более детального внутреннего устроения, можно было стремиться к идеальной точке, где были бы достигнуты максимальная быстрота и максимальная эффективность. Именно эта техника воплотилась в знаменитых регламентах прусской пехоты, которым после побед Фридриха II[32] стала подражать вся Европа: чем более детально подразделяется время, чем больше множатся его доли, тем лучше можно расчленить его посредством развертывания его внутренних элементов перед контролирующим их взором, тем более вероятна возможность ускорить операцию или, по крайней мере, упорядочить ее в соответствии с ее оптимальной скоростью. Отсюда регламентация времени действия, которая была столь важна в армии и должна была стать таковой во всей технологии человеческой деятельности: прусский регламент 1743 г. предусматривал 6 тактов в приставлении оружия к ноге, 4 – в выставлении его вперед, 13 – во вскидывании его на плечо и т. д. Хотя и другими способами, но школа взаимного обучения тоже была устроена как аппарат для более интенсивного использования времени. Ее организация позволила уйти от линейного, последовательного характера обучения: она устанавливала многообразие операций, производимых одновременно различными группами учеников под руководством наставников и помощников таким образом, что каждый момент был насыщен многи-

[32] Успех прусских войск можно объяснить «лишь совершенством их дисциплины и упражнений; значит, выбор упражнений – вещь не безразличная; в Пруссии эту проблему с неослабным прилежанием изучали в течение сорока лет» (Maréchal de Saxe, *Lettre au comte d'Argenson*, 25 février 1750. Arsenal, Ms. 2701, а также: *Mes rêveries*, t. II, p. 249). См. ил. 3 и 4.

ми различными, но упорядоченными деятельностями. С другой стороны, ритм, обусловленный сигналами, свистками и командами, диктовал для всех временны́е нормы, призванные ускорять процесс учебы и обучать скорости как добродетели[33]. «Единственная цель этих команд... приучить детей быстро и хорошо выполнять одни и те же операции и за счет скорости максимально снижать потерю времени на переход от одной операции к другой»[34].

Посредством этой техники подчинения начинает образовываться новый объект. Он постепенно вытесняет механическое тело – тело, которое состояло из твердых элементов и приданных ему движений и образ которого так давно преследовал мечтавших о дисциплинарном совершенстве. Этот новый объект – природное тело, носитель сил и местонахождение длительности; тело, подвергаемое специфическим операциям, имеющим свой порядок, время, внутренние условия, составные элементы. Становясь мишенью новых механизмов власти, тело подлежит новым формам познания. Это скорее тело упражнения, чем умозрительной физики. Скорее тело, которым манипулирует власть, нежели тело, наделенное животным сознанием. Тело полезной муштры, а не рациональной механики, но тело, в котором как раз благодаря этому факту напоминают о себе некоторые естественные требования и функциональные ограничения. Именно это тело открывает Гибер, критикуя слишком искусственные движения. В упражнении, которое ему навязывают и которому оно сопротивляется, тело обнаруживает свои существенные соотношения и спонтанно отвергает несовместимое с ними: «Загляните в большинство наших военных школ, и вы

[33] Упражнение в письме: «9: Руки на колени. Эта команда дается звонком; 10: руки на стол, голову вверх; 11: очистить грифельные доски: все вытирают доски слюной или, лучше, холщовой тряпкой; 12: показать доски; 13: старосты, проследите. Они осматривают доски своих помощников, а затем тех, кто сидит рядом с ними на одной скамье. Помощники осматривают доски сидящих на их скамье, и все возвращаются на места».

[34] Самюэль Бернар, Доклад в обществе взаимного обучения (30 октября 1816 г.).

увидите там несчастных солдат, застывших в принужденных и вымученных позах, увидите, что их мускулы напряжены, кровообращение нарушено... Если мы задумаемся о замысле природы и строении человеческого тела, то поймем, какое положение и осанку природа предписывает солдату. Голову надлежит держать прямо, она должна возвышаться над плечами под прямым углом. Она не должна быть повернута ни влево, ни вправо, поскольку из-за связи между шейными позвонками и лопатками ни один из этих позвонков не может быть повернут, не вызывая легкого движения соответствующей стороны, и поскольку если тело уже не располагается прямо, то солдат не может идти прямо вперед, а его тело – служить точкой равнения... Поскольку берцовая кость, на которую уложение указывает как на точку, куда должен упираться край приклада, расположена у людей неодинаково, одни должны держать ружье правее, а другие – левее. По той же причине различного телосложения спусковая скоба должна быть более или менее прижата к телу в зависимости от толщины наружной стороны плеча и т. д.»[35]

Мы видели, как процедуры дисциплинарного распределения нашли свое место в современных методах классификации и табулирования, но также и то, как они ввели в них специфическую проблему индивидов и множественности. Сходным образом дисциплинарный контроль над деятельностью имел место в целом ряде теоретических и практических исследований природной механики тел; но он начал открывать в этих телах специфические процессы; поведение и его органические требования постепенно заменили простую физику движения. Тело, которое долж-

[35] J. A. de Gilbert, *Essai général de tactique*, 1772, t. I, p. 21–22.

но быть послушным в своих мельчайших операциях, противопоставляет и обнаруживает условия функционирования, присущие организму. Коррелятом дисциплинарной власти является индивидуальность, не только аналитическая и «клеточная», но и природная и «органическая».

Организация генезисов

В 1667 г. эдикт, учреждавший мануфактуру Гобеленов*, предусматривал устроение школы. Шестьдесят детей-стипендиатов отбирались суперинтендантом королевских зданий, поручались на некоторое время учителю, который должен был дать им «воспитание и просвещение», а затем отдавались в учение к различным мастерам-гобеленщикам (получавшим за наставничество вознаграждение, вычитаемое из стипендии учеников). После шести лет ученичества, четырех лет службы и квалификационного экзамена ученики получали право «открывать и держать лавку» в любом городе королевства. Мы видим здесь характеристики, свойственные цеховому ученичеству: индивидуальная и вместе с тем общая зависимость от хозяина; устанавливаемая уставом длительность обучения, завершающегося квалификационным экзаменом, но не расписываемого в соответствии с четкой программой; широкий обмен между мастером, передающим свои знания, и подмастерьем, состоящим в услужении, помогающим и зачастую оплачивающим труд учителя. Форма услужения по хозяйству смешивается с передачей знаний[36]. В 1737 г. эдиктом была основана школа рисования для подмастерь-

[36] Это смешение четко обнаруживается в некоторых ученических контрактах: под угрозой штрафа мастер обязуется передать ученику – в обмен на его деньги и труд – все свои знания без утайки. См., например: F. Grosrenaud, *La Corporation ouvrière à Besançon*, 1907, p. 62.

ев мануфактуры Гобеленов: она была задумана не как замена обучения у мастеров, а как дополнение к нему. Здесь предусматривался совсем другой распорядок дня. Ученики собираются в школе на два часа каждый день, кроме воскресений и праздников. Проводится перекличка по вывешенному на стене списку, отсутствующие заносятся в журнал. В школе три класса. Первый класс состоит из тех, кто не имеет ни малейшего представления о рисовании; в зависимости от индивидуальных способностей их заставляют копировать более или менее трудные образцы. Второй класс – для тех, кто «уже обладает некоторыми знаниями» или окончил первый класс; они должны воспроизводить картины «на глаз, не калькируя», но передавая только рисунок. В третьем классе учатся владеть цветом и писать красками, рисуют пастелью, изучают основы теории и практики красильного дела. Через определенные промежутки времени ученики выполняют индивидуальные задания; каждая из работ, с проставленными фамилией автора и датой исполнения, сдается учителю; лучшие награждаются. В конце года все работы собираются и сравниваются, что позволяет судить об успехах, достоинствах на данный момент и сравнительном положении каждого ученика. Выносится решение о том, кто переводится в старший класс. В общем журнале, который ведут учителя и их помощники, ежедневно отмечаются поведение учеников и все происходящее в школе; периодически его передают для ознакомления инспектору[37].

Школа мануфактуры Гобеленов – лишь один пример важного явления: развития в классический век новой техники распределения ответственности за время индивиду-

[37] См.: E. Gerspach. *La Manufacture des Gobelins*, 1892.

альных жизней; управления соотношениями времени, тел и сил; обеспечения суммирования длительности; превращения проходящего времени в вечно растущую выгоду или пользу. Как капитализировать время индивидов, накопить его в каждом из них, в их телах, силах и способностях, да так, чтобы его можно было использовать и контролировать? Как организовать выгодные длительности? Дисциплины, расчленяющие пространство, разбивающие и вновь собирающие деятельность, тоже должны пониматься как машины для суммирования и капитализации времени. Это достигается посредством четырех процедур, с наибольшей очевидностью проявляющихся в военной организации.

1°. Подразделять длительность на последовательные или параллельные отрезки, каждый из которых должен быть наполнен определенной деятельностью и продолжаться определенное время. Например, отделять время обучения от периода практики. Не смешивать обучение рекрутов с упражнениями ветеранов. Открывать специальные военные школы, обучающие армейской службе (в 1764 г. создается Парижская Школа*, а в 1776 г. – двенадцать школ в провинции). Производить набор в профессиональные солдаты с самых малых лет, брать детей «под опеку родины, воспитывать в особых школах»[38], последовательно преподавать выправку, маршировку, обращение с оружием, стрельбу и не переходить от одного вида деятельности к другому до тех пор, пока ребенок не овладел должным образом первым («показывать солдату все упражнения разом – одна из основных ошибок»)[39]. Короче говоря, разбивать время на отдельные и организованные ряды. 2°. Организовывать эти ряды в соответствии с некой ана-

[38] Проект Ж. Сервана, см.: J. Servan, *Le Soldat citoyen*, 1780, p. 456.

[39] Регламент прусской пехоты 1743 г., Arsenal, Ms. 4076.

литической схемой — как последовательности максимально простых элементов, соединяющихся в порядке возрастающей сложности. Это значит, что обучение отходит от принципа подражания. В XVI веке военное упражнение заключалось главным образом в имитации сражения в целом или его части и общем умножении ловкости и силы солдата[40]. В XVIII веке обучение «приемам обращения с оружием» основывается на «элементарных» действиях, а не на «следовании образцу»: научают простым жестам — положению пальцев, сгибанию ноги, движению рук, — являющимся к тому же основными компонентами полезного поведения и обеспечивающим общую тренировку силы, ловкости, послушности. 3°. Доводить до завершения временны́е отрезки, определять их длительность, увенчивать их экзаменом, выполняющим тройственную функцию. Экзамен показывает, достиг ли индивид требуемого уровня, гарантирует, что его обученность соответствует обученности других, и определяет способности каждого индивида. Когда сержанты, капралы и т. п., которым «вверили обучение других, убедятся, что данный солдат готов к переходу в первый класс, они представляют его сначала офицерам своей роты, подвергающим его детальному экзамену. Если будет решено, что он не вполне овладел необходимыми навыками, то его не переводят. Если же окажется, что он готов к переходу в следующий класс, то означенные офицеры сами представят его командующему полком, который (если сочтет нужным) встретится с ним и поручит старшим офицерам проэкзаменовать его. Достаточно малейшего промаха, чтобы солдат не был принят. Никто не может перейти из второго класса в первый до тех пор, по-

[40] Ф. де ла Ну, выступивший в конце XVI века с инициативой о создании военных академий, полагал, что в них должны обучаться «обращению с лошадьми, владению кинжалом со щитом и без щита, фехтованию, верховой езде, умению прыгать; а если добавятся плавание и борьба — то тем лучше, ибо все это делает человека более выносливым и ловким» (*Discours politiques et militaires*, éd. 1614, p. 181–182).

ка не сдаст этот первый экзамен»[41]. 4°. Устанавливать серии. Предлагать каждому индивиду (сообразно с его уровнем, выслугой лет, рангом) подходящие для него упражнения. Общие упражнения играют дифференцирующую роль, а каждый «разряд» включает специфические упражнения. По окончании каждой серии начинаются другие, которые, в свою очередь, разветвляются и подразделяются. Таким образом, каждый индивид вовлечен во временну́ю серию, определяющую его уровень или ранг. Дисциплинарная полифония упражнений: «Солдаты второго класса должны упражняться каждое утро под началом сержантов, капралов, старшин, солдат первого класса... Солдаты первого класса упражняются по воскресеньям под началом командира отделения... Капралы и старшины упражняются по вторникам во второй половине дня под руководством сержантов их роты, а эти последние, в свою очередь, упражняются днем 2, 12 и 22-го числа каждого месяца под руководством старших офицеров»[42].

Именно это дисциплинарное время постепенно внедряется в педагогическую практику, обособляя время обучения и отделяя его от времени взрослости, времени владения мастерством. Устанавливая различные стадии, отделенные друг от друга все более трудными экзаменами. Вводя программы, каждая из которых должна выполняться на определенной стадии и содержать упражнения возрастающей трудности. Квалифицируя индивидов в соответствии с их успехами в «сериях» обучения. Дисциплинарное время заменило «начальное» время традиционного обучения (все время, контролируемое лишь одним учителем и оцениваемое единственным экзаменом) своими многочисленными

[41] *Instruction par l'exercice de l'infanterie*, 14 мая 1754 г.
[42] *Ibid.*

и все более сложными сериями. Формируется целая аналитическая педагогика, чрезвычайно детализированная (она разбивает предмет на простейшие элементы, иерархически выстраивает мелкие различия на каждой стадии развития) и исторически весьма рано сложившаяся (во многом она предвосхищает «генетические» анализы идеологов – анализы происхождения, технической моделью которых она, видимо, является). В самом начале XVIII века Демия хотел разделить обучение чтению на семь степеней: первая – для тех, кто начинает учить буквы, вторая – для читающих по слогам, третья – для соединяющих слоги и складывающих их в слова, четвертая – для тех, кто читает латинские тексты фразами или от одного знака препинания до другого, пятая – для начинающих читать по-французски, шестая – для читающих лучше других, седьмая – для тех, кто может читать рукописи. Но если учеников много, то следует ввести дальнейшие подразделения. Так, в первом классе должно быть четыре группы: первая – для тех, кто учит «простые буквы», вторая – для тех, кто учит смешанные буквы, третья включает тех, кто учит краткие буквы, четвертая – тех, кто учит двойные буквы. Второй класс делится на три группы: те, кто «произносит вслух каждую букву, прежде чем образовать слог (D.O., DO)»; те, «кто читает по буквам самые трудные слоги, такие как *bant*, *brand*, *spinx*», и т. д.[43] Каждая стадия в этой комбинации элементов должна быть вписана в большую временну́ю серию, обеспечивающую естественное развитие ума и являющуюся кодом образовательных процедур.

Распределение последовательных деятельностей по рядам – «сериям» – дает власти возможность выгодно ис-

[43] Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 19–20.

пользовать длительность: возможность детального контроля и точного вмешательства (в форме дифференциации, исправления, наказания, устранения) в любой момент времени; возможность характеризовать, а следовательно, использовать индивидов в соответствии с уровнем серии, которую они проходят; возможность накапливать время и деятельность, вновь открывать их суммированными и годными к использованию в конечном результате, представляющем собой предельную способность индивида. Рассредоточенное время собирается воедино, для того чтобы произвести выгоду, тем самым овладевая ускользающей длительностью. Власть непосредственно связана со временем; она обеспечивает контроль над ним и гарантирует его использование.

Дисциплинарные методы обнаруживают линейное время, моменты которого присоединяются друг к другу и которое направлено к устойчивой конечной точке. Словом, время «эволюции». Но следует помнить, что наряду с этим административные и экономические техники контроля обнаруживают социальное время серийного, направленного и кумулятивного типа: открытие эволюции как «прогресса». Дисциплинарные техники обнаруживают индивидуальные серии: открытие эволюции как «генезиса», происхождения. Прогресс обществ и происхождение индивидов — эти два крупнейших «открытия» XVIII столетия — возможно, соотносятся с новыми методами власти, а точнее — с новым способом управлять временем и делать его полезным путем разбивки на отрезки и серии, путем синтеза и накопления. Макро- и микрофизика власти сделали возможным не изобретение истории

(в этом давно уже не было нужды), а органическое вхождение временно́го, единого, непрерывного, кумулятивного измерения в отправление контроля и практики подчинений. «Эволюционная» историчность, какой она тогда сформировалась – и столь глубоко укоренилась, что и поныне является для многих самоочевидной, – связана с неким режимом функционирования власти. Как, несомненно, и «история-воспоминание» хроник, генеалогий, подвигов, царствований и деяний долго была связана с другой модальностью власти. С появлением новых методов подчинения «динамика» непрерывных эволюций начинает заменять «династику» торжественных событий.

Во всяком случае, маленький временно́й континуум индивида как генезиса определенно представляется (подобно индивиду как ячейке или индивиду как организму) результатом и объектом дисциплины. И в центре этого серийного разбиения времени находится процедура, являющаяся здесь тем же, чем было составление «таблицы» для распределения индивидов и разбивки на ячейки или «маневр», – для экономии деятельностей и органического контроля. Эта процедура – «упражнение». Упражнение есть техника, посредством которой телам диктовались задания – одновременно повторяющиеся и различные, но всегда распределенные в порядке усложнения. Направляя поведение к некоему конечному состоянию, упражнение позволяет непрерывно характеризовать индивида либо относительно этого состояния, либо относительно прочих индивидов, либо относительно типа его пути. Тем самым упражнение обеспечивает, в форме преемственности и принуждения, рост, наблюдение и оценку. Прежде чем

принять столь строгую дисциплинарную форму, упражнение пережило долгую историю: оно обнаруживается в военной, религиозной и университетской практиках, а также в ритуале посвящения, подготовительной церемонии, театральной репетиции и экзамене. Его линейная и постоянно прогрессирующая организация, его генетическое развитие во времени возникают позднее (по крайней мере в армии и школе) и имеют, несомненно, религиозные истоки. Во всяком случае, идея образовательной «программы», сопровождающей ребенка вплоть до завершения его учебы в школе и предполагающей от года к году и от месяца к месяцу упражнения возрастающей трудности, впервые возникла, видимо, в одной религиозной группе, в «Братстве общинной жизни»[44]. Вдохновленные Рюйсбруком* и рейнским мистицизмом, братья перенесли некоторые их духовные техники на обучение — и не только писцов, но и юристов и торговцев. Тема совершенства, к которому ведет ученика достойный подражания учитель, становится у них темой авторитарного совершенствования учеников учителем. Все более суровые упражнения, предполагаемые жизнью аскета, становятся у них все более сложными заданиями, которые знаменуют собой постепенное достижение знаний и примерного поведения. Стремление всей общины к спасению становится коллективным и постоянным состязанием индивидов, классифицируемых относительно друг друга. Возможно, именно эти процессы общинной жизни и общего спасения образовали первое ядро методов, направленных на выработку индивидуально характеризуемых, но коллективно полезных пригодностей[45]. В своей мистической или аскетиче-

[44] См.: G. Godina Meir, *Aux sources de la pédagogie des Jésuites*, 1968, p. 160 ff.

[45] В школах Льежа, Девенпорта, Цволле, Везеля, а также благодаря Иоганну Штурму** и его проекту (1538) организации гимназии в Страсбурге. См.: *Bulletin de la société d'histoire du protestantisme*, t. XXV, p. 499–505.

Заметим, что отношения между армией, религиозной организацией и педагогикой чрезвычайно сложные. «Декурия», единица римской армии, действует в бенедектинских обителях как единица организации работы и, несомненно, контроля. «Братья

ской форме упражнение было способом упорядочения земного времени ради достижения спасения. Постепенно в ходе истории Запада оно изменяет направление, сохраняя при этом некоторые свои характеристики; оно служит для экономии времени жизни, для накопления его в полезной форме и для отправления власти над людьми посредством таким образом устроенного времени. Упражнение, став элементом политической технологии тела и длительности, не завершается в потустороннем, а стремится к подчинению, никогда не достигающему своего предела.

Сложение сил

«Для начала избавимся от старого предрассудка, будто сила войска умножается с увеличением его численности. Физические законы движения становятся химерами, когда их пытаются применить к тактике»[46]. С конца XVII века техническая проблема пехоты состоит в том, чтобы освободиться от физической модели массы. Вооруженные пиками и мушкетами – оружием не быстрым и не точным, практически не позволявшим целиться и попадать в цель, – войска использовались как снаряд, как стена или крепость: «грозная инфантерия испанской армии». Распределение солдат в этой массе производилось главным образом в соответствии с выслугой и доблестью; в центре ставились новобранцы, призванные обеспечивать вес и объем и придавать плотность всему корпусу; впереди по углам и на флангах – самые отважные или пользующиеся репутацией наиболее опытных. В классическую эпоху пе-

общинной жизни» позаимствовали ее и приспособили к собственным педагогическим нуждам: ученики группируются по 10 человек. Именно эту единицу переняли иезуиты в сценографии своих коллежей, тем самым введя в них военную модель. Но декурию, в свою очередь, заменила еще более военизированная схема, предусматривающая ряды, колонны, строй.

[46] J. A. de Guibert, *Essai général de tactique*, 1772, t. I, p. 18. Фактически, эта очень старая проблема вновь вышла на передний план в XVIII веке по экономическим и тех-

решли к целому множеству тонких взаимосвязей. Единица – полк, батальон, отделение, а позднее «дивизия»[47] – становится своего рода машиной с многочисленными деталями, которые перемещаются, с тем чтобы прийти к некой конфигурации и достичь конкретного результата. Каковы причины этого изменения? Некоторые из них – экономические: надо было сделать каждого индивида полезным, а муштру, содержание и вооружение войск – рентабельными. Надо было придать каждому солдату, этой драгоценной единице, максимальную эффективность. Но экономические причины смогли стать определяющими лишь благодаря техническому новшеству – изобретению ружья[48]. Более точное, более быстрое, чем мушкет, оно увеличивает значение ловкости солдата; лучше поражающее конкретную цель, оно позволяет использовать огневую мощь на уровне индивида; и наоборот, оно превращает каждого солдата в возможную мишень, требуя к тому же большей мобильности. Следовательно, ружье повлекло за собой исчезновение техники масс, уступившей место искусству распределения единиц и людей в протяженные, относительно гибкие и мобильные линии. Отсюда необходимость выработки рассчитанной практики индивидуальных и коллективных расположений, движений групп и отдельных элементов, изменения позиций, перехода от одной расстановки к другой. Короче говоря, необходимость изобретения механизма, принципом действия которого была бы уже не подвижная или неподвижная масса, а геометрия делимых отрезков с ее основополагающей единицей, представляемой мобильным солдатом с ружьем[49]. И несомненно, ниже солдата – мельчайшие жесты, эле-

ническим причинам, которые мы рассмотрим; упомянутый «предрассудок» очень часто обсуждался и другими, помимо Гибера: последователями Фоляра, Пиреха, Менильдюрана.

[47] В том смысле, в каком этот термин употребляется начиная с 1759 г.

[48] Движение, введшее ружье в широкий обиход, можно примерно датировать 1699 г., когда произошла битва под Стейнкерком*.

[49] Относительно важности упомянутой геометрии см. у А. Бозобра: «Военная наука по существу геометрическая... Построение батальона и эскадрона во весь фронт и

ментарные этапы действий, фрагменты занимаемых или пересекаемых пространств.

Те же проблемы возникают, когда требуется образовать производительную силу, эффективность которой должна превышать сумму составляющих ее элементарных сил: «По сравнению с равновеликой суммой отдельных индивидуальных рабочих дней комбинированный рабочий день производит большие массы потребительских стоимостей и уменьшает поэтому рабочее время, необходимое для достижения определенного полезного эффекта. В каждом отдельном случае такое повышение производительной силы труда может достигаться различными способами: или повышается механическая сила труда, или расширяется пространственно сфера ее воздействия, или арена производства пространственно суживается по сравнению с масштабом производства, или в критический момент приводится в движение большое количество труда в течение короткого промежутка времени... Но во всех этих случаях специфическая производительная сила комбинированного рабочего дня есть общественная производительная сила труда, или производительная сила общественного труда. Она возникает из самой кооперации»[50].

Так возникает новое требование, обращенное к дисциплине: построить машину, действие которой будет максимально усилено благодаря согласованному сопряжению составляющих ее элементарных деталей. Отныне дисциплина – не просто искусство распределения тел, извлечения из них времени и накопления этого времени, а искусство сложения сил в целях построения эффективной машины. Это требование выражается несколькими способами.

на такой высоте возможно только как результат пока еще неведомой, но глубокой геометрии» (J. de Beausobre, *Commentaires sur les défenses des places*, 1757, t. II, p. 307).

[50] *К. Маркс.* Капитал. Кн. I, отд. 4, гл. XIII. (Цит. по изд.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М., 1960, с. 340–341. – *Ped.*) Маркс не раз подчеркивал аналогию между проблемами разделения труда и проблемами военной тактики. См., например: «Подобно тому, как сила нападения эскадрона кавалерии или сила сопротивления полка пехоты существенно отличны от суммы тех сил нападения и сопротивления, которые способны развить отдельные кавалеристы и пехотинцы, точно так же и механи-

1. Единичное тело становится элементом, который можно разместить, привести в движение, соединить с другими элементами. Его основными определяющими переменными являются теперь не доблесть или сила, а занимаемое место, отрезок, который оно собой закрывает, правильность и надлежащее расположение, с которым оно согласует свои перемещения. Солдат – прежде всего фрагмент подвижного пространства и только потом – мужество или доблесть. Вот как характеризует солдата Гибер: «Находясь в строю, он занимает два фута в наибольшем измерении, т. е. с головы до ног, и примерно один фут в самом широком месте, в плечах; к сему надо добавить фут промежутка между ним и следующим солдатом. Это дает два фута во всех направлениях на каждого солдата, а значит, пехотное войско в сражении занимает по фронту или в глубину столько шагов, сколько в нем рядов»[51]. Это функциональное упрощение тела. Но также и введение тела-сегмента в единицу, с которой оно связано. Солдат, чье тело вымуштровано так, что каждая часть функционально предназначена для определенных действий, должен, в свою очередь, быть элементом механизма на другом уровне. Вначале солдат обучают «поодиночке, затем по двое, затем в большем количестве... Относительно обращения с оружием: после того как солдаты обучились по отдельности, их заставляют выполнять команды по двое и попеременно меняться местами, чтобы левый научился приспосабливаться к правому»[52]. Тело конституируется как часть многосегментной машины.

2. Частями механизма являются и различные хронологические последовательности, которые дисциплина ком-

ческая сумма сил отдельных рабочих отлична от той общественной силы, которая развивается, когда много рук участвует одновременно в выполнении одной и той же нераздельной операции» (там же, с. 337. – *Ped.*)

[51] J. A. de Guibert, *Essai général de tactique*, 1772, t. I, p. 27.

[52] Предписание об обучении пехоты (6 мая 1775 г.).

бинирует, чтобы образовать сложное время. Время каждого должно быть приспособлено ко времени других таким образом, чтобы из каждого можно было извлечь максимальное количество сил, а их комбинация давала бы оптимальный результат. Так, Серван мечтал о военной машине, охватывающей всю территорию государства. Каждый в ней должен быть непрерывно занят, но занят по-своему, т. е. в зависимости от эволюционного сегмента, генетической серии, в которой находится. Военная жизнь должна начинаться с детства: дети учатся военному ремеслу в «военных манорах». Заканчиваться она должна в тех же поместьях, ибо ветераны до последнего дня должны обучать детей и рекрутов, руководить учениями солдат, надзирать за ними во время общественных работ и, наконец, поддерживать порядок в стране, когда войско сражается на границах. В жизни нет ни одного момента, из которого нельзя было бы извлечь силы; надо только уметь вычленить момент и соединить его с другими. Так в крупных мастерских используется труд детей и стариков: ведь они обладают определенными элементарными способностями, которые излишне было бы эксплуатировать в рабочих, используемых в других целях; далее, они образуют дешевую рабочую силу; наконец, работая, они не находятся на иждивении. «Трудящийся люд с десяти лет и до старости, – сказал сборщик налогов на одном предприятии в городе Анжере, – может найти на этой мануфактуре средства против праздности и ее детища – бедности»[53]. Но, несомненно, в начальном образовании приспособление друг к другу различных хронологий должно было производиться максимально тщательно. С XVII века до введения в начале

[53] Гаруэн. Доклад о финансовом округе Тур, в кн.: P. Marchegay, *Archives d'Anjou*, t. II, 1850, p. 360.

XIX века метода Ланкастера сложный часовой механизм школы взаимного обучения приводился в действие благодаря сцеплению колесиков: самым старшим ученикам поручаются сначала простой надзор, затем контроль над выполнением заданий и, наконец, преподавание; в конечном счете время всех учеников полностью занято либо обучением других, либо учебой. Школа стала учебной машиной, где каждый ученик, каждый уровень и каждый момент, если они должным образом соединены, постоянно используются в общем процессе обучения. Один из ярых сторонников школы взаимного обучения дает нам некоторое представление о прогрессе: «В школе на 360 детей учитель, который хочет в течение трехчасового занятия поработать индивидуально с каждым учеником, сможет посвятить ему лишь полминуты. Новый метод позволяет каждому из 360 учеников писать, читать или считать в течение двух с половиной часов»[54].

3. Тщательно рассчитанное соединение сил требует четкой системы командования. Вся деятельность дисциплинированного индивида должна перемежаться и подкрепляться приказами, эффективность которых определяется краткостью и ясностью. Приказ не надо ни объяснять, ни даже формулировать: достаточно того, чтобы он вызывал требуемое поведение. Ответственный за дисциплину сообщается с тем, кто ей подчиняется, посредством сигнализации: не надо понимать приказ, надо воспринимать сигнал и немедленно на него реагировать, следуя заранее установленному более или менее искусственному коду. Помещать тела в маленький мир сигналов, каждому из которых соответствует обязательная и единственная ре-

[54] Самюэль Бернар, Доклад в обществе взаимного обучения 30 октября 1816 г.

акция: техника муштры, «деспотически исключающая малейшее замечание и тишайший ропот». Дисциплинированный солдат «начинает повиноваться всему, что бы ни приказали; его повиновение быстро и слепо; тень непослушания, малейшая задержка были бы преступлением»[55]. Муштра школьников должна производиться так же: мало слов, никаких объяснений, полная тишина, прерываемая лишь сигналами — звоном колокола, хлопаньем в ладоши, жестами, просто взглядом учителя или маленьким деревянным приспособлением, применяемым братьями в христианских школах, — преимущественно его и называли «Сигналом», и в своей механической краткости он содержал и технику приказа, и мораль повиновения. «Первая и главная функция сигнала — сразу обращать к учителю взгляды всех учеников и заставлять их внимать тому, что он хочет им сообщить. Так, когда он хочет привлечь внимание детей и прекратить упражнение, он должен ударить один раз. Заслышав звук сигнала, хороший ученик вообразит, будто слышит голос учителя или даже глас Божий, окликающий его по имени. Потому он проникнется чувствами юного Самуила, в глубине души говоря вместе с ним: вот я, Господи». Ученик должен заучить код сигналов и автоматически реагировать на них. «После молитвы учитель дает один сигнал и, взглянув на ребенка, которого хочет послушать, делает ему знак начинать. Чтобы остановить чтение, снова подает один сигнал... Чтобы сообщить читающему, что надо повторить, если тот прочитал плохо или неправильно произнес букву, слог или слово, он быстро подает два последовательных сигнала. Если после двукратного или трехкратного повторения сигнала чи-

[55] L. de Boussanelle, *Le Bon Militaire*, 1770, p. 2.

тающий ученик не нашел и не повторил плохо прочитанного или произнесенного слова — поскольку до сигнала он прочитал еще несколько других слов, — то учитель быстро сигналит три раза подряд, давая ученику знак, что он должен вернуться на несколько слов назад, и продолжит сигналить, пока ученик не дойдет до плохо произнесенного слова»[56]. Школа взаимного обучения должна была усилить контроль над поведением путем системы сигналов, на которые необходимо реагировать немедленно. Даже словесные сигналы должны действовать как элементы сигнализации: «Подойдите к вашим скамьям. При слове *подойдите* дети с глухим стуком кладут правую руку на стол и одновременно ставят одну ногу за скамью. При словах *к вашим скамьям* ставят за скамью другую ногу и усаживаются против грифельных досок... *Возьмите ваши доски*. При слове *возьмите* дети берут правой рукой веревку, за которую доска подвешена на гвозде перед ними, а левой обхватывают середину доски; при слове *доски* они отвязывают доски и кладут их на стол»[57].

Словом, дисциплина создает из контролируемых тел четыре типа индивидуальности или, скорее, некую индивидуальность, обладающую четырьмя характеристиками: она клеточная (в игре пространственного распределения), органическая (кодирование деятельностей), генетическая (суммирование времени) и комбинированная (сложение сил). Для того чтобы добиться этого, дисциплина использует четыре основных метода: строит таблицы; предписывает движения; принуждает к упражнениям; наконец, чтобы достичь сложения сил, использует «тактики». Тактики — искусство строить из выделенных тел, кодирован-

[56] J.-B. de La Salle, *Conduite des Écoles chrétiennes*, 1828, p. 137–138. См.: Ch. Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 21.

[57] *Journal pour l'instruction élémentaire*, avril 1816. См. диссертацию: R. R. Tronchot, *L'enseignement mutuel en France*, I. (Машинопись.) Автор подсчитал, что ученики получали свыше 200 приказов в день (не считая приказов по исключительным случаям): только за утро — 26 приказов голосом, 23 — посредством знаков, 37 — в форме звонка и 24 — по свистку, иными словами — свисток или звонок раздавались каждые 3 минуты.

ных деятельностей и сформированных муштрой навыков аппараты, в которых результат действия различных сил усиливается благодаря их рассчитанной комбинации, – являются, несомненно, высшей формой дисциплинарной практики. В понимании этого теоретики XVIII века усматривали общее основание всей военной практики, от контроля и упражнения индивидуальных тел до использования сил, присущих сложнейшим множествам. Архитектура, анатомия, механика, экономия дисциплинарного тела: «По мнению многих военных, тактики – лишь отрасль обширной военной науки. С моей же точки зрения, они – основа этой науки. Они и есть сама эта наука, поскольку они учат нас, как организовать войска, установить порядок, передислоцировать, вести их в бой. Одни лишь тактики способны заменить число умением и управлять массой. Наконец, тактика предполагает знание людей, оружия, трудностей, обстоятельств, поскольку именно все эти виды знания вместе и должны определять движения войск»[58]. Или еще: «Этот термин [тактика]... дает некоторое представление о положении людей, составляющих конкретное войско, относительно других войск, входящих в армию, об их движениях, действиях и взаимоотношениях»[59].

Возможно, война как стратегия – продолжение политики. Но не надо забывать, что «политику» рассматривали как продолжение если не собственно и не непосредственно войны, то по крайней мере военной модели как основного средства предотвращения гражданских смут. Политика как техника установления внутреннего мира и внутреннего порядка стремилась применить механизм совер-

[58] J. A. de Guibert, *Essai général de tactique*, 1772, p. 4.
[59] P. Joly de Maizeroy, *Théorie de la guerre*, 1777, p. 2.

шенной армии, дисциплинированной массы, послушного и полезного войска, полка в лагере и поле, на маневрах и в упражнениях. В крупных государствах XVIII века армия гарантирует гражданский мир, поскольку она представляет собой реальную силу, вечно грозящий меч, но также и потому, что она воплощает технику и знание, схема которых может быть перенесена на все общественное тело. Если есть ряд политика—война, проходящий через стратегию, то есть и ряд армия—политика, проходящий через тактику. Именно стратегия позволяет понимать войну как метод ведения межгосударственной политики; именно тактика позволяет понимать армию как принцип, поддерживающий мир в гражданском обществе. Классический век видел рождение великой политической и военной стратегии противостояния государств экономической и демографической силе других государств, но он видел и рождение тщательно разработанной военной и политической тактики, в соответствии с которой государства осуществляют контроль над индивидуальными телами и силами. «Военное» — военный институт, сама личность военного, военная наука, столь отличные от того, что прежде характеризовало «воина», — располагается в этот период на стыке между войной и гулом сражения, с одной стороны, и порядком и тишиной, способствующими миру, — с другой. Историки идей обычно приписывают философам и юристам XVIII столетия мечту о совершенном обществе. Но была и военная мечта об обществе: она была связана не столько с естественным состоянием, сколько с детально подчиненными и прилаженными колесиками машины, не с первоначальным договором, а с постоянны-

ми принуждениями, не с основополагающими правами, а с бесконечно возрастающей муштрой, не с общей волей, а с автоматическим послушанием.

«Дисциплину надо сделать государственной», — говорил Гибер. «Рисуемое мной государство будет иметь простое, надежное, легко контролируемое управление. Оно будет напоминать огромные машины, которые с помощью чрезвычайно простых средств достигают поразительных результатов. Сила этого государства будет проистекать из его собственной силы, благополучие — из его собственного благополучия. Время, которое разрушает все, умножит его мощь. Оно опровергнет ходячий предрассудок, будто империи подвержены неумолимому закону упадка и разрушения»[60]. Недалек уже наполеоновский режим, а с ним — форма государства, которой суждено было его пережить и основания которой, не надо забывать об этом, были заложены не только юристами, но и солдатами, не только государственными советниками, но и младшими офицерами, не только слугами правосудия, но и людьми лагеря. Преследовавший эту формацию образ Римской империи нес в себе эту двойственность: граждане и легионеры, закон и маневры. В то время как юристы и философы искали в договоре исходную модель для строительства или перестройки общественного тела, военные, а с ними и техники дисциплины разрабатывали процедуры индивидуального и коллективного принуждения тел.

[60] J. A. de Guibert, *Essai général de tactique*, 1772, Discours préliminaire, p. XXIII–XXIV. Ср. суждения Маркса об армии и формах буржуазного общества в письме к Энгельсу 25 сентября 1857 г.

Глава 2

Средства выверенной муштры

В самом начале XVII века Валхаузен говорил о «собственно дисциплине» как искусстве «выверенной муштры»[1]. Действительно, основная функция дисциплинарной власти – не изъятие и взимание, а «муштра»; точнее говоря, муштра, нацеленная на то, чтобы изымать и взимать больше. Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать. Вместо того чтобы насильственно превращать все подчиненное ей в однородную массу, она разделяет, анализирует, различает и доводит процессы подразделения до необходимых и достаточных единиц. Она «муштрует» подвижные, расплывчатые, бесполезные массы тел и сил, превращая их в множественность индивидуальных элементов – отдельных клеточек, органических автономий, генетических тождеств и непрерывностей, комбинационных сег-

[1] J. J. Walhausen, *L'Art militaire pour l'infanterie*, 1615, p. 23.

ментов. Дисциплина «фабрикует» личности, она – специфическая техника власти, которая рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее отправления. Не торжествующей власти, которая из-за собственной чрезмерности может гордиться своим всемогуществом, – а тихой, подозрительной власти, действующей как рассчитанная, но постоянная экономия. Скромные модальности, стелющиеся методы, если сравнить их с величественными ритуалами власти суверена или с грандиозными государственными аппаратами. И именно они постепенно вторгнутся в главные формы, изменят их механизмы, навяжут им свои методы. Судебный аппарат не избежит этого почти неприкрытого вторжения. Успех дисциплинарной власти объясняется, несомненно, использованием простых инструментов: иерархического надзора, нормализующей санкции и их соединения в специфической процедуре – в экзамене.

Иерархический надзор

Отправление дисциплины предполагает устройство, которое принуждает игрой взгляда: аппарат, где технологии, позволяющие видеть, вызывают проявления и последствия власти и где средства принуждения делают видимыми тех, на кого они воздействуют. В классический век медленно создаются «обсерватории» человеческих множеств, не заслужившие добрых слов в истории наук. Наряду с великой технологией телескопа, линзы, пучка света, составлявшей одно целое с основаниями новой физики и космологии, существовали малые техники многочисленных и

перекрещивающихся надзоров, взглядов, которые должны видеть, оставаясь невидимыми. Используя техники подчинения и методы эксплуатации, безвестное искусство света и видимого исподволь готовило новое знание о человеке.

Упомянутые «обсерватории» основываются на почти идеальной модели военного лагеря. Он представляет собой недолговечный искусственный город, который по желанию можно строить и перестраивать почти до бесконечности; он – высшая сфера власти, которая, поскольку она воздействует на вооруженных людей, должна обладать большей силой, но и большей сдержанностью, большей эффективностью и превентивной ценностью. В совершенном лагере вся власть осуществляется исключительно путем точного надзора. Каждый взгляд – сколок с глобального действия власти. Старый традиционный квадратный план значительно усовершенствовался, появилось много новых схем. Точно определяются геометрия проходов, число и расположение палаток, ориентация входов в них, расположение поперечных и продольных рядов. Вычерчивается сеть взглядов, контролирующих друг друга. «На плацдарме проводится пять линий, причем первая располагается в 16 футах от второй, а остальные – в 8 футах друг от друга. Последняя проходит в 8 футах от оградительных валов. Оградительные валы располагаются в 10 футах от палаток младших офицеров, точно против первого кола. Ширина палаточной улицы – 51 фут... Все палатки отделены друг от друга расстоянием в два фута. Палатки младших офицеров располагаются против улиц их рот. Задний кол вбивается в 8 футах от последней сол-

датской палатки. Входы смотрят на капитанскую палатку... Палатки капитанов располагаются против улиц их рот. Их двери выходят на роты»[2]. Лагерь – диаграмма власти, действующей путем организации общей и полной видимости. Долгое время модель лагеря (или по крайней мере ее основополагающий принцип – пространственная стыковка иерархизированных надзоров) использовалась в построении городов, при строительстве рабочих поселений, больниц, приютов, домов умалишенных, тюрем и воспитательных домов. Использовался принцип «пазового соединения». Для весьма постыдного искусства надзоров лагерь то же, что камера-обскура для большой науки: оптики.

Тут развивается целая проблематика: проблематика архитектуры, которая создается отныне не просто для того, чтобы предстать взору (пышность дворцов), не для обеспечения обзора внешнего пространства (геометрия крепостей), а ради осуществления внутреннего упорядоченного и детального контроля, ради того, чтобы сделать видимыми находящихся внутри. Словом, архитектура теперь призвана быть инструментом преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в ней находится, управлять их поведением, доводить до них проявления власти, делать их доступными для познания, изменять их. Камни могут делать людей послушными и знающими. Старая простая схема заключения и ограждения (толстые стены, тяжелые ворота, затрудняющие вход и выход) заменяется расчетом числа окон и дверей, глухих и пустых пространств, проходов и просматриваемых мест. Здание больницы постепенно строится как инструмент медицинско-

[2] *Règlement pour l'infanterie prussienne*, Arsenal, ms. 4067, f. 144 (пер. на франц. яз.). Относительно старых планов см.: Praissac, *Les Discours militaires*, 1623, p. 27–28; Montgommery, *La Milice française*, p. 77. О новых схемах: Beneton de Morange, *Histoire de la guerre*, 1741, p. 61–64, и *Dissertations sur les Tentes*. См. также многочисленные правила и регламенты, например: *Instruction sur le service des règlements de Cavalerie dans les camps*, 29 juin 1753. См. ил. 7.

го воздействия: больничное здание должно обеспечивать хорошее наблюдение за больными, а следовательно – выбор лучшего способа лечения. Форма корпусов, обеспечивающая тщательное распределение больных, должна препятствовать распространению заразных болезней. Наконец, вентиляция и воздух, циркулирующий над каждой койкой, должны препятствовать скоплению вокруг пациента тлетворных паров разложения, предотвращая угнетенное состояние духа и, следовательно, усиление болезни. Больница – какой ее видят во второй половине века, о чем свидетельствуют многочисленные проекты, предложенные после того, как во второй раз сгорела центральная парижская больница*, – не просто крыша, дающая прибежище невзгодам и неминуемой смерти; она действует терапевтически самой своей материальностью.

Подобно этому, здание школы должно быть механизмом муштры. Пари-Дюверне задумал Военную школу как настоящую педагогическую машину и в мельчайших деталях навязал свой проект архитектору Габриелю**. Муштровать тела – императив здоровья; формировать компетентных офицеров – императив квалификации; создавать послушных военных – императив политики; предупреждать разврат и гомосексуализм – императив нравственности. Четыре причины установления глухих перегородок между индивидами, но и глазков для постоянного надзора. Само здание Военной школы должно было быть аппаратом надзора: спальни размещались вдоль коридора, подобно ряду маленьких келий. Через равные промежутки располагались комнаты офицеров, так, чтобы «каждый

десяток учеников окружался офицерами справа и слева». Ученики запирались в спальнях на всю ночь, и Пари-Дюверне настоял на том, чтобы «перегородка каждой спальни была застеклена со стороны коридора, от уровня груди на один-два фута до потолка. Кроме того, что иметь такие окна просто приятно, они, смеем сказать, во многих отношениях полезны, не говоря уж о соображениях дисциплины, решающих для такого устроения»[3]. В столовых — «небольшая платформа для столов наставников, позволяющая им видеть все столы учеников их отделения во время еды». Двери уборных укорочены сверху и снизу (чтобы дежурный надзиратель мог видеть головы и ноги учеников), тогда как поперечные перегородки достаточно высоки (чтобы «находящиеся внутри не видели друг друга»[4]). Бесконечно детализированное стремление к надзору, выраженное в архитектуре с помощью бесчисленных мелких приспособлений. Их можно считать незначительными, только если забыть о роли такого устроения — второстепенной, но безупречно исполняемой — в нарастающей объективации и все более детальном дроблении надзора за индивидуальным поведением. Дисциплинарные институты выработали механизм контроля, действующий как некий микроскоп для наблюдения за поведением; сделанные ими четкие, аналитически выверенные подразделения образовали вокруг людей аппарат наблюдения, регистрации и муштры. Как подразделить взгляд в этих машинах наблюдения? Как установить между ними сеть коммуникаций? Как организовать, чтобы из их рассчитанной множественности получилась однородная, непрерывная власть?

[3] Цитируется по: R. Laulan, *L'École militaire de Paris*, 1950, p. 117–118.

[4] Arch. nat. MM 666–669. И. Бентам* рассказывает, что впервые идея паноптикона возникла у его брата при посещении Военной школы.

Совершенный дисциплинарный аппарат должен обеспечить способность видеть постоянно все «одним взглядом». Центральная точка должна быть как источником всеосвещающего света, так и местом сходимости всего, что подлежит познанию: совершенным глазом, от которого ничто не ускользает, и центром, притягивающим к себе все взгляды. Именно это имел в виду Леду, когда строил Арк-и-Сенан*: все здания выстроены в круг и открываются во двор, в центре которого – высокое строение, допускающее использование его с различными целями (управленческими, полицейскими целями надзора, экономическими – контроля и проверки, религиозными – наставления на повиновение и труд); отсюда исходят все приказы, здесь фиксируются все деятельности, рассматриваются и судятся все проступки; и это делается непосредственно, с опорой исключительно на точную геометрию. Одна из причин, по которым кругообразные архитектурные сооружения[5] во второй половине XVIII века считались столь престижными, состоит, несомненно, в том, что они выражают определенную политическую утопию.

Однако во второй половине XVIII века дисциплинарный взгляд нуждается в механизмах передачи. Пирамида – более действенно, нежели круг – отвечает двум требованиям: она достаточно полна и образует непрерывную сеть (отсюда возможность умножения ее ступеней и распределения их по всей контролируемой поверхности); и достаточно незаметна, чтобы не давить мертвым грузом на дисциплинируемую деятельность, не быть для нее тормозом или препятствием, а органично вписываться в дисциплинарное устройство как функция, усиливающая его

[5] См. ил. 12, 13, 16.

возможные результаты. Ее необходимо разбить на более мелкие элементы, но лишь для того чтобы усилить ее производительную функцию: детализировать надзор и сделать его функциональным.

Эту проблему решали крупные цехи и заводы, где был организован надзор нового типа. Он отличается от надзора, практиковавшегося прежде на мануфактурах, где его производили извне инспектора, следящие за выполнением правил. Теперь же требуется интенсивный, непрерывный контроль, который проникает непосредственно в рабочий процесс и распространяется не только на производство (здесь это контроль за качеством и количеством сырья, типом используемых инструментов, размерами и качеством изделий): он учитывает также деятельность людей, их навыки, манеру работать, проворность, усердие и поведение. Но он отличается и от домашнего надзора мастера, стоящего за спиной своих рабочих и подмастерьев: ведь он осуществляется служащими, контролерами и старшими мастерами. Когда производственный аппарат становится крупнее и сложнее, когда возрастает число рабочих и разделение труда, надзор становится еще более необходимым и трудным. Он становится особой функцией, которая тем не менее должна составлять неотъемлемую часть производственного процесса, сопровождать его на всем его протяжении. Возникает потребность в специальном персонале, постоянно присутствующем и не принадлежащем к среде рабочих: «На крупной мануфактуре все делается по часам, рабочих принуждают и ругают. Служащие, привыкшие относиться к рабочим свысока и командовать, что действительно необходимо

по отношению к массе, обращаются с ними строго или презрительно, и поэтому рабочие либо получают более высокую зарплату, либо покидают мануфактуру вскоре после поступления»[6]. Но, хотя рабочие предпочитают контроль цехового типа новому режиму надзора, хозяева понимают, что новый надзор неотделим от системы промышленного производства, частной собственности и прибылей. На крупном металлургическом заводе или шахте «статей расхода так много, что малейшая нечестность может привести к ужасному мошенничеству, которое не только поглотит прибыли, но и приведет к потере капитала... Любая некомпетентность, если она остается незамеченной, а потому повторяется каждый день, может оказаться настолько пагубной для предприятия, что очень быстро его разрушит». А потому только служащие, подчиняющиеся непосредственно хозяину и занятые исключительно надзором, следят за тем, «чтобы не было ни гроша лишних расходов и ни минута не прошла впустую»; их роль — «следить за рабочими, контролировать все рабочие места, сообщать хозяевам обо всем, что происходит»[7]. Таким образом, надзор становится решающим экономическим фактором — как внутренняя деталь производственного аппарата и как специфический механизм дисциплинарной власти[8].

Та же тенденция обнаруживается и в реорганизации начального образования: элементы надзора были конкретизированы и надзор стал неотъемлемой частью учебных отношений. Развитие приходских школ, рост числа их учеников, отсутствие методов, регулирующих работу сразу всего класса, вытекающие из этого беспорядок и сумя-

[6] *Encyclopédie*, статья «Manufacture».

[7] Cournol, *Considérations d'intérêt public sur le droit d'exploiter les mines*, 1790, Arch. nat. A XIII[14].

[8] Ср.: «Функции управления, надзора и согласования делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд становится кооперативным. Но как специфи-

тица сделали необходимым введение системы надзора. В помощь учителю Батенкур выбрал из лучших учеников ряд «офицеров» – интендантов, наблюдателей, помощников учителя, репетиторов, чтецов молитв, ответственных за письмо и раздачу чернил, духовников и посетителей семей. Эти роли, таким образом, разделяются на два типа: одни относятся к материальным задачам (раздача чернил и бумаги, подаяние бедным, чтение духовных текстов по праздникам и т. п.), другие предполагают надзор. «Наблюдатели» должны фиксировать, кто покинул скамью, кто разговаривал, кто пришел без четок или часослова, кто плохо вел себя во время молитвы, сделал что-то непристойное, болтал или вопил на улице. «Увещеватели» должны «следить за теми, кто разговаривает или шепчется во время уроков, не пишет или ротозейничает». «Посетители» ходят по семьям учеников, которые отсутствовали на занятиях или совершили серьезные проступки. «Интенданты» контролируют всех других «офицеров». Одни только «репетиторы» играют педагогическую роль: заставляют учеников читать попарно вполголоса[9]. Несколько десятилетий спустя Демия избирает иерархию того же типа, но почти все функции надзора играют у него и педагогическую роль: один помощник учителя учит правильно держать перо, водит рукой ученика, исправляет ошибки и одновременно «записывает проступки шалунов»; другой помощник учителя выполняет те же функции на уроке чтения. Интендант, контролирующий других офицеров и отвечающий за поведение в целом, занимается также «посвящением новичков в школьные обычаи». Декурионы заставляют детей учить уроки и «записывают» невыучив-

ческая функция капитала, функция управления приобретает специфические характерные особенности» (*Маркс К.* Капитал. Кн. I, отд. 4, гл. XI). (Пер. по изд.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М., 1960, с. 342. – *Ред.*)

[9] M. I. D. B., *Instruction méthodique pour l'école paroissiale*, 1669, p. 68–83.

ших[10]. Здесь перед нами набросок школы «взаимного обучения», в которой соединяются в одном механизме три процедуры: собственно обучение, приобретение знаний непосредственно в практической педагогической деятельности и, наконец, взаимное иерархизированное наблюдение. Отношение надзора, определенное и регулируемое, вписывается в сердцевину практики обучения, и не как дополнительная или вспомогательная часть, но как механизм, который ей внутренне присущ и повышает ее эффективность.

Возможно, иерархизированный, непрерывный и функциональный надзор не принадлежит к великим техническим «изобретениям» XVIII века, но его коварное распространение обязано своей значимостью несомым им механизмам власти. Благодаря такому надзору дисциплинарная власть становится «цельной» системой, внутренне связанной с экономией и целями механизма, через который она отправляется. Она организуется также как множественная, автоматическая и анонимная власть; ведь хотя надзор основывается на индивидах, он действует по сети отношений сверху вниз, но также, до некоторой степени, и снизу вверх и горизонтально; эта сеть «удерживает» целое и насквозь пронизывает его происходящими одно от другого проявлениями власти: надзиратели, находящиеся под постоянным надзором. Власть в иерархизированном надзоре дисциплин – не вещь, которой можно обладать, она не передается как свойство; она действует как механизм. И хотя пирамидальная организация действительно предполагает наличие «главы», именно механизм в целом производит «власть» и распределяет индивидов в

[10] Ch. Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 27–29. Такое же явление наблюдается в коллежах: в течение долгого времени «префекты», независимо от преподавателей, несли моральную ответственность за небольшие группы учеников. Главным образом после 1762 г. возникает тип контроля, одновременно более административный и иерархизированный: надзиратели, квартальные ответственные, младшие ответственные. Ср.: Dupont-Ferrier, *Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand*, t. 1, p. 254, 476.

постоянном и непрерывном поле. Это позволяет дисциплинарной власти быть одновременно чрезвычайно нескромной, поскольку она повсюду и всегда начеку, поскольку в силу самого своего принципа она не оставляет ни малейшей теневой зоны и постоянно надзирает за теми самыми индивидами, на которых возложена функция надзора, – и крайне «скромной», поскольку она действует постоянно и главным образом безмолвно. Дисциплина делает возможным функционирование власти через отношения, власти, которая поддерживает себя собственными механизмами и заменяет зрелищные публичные ритуалы непрерывной игрой рассчитанных взглядов. Благодаря методам надзора «физика» власти – господство над телом – осуществляется по законам оптики и механики, по правилам игры пространств, линий, экранов, пучков, степеней и не прибегает, по крайней мере в принципе, к чрезмерности, силе или насилию. Это власть, которая кажется тем менее «телесной», чем более искусно она организована как «физическая».

Нормализующее наказание

1. В сиротском приюте шевалье Поле заседания суда, собиравшегося каждое утро, превращались в настоящий церемониал: «Мы увидели, что все ученики построены, словно перед сражением: безупречный строй, полная неподвижность и молчание. Майор, юный шестнадцатилетний дворянин, стоит перед строем со шпагой в руке. По его команде войско размыкает ряды и образует круг. В

центре собирается совет. Каждый офицер докладывает о поведении своей роты за прошедшие сутки. Обвиняемым предоставляется возможность оправдаться. Заслушивают свидетелей. Суд совещается, и когда согласие достигнуто, майор возглашает число виновных, сообщает о характере проступков и вынесенных наказаниях. Затем войско удаляется маршем в строжайшем порядке»[11]. В ядре всех дисциплинарных систем действует маленький карательный механизм. Он обладает своего рода привилегией правосудия с собственными законами, классификацией проступков, конкретными формами наказания и судебными инстанциями. Дисциплины устанавливают «инфранаказание»; они систематизируют пространство, не заполненное законами, квалифицируют и карают массу проступков, которые в силу их относительно малой значимости не учитываются большими системами наказания. «Приходя на работу, рабочие должны приветствовать друг друга... Уходя, они должны убрать материалы и инструменты, коими пользовались, а если работали допоздна, то потушить лампы»; «строго воспрещается развлекать товарищей жестами или как-то иначе»; надлежит «вести себя благочестиво и скромно»; всякий, кто отсутствовал больше пяти минут, не предупредив господина Оппенгейма, будет отмечен «как отсутствовавший полдня»; а чтобы удостовериться в том, что ничто не забыто в этом подробном перечне, воспрещается делать «все, что может повредить господину Оппенгейму и его компаньонам»[12]. Цех, школа, армия подчинены целой системе микронаказаний, учитывающей: время (опоздания, отсутствие, перерывы в работе), деятельность (невнимательность, небрежность, отсутст-

[11] Pictet de Rochemont, *Journal de Genève*, 5 janvier 1788.

[12] Проект регламента фабрики Оппенгейма, 29 сентября 1809 г.

вие рвения), поведение (невежливость, непослушание), речь (болтовня, дерзость), тело («некорректная» поза, неподобающие жесты, неопрятность) и сексуальность (нескромность, непристойность). При этом в качестве наказания используется целый ряд детально продуманных процедур: от легкого физического наказания до небольших лишений и унижений. Требуется, с одной стороны, сделать наказуемым малейшее отклонение от корректного поведения, а с другой – придать карательную функцию на вид нейтральным элементам дисциплинарной машины: тогда в случае необходимости все будет служить наказанию малейшего нарушения, а каждый субъект окажется захваченным наказуемой и наказывающей всеобщностью. «Под словом "наказание" надо понимать все, что может заставить детей осознать совершённый ими проступок, все, что может унизить их и смутить... некоторая холодность, безразличие, дознание, оскорбление, отстранение от выполнения обязанностей»[13].

2. Но дисциплина приносит с собой специфическую манеру наказания, которая является не просто уменьшенной моделью суда. Что характерно, дисциплинарное наказание представляет собой нечто совершенно несоразмерное правилу, отклонение. Наказанию подвергается вся неопределенная область несоответствующего поведения: солдат совершает «проступок» всякий раз, когда не дотягивает до требуемого уровня; «проступок» ученика есть не только мелкое нарушение, но и неспособность выполнить задание. Устав прусской пехоты требовал, чтобы солдат, не научившийся правильно обращаться с ружьем, был наказан «со всей строгостью». Сходным образом, «если ученик

[13] J.-B. de La Salle, *Conduite des Écoles chrétiennes*, 1828, p. 204–205.

не выучил катехизис, заданный накануне, надо добиться, чтобы он безошибочно запомнил его и повторил на следующий день; или же заставить его слушать, стоя на коленях и скрестив руки; или принудить его к раскаянию как-то иначе».

Порядок, который должны поддерживать дисциплинарные наказания, носит смешанный характер. Это «искусственный» порядок, четко установленный в законе, программе или уставе. Но также порядок, определяемый естественными и наблюдаемыми процессами: продолжительность ученичества, время, необходимое для выполнения упражнения, уровень подготовки определяются закономерностью, которая тоже является правилом. В христианских школах с детьми никогда не проводят «уроков», которых они не способны выдержать, поскольку иначе они ничему не научатся; и все же длительность каждой стадии обучения определяется правилом, и ученика, не сумевшего по результатам трех экзаменов перейти на следующий уровень, на глазах у всех помещают на скамью «невежд». В дисциплинарном режиме наказание имеет двойную область значения – юридическую и естественную.

3. Дисциплинарное наказание должно бороться с отступлениями. Следовательно, оно должно быть по существу *исправительным*. Наряду с наказаниями, заимствованными непосредственно из судебной модели (штрафы, плеть, карцер), дисциплинарные системы отдают предпочтение наказанию-упражнению – более интенсивному научению, многократно повторяемому уроку. Согласно уставу пехоты 1766 г., младшие капралы, «выказавшие отсутствие прилежания или нежелание учиться, должны

быть разжалованы в рядовые» и могут вернуть себе прежний ранг только после новых упражнений и нового экзамена. По словам Ж. Б. де Ла Салля, «из всех наказаний самыми честными с точки зрения учителя, наиболее выигрышными для родителей являются дополнительные задания»; они позволяют «черпать в самих ошибках детей средства, позволяющие добиться успехов путем исправления их недостатков»; тем, например, «кто не написал всего, что требовалось, или не потрудился сделать это хорошо, можно дать какое-то дополнительное задание: что-то написать или заучить наизусть»[14]. Дисциплинарное наказание, в основном, сходно по форме с обязанностью, это не столько месть за попранный закон, сколько возобновление, двойное утверждение закона. Так что ожидаемое от наказания исправительное воздействие вызывает покаяние и раскаяние лишь случайно; оно достигается непосредственно механикой муштры. Наказывать — значит принуждать к упражнению.

4. В дисциплине наказание является лишь одним из элементов двойной системы поощрения–наказания. И именно эта система действует в процессе муштры и исправления. Учитель «должен по возможности не применять наказание, напротив, чаще поощрять, чем наказывать. Ведь лентяя, как и прилежного, больше вдохновляет желание снискать похвалу, чем страх перед наказанием. Потому было бы весьма полезно, если бы учитель, прежде чем прибегнуть к вынужденному наказанию, уже завоевал сердце ребенка»[15]. Этот механизм из двух элементов делает возможными ряд операций, характерных для дисциплинарного наказания. Во-первых, оценку поведения и до-

[14] *Ibid.*

[15] Ch. Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 17.

стижений на основании двух противоположных ценностей: добра и зла. Вместо простого выделения области запретного, которое практикуется в уголовном правосудии, мы имеем здесь распределение между положительным и отрицательным полюсами; все поведение попадает в поле, простирающееся между хорошими и плохими отметками и баллами. Кроме того, можно исчислить это поле и выработать соответствующую цифровую экономию. Непрерывно обновляемая карательная бухгалтерия позволяет составить баланс наказаний для каждого ученика. В школьном «правосудии» эта система, существовавшая в рудиментарной форме в армии и мастерских, получила весьма значительное развитие. Братья в христианских школах организовали настоящую микроэкономию привилегий и дополнительных заданий: «Поощрения могут использоваться учениками, для того чтобы избавиться от наказаний... Например, ученик получил дополнительное задание – переписать четыре или шесть вопросов по катехизису; он может быть прощен, если у него есть несколько поощрительных баллов; учитель должен установить, сколько баллов стоит каждый вопрос... Поскольку поощрение состоит из определенного числа баллов, учитель располагает поощрением меньшей стоимости, служащим своего рода сдачей. Например, ученик получает дополнительное задание, от которого его освобождают шесть баллов, и он заслужил поощрение в десять баллов. Предъявив его учителю, он получает обратно четыре балла и т. д.»[16] И путем игры в подсчет, посредством циркуляции авансов и долгов, а также постоянного прибавления и вычитания баллов дисциплинарные аппараты устанавливают сравни-

[16] J.-B. de La Salle, *Conduite des Écoles chrétiennes*, B. N., Ms. 11759, p. 156 ff. Своего рода система индульгенций.

тельную иерархию «хороших» и «дурных» субъектов. Путем этой микроэкономии постоянного наказания происходит дифференциация — не действий, но самих индивидов, их характера, возможностей, уровня развития или достоинства. Точно оценивая поступки, дисциплина определяет «истинную цену» индивидов; применяемое ею наказание вписывается в цикл познания индивидов.

5. Распределение по рангам или ступеням играет двойную роль: оно определяет отклонения от правила, устанавливает иерархию качеств, знаний и навыков; но оно также наказывает и вознаграждает. Карательная сторона приведения в порядок и упорядочивающая сторона наказания. Дисциплина вознаграждает простой игрой присуждений, делая возможным достижение более высоких рангов и должностей; она наказывает, понижая в чине и разжалуя. Ранг сам по себе служит наградой или наказанием. В Военной школе была разработана сложная система «почетной» классификации. Классификация доводилась до общего сведения через незначительные различия в униформе, и более или менее благородные или постыдные наказания соответствовали, как знак поощрения или позора, таким образом распределяемым рангам. Классификационное карательное распределение осуществлялось через короткие промежутки времени по докладам офицеров, преподавателей и их помощников без учета возраста или чина, на основании «моральных качеств учеников» и «их всем известного поведения». Первый класс — «очень хорошие ученики» — отмечался серебряным эполетом; они удостаивались чести считаться «исключительно воинскими частями», а потому имели право на военные нака-

зания (гауптвахта, а в серьезных случаях – тюрьма). Второй класс – «хорошие» – носил шелковый пунцово-серебряный эполет; они могли быть наказаны гауптвахтой и тюрьмой, а также карцером и стоянием на коленях. Класс «посредственных» имел право на красный суконный эполет; к перечисленным наказаниям здесь добавлялась, если было необходимо, грубая холщовая роба. Последний класс, «плохие», отмечался коричневым суконным эполетом; «ученики этого класса подвергаются всем наказаниям, принятым в Школе, а также всем тем, кои представляются целесообразными, включая даже одиночное заключение в темном карцере». Одно время существовал также «позорный» класс, для которого были составлены особые правила: «принадлежащие к этому классу должны быть всегда отделены от других и облачены во власяницу». Поскольку место ученика определяется только заслугами и поведением, «ученики двух последних классов могут тешить себя надеждой перейти в первые и носить соответствующие знаки отличия, если все признают их достойными благодаря улучшению их поведения и успехам; а ученики первых классов переходят в низшие, если начинают лениться и если наберется много откликов не в их пользу, показывающих, что они больше не заслуживают отличий и преимуществ первых классов...» Карательная классификация имеет тенденцию к исчезновению. «Позорный» класс существует лишь для того, чтобы исчезнуть: «для того чтобы судить о степени перевоспитания учеников "позорного" класса, которые стали вести себя хорошо», надо перевести их в другие классы и вернуть им знаки отличия; но при этом они должны находиться вместе с товарищами

по «позорному» классу во время еды и на переменах. Если они поведут себя плохо, то останутся в «позорном» классе, и «покинут его окончательно, если их поведение сочтут удовлетворительным в новом классе и подразделении»[17]. Итак, иерархизирующее наказание имеет двойной результат: оно распределяет учеников в зависимости от их способностей и поведения, т. е. с учетом их возможного использования по окончании школы, и оказывает на них постоянное давление, чтобы привести их к одной и той же модели, принудить их всех к «субординации, послушанию, внимательному отношению к учебе и упражнениям, к неукоснительному выполнению своих обязанностей и всех пунктов дисциплины». Чтобы они все были похожи друг на друга.

Короче говоря, искусство наказывать в режиме дисциплинарной власти не направлено ни на заглаживание вины, ни даже, в точном смысле, на репрессию. Оно приводит в действие пять совершенно различных операций. Оно соотносит действия, успехи и поведение индивида с целым, являющимся одновременно полем сравнения, пространством дифференциации и принципом правила, которому надлежит следовать. Оно отличает индивидов друг от друга и исходя из общего правила – правила, служащего неким минимальным порогом, неким средним, которому надо соответствовать, оптимумом, к которому надо стремиться. Оно количественно измеряет и выстраивает в иерархическом порядке, в зависимости от ценности, способности, уровень развития, «природу» индивидов. Оно устанавливает посредством этой «ценностной» мерки степень соответствия, которая должна быть достигнута.

[17] Archives nationales, MM 658 (30 mars), MM 666 (15 septembre).

И наконец, оно намечает предел, который должен задавать различие сравнительно со всеми прочими различиями: внешнюю границу ненормального («позорный» класс Военной школы). Вечное наказание, пронизывающее все точки и контролирующее каждое мгновение в дисциплинарных институтах, сравнивает, различает, иерархически упорядочивает, приводит к однородности, исключает. Одним словом, *нормализует*.

Следовательно, каждым своим пунктом оно противостоит судебному наказанию. Главная функция судебного наказания – указывать на свод законов и текстов, которые необходимо помнить, а не на совокупность наблюдаемых явлений; оно действует не посредством дифференциации индивидов, а путем спецификации поступков в соответствии с рядом общих категорий; не посредством установления иерархии, а куда проще – путем применения бинарного противопоставления дозволенного и запрещенного; не приводя к однородности, а вынося приговор и тем самым устанавливая непреложный раздел. Дисциплинарные механизмы выделили «наказание согласно норме», не сводимое в своих принципах и функционировании к традиционному наказанию согласно закону. Маленький суд, постоянно заседающий в зданиях дисциплины и принимающий иногда театральную форму большого судебного аппарата, не должен обмануть нас: он не переносит (за исключением немногих формальных пережитков) механизмы уголовного правосудия в ткань повседневной жизни. Во всяком случае, не в этом состоит его главная роль. Дисциплины создали – опираясь на целый ряд очень древних методов – новое функционирование наказания, и именно

оно постепенно захватило огромный внешний аппарат, который теперь воспроизводит его то сдержанно, то иронично. Юридическо-антропологическое функционирование, обнаруживающееся во всей истории современного наказания, коренится не в наложении гуманитарных наук на уголовное правосудие и не в требованиях, присущих этой новой рациональности или гуманизму, который она приносит; оно коренится в дисциплинарной технике, вводящей эти новые механизмы нормализующего наказания.

Через дисциплины проявляется власть Нормы. Является ли она новым законом современного общества? Лучше сказать, что начиная с XVIII века эта власть соединилась с прочими властями – Закона, Слова и Текста, Традиции, – навязывая им новые разграничения. Нормальное становится принципом принуждения в обучении с введением стандартизированного образования и возникновением «нормальных школ»*. Оно становится таковым в попытке организовать национальный медицинский цех и больничную систему, руководствующиеся общими нормами здоровья. Оно проникает в стандартизацию промышленных процессов и изделий[18]. Подобно надзору, и вместе с ним нормализация становится одним из главных инструментов власти в конце классического века. Ведь знаки, некогда свидетельствовавшие о статусе, привилегиях, принадлежности к чему-то, все больше заменяются – или по крайней мере дополняются – целым рядом степеней нормальности, свидетельствующих о принадлежности к однородному общественному телу, но также играющих некоторую роль в классификации, иерархизации и распределении рангов. В каком-то смысле власть нормализа-

[18] См. об этом наиболее важные страницы труда: G. Canghilhem, *Le Normal et le Pathologique*, éd. de 1966, p. 171–191.

ции насаждает однородность; но она индивидуализирует, поскольку позволяет измерять отклонения, определять уровни, фиксировать особенности и делать полезными различия, приспосабливая их друг к другу. Вполне понятно, как власть нормы действует в рамках системы формального равенства, поскольку внутри однородности, являющейся правилом, норма вводит в качестве полезного императива и результата измерения весь диапазон индивидуальных различий.

Экзамен

Экзамен сочетает техники надзирающей иерархии и нормализующей санкции. Экзамен – нормализующий взгляд, надзор, позволяющий квалифицировать, классифицировать и наказывать. Он делает индивидов видимыми, благодаря чему их можно дифференцировать и наказывать. Поэтому во всех дисциплинарных механизмах экзамен – совершенный ритуал. В нем соединяются церемония власти и форма опыта, применение силы и установление истины. В центре дисциплинарных процедур экзамен демонстрирует подчинение тех, кто воспринимается как объекты, и объективацию тех, кто подчиняется. Взаимоналожение отношений власти и отношений знания обретает в экзамене весь свой видимый блеск. Однако экзамен – еще одна инновация классического века, не исследованная историками наук. Пишут историю опытов со слепорожденными, с детьми, выросшими среди волков, с находящимися под воздействием гипноза. Но кто напи-

шет более общую, более размытую, но и более определенную историю «экзамена» – его ритуалов, методов, действующих лиц и их ролей, игры вопросов и ответов, систем выставления отметок и классификации? Ведь в этой тонкой технике можно увидеть всю область познания, весь тип власти. Часто говорят об идеологии, которую – то сдержанно, то громогласно – несут в себе гуманитарные «науки». Но разве сама их технология, эта крошечная рабочая схема, получившая столь широкое распространение (от психиатрии до педагогики, от диагностики болезней до найма рабочей силы), этот знакомый метод экзамена не претворяет в едином механизме отношения власти, которые делают возможными извлечение и образование знания? Это происходит не просто на уровне сознания, представлений и того, что человек (как он полагает) знает, но и на уровне того, что делает возможным знание, которое преобразуется в политический захват.

Одним из основных условий эпистемологического «раскрытия» медицины в конце XVIII века была организация больницы как «экзаменующего» аппарата. Ритуал обхода являлся самой очевидной его формой. В XVII веке приходящий врач добавлял свой осмотр ко многим другим формам контроля – религиозной, административной и т. д.; он практически не участвовал в повседневном управлении больницей. Постепенно осмотр становится более регулярным, более тщательным, а главное – более продолжительным: он становится все более важной частью работы больницы. В 1661 г. врач центральной парижской больницы должен был делать один обход в день; в 1687 г. «кандидат» на место врача проверял во второй половине

дня состояние некоторых тяжелобольных. Правила XVIII столетия устанавливают расписание обходов и их продолжительность (минимум два часа) и предписывают сменную работу врачей, которая обеспечивала бы проведение обходов ежедневно, «даже в Пасхальное воскресенье». Наконец, в 1771 г. учреждается должность дежурного врача, в чьи обязанности входит «оказание необходимой помощи не только днем, но и ночью, в промежутках между обходами приходящего врача»[19]. Прежние нерегулярные и быстрые осмотры превращаются в ежедневное обследование, помещающее пациента в ситуацию почти непрерывного экзамена. Отсюда два последствия: во внутренней иерархии врач, бывший ранее внешним элементом, начинает брать верх над религиозным персоналом и отводить ему четко определенную, но подчиненную роль в технике экзамена; затем появляется категория «медицинские сестры»; между тем сама больница, бывшая некогда едва ли не богадельней, становится местом формирования и коррекции знания: она демонстрирует полное изменение отношений власти и формирования знания. Хорошо «дисциплинированная» больница становится «домом» медицинской «дисциплины»; последняя отказывается теперь от своего текстового характера и опирается не столько на традицию авторитетных текстов, сколько на область объектов, вечно предлагаемых для экзамена.

Школа тоже становится своеобразным аппаратом непрерывного экзамена, который дублирует процесс обучения на всем его протяжении. Он постепенно перестает быть состязанием, позволяющим ученикам померяться силами, все больше превращаясь в постоянное сравнива-

[19] Registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu.

ние всех и вся, позволяющее и измерять, и оценивать. Братья в христианских школах хотели, чтобы их ученики сдавали экзамены каждый день: в понедельник – по орфографии, во вторник – по арифметике, в среду – по закону Божию утром и по письму вечером и т. д. Кроме того, ежемесячная контрольная работа позволяла отобрать тех, кто готов держать экзамен перед инспектором[20]. С 1775 г. в парижской Высшей Инженерно-дорожной школе было 16 экзаменов в год: 3 – по математике, 3 по архитектуре, 3 – по черчению, 2 – по письму, 1 – по обтесыванию камней, 1 – по стилю, 1 – по съемке местности, 1 – по пользованию уровнем и 1 – по замеру пропорций зданий[21]. Экзамен не просто знаменовал конец обучения, но был одним из его постоянных факторов; он был вплетен в обучение посредством постоянно повторяемого ритуала власти. Экзамен позволял учителю, передавая знания, превращать учеников в целую область познания. В то время как испытание, которым завершалось ученичество в цеховой традиции, подтверждало полученный навык – итоговая «работа» удостоверяла состоявшуюся передачу знания, – экзамен в школе был постоянным обменом знаниями: он гарантировал переход знаний от учителя к ученику, но и извлекал из ученика знание, предназначенное и приготовленное для учителя. Школа становится местом педагогических исследований. И точно так же, как процедура больничного «экзамена» сделала возможным эпистемологическое «раскрытие» медицины, век «экзаменующей» школы знаменовал возникновение педагогики как науки. Век инспекций и бесконечно повторяемых маневров в армии также знаменовал развитие богатейшего так-

[20] J.-B. de La Salle, *Conduite des Écoles chrétiennes*, 1828, p. 160.
[21] См.: *L'Enseignement et la diffusion des sciences au XVIII^e*, 1964, p. 360.

тического знания, нашедшего применение в эпоху наполеоновских войн.

Экзамен вводит целый механизм, связывающий определенный тип формирования знания с определенной формой отправления власти.

1. *Экзамен преобразует экономию видимости в отправление власти.* Традиционно власть есть то, что видимо, что показывается, проявляется; и, что парадоксально, она черпает свою силу в том самом движении, посредством которого проявляет эту силу. Те, на кого она воздействует, могут оставаться в тени: они получают свет лишь от той части власти, что им выделяется, или от скользнувшего по ним отблеска власти. Дисциплинарная власть, с другой стороны, отправляется в силу ее невидимости; в то же время она навязывает тем, кого подчиняет, принцип принудительной видимости. В дисциплине именно субъекты должны быть видимыми. Их видимость удостоверяет накинутую на них узду власти. Именно факт постоянной видимости, возможности быть увиденным удерживает дисциплинированного индивида в подчинении. А экзамен есть метод, с помощью которого власть, вместо того чтобы производить знаки своей мощи, вместо того чтобы помечать подданных своим клеймом, втягивает их в механизм объективации. В этом пространстве господства дисциплинарная власть по существу проявляет свою мощь, главным образом посредством упорядочения объектов. Экзамен – своеобразная церемония объективации.

Прежде роль политической церемонии заключалась в том, чтобы обеспечить избыточное и все же подчиненное правилам проявление власти. Она была зрелищным выра-

жением мощи, некой «тратой», преувеличенной и кодифицированной, в которой власть пополняла свою силу. В той или иной мере она всегда была связана с триумфом. Торжественное явление монарха несло в себе нечто от освящения, коронации, победного возвращения; даже пышные похоронные церемонии проходили со всем блеском отправляемой власти. Дисциплина, однако, вырабатывает собственные церемонии. Это уже не триумф, а смотр, «парад», демонстрационная форма экзамена. В ней «подданные» представлены как «объекты» наблюдения для власти, проявляющейся единственно в своем взгляде. Они не воспринимают непосредственно образ власти суверена: они только ощущают ее последствия – так сказать, копию – на своих телах, которые стали совершенно прозрачными и послушными. 15 марта 1666 г. Людовик XIV провел свой первый военный парад: 18 000 солдат и офицеров, «одна из наиболее зрелищных акций его царствования», которая должна была «повергнуть в смятение всю Европу». Несколько лет спустя была отчеканена памятная медаль[22]. На ней начертано: «Disciplina militaris restitua»* – и легенда: «Prolusio ad victorias»**. Справа – король с жезлом, выставив вперед правую ногу, командует парадом. Слева – несколько теряющихся вдали шеренг солдат, изображенных с лица. Они подняли правые руки до уровня плеча и держат ружья точно по вертикали; каждый слегка выставил вперед правую ногу, левая ступня повернута наружу. На земле пересекающиеся линии образуют под ногами солдат большие квадраты, служащие ориентирами для различных фаз и позиций смотра. На заднем плане виден дворец в классическом стиле. Колонны дворца про-

[22] В связи с данной медалью см. статью Ж. Жакьо (J. Jacquiot) в журн. *Le Club français de la médaille*, 4e trimestre 1970, p. 50–54. См. ил. 2.

должают колонны, образованные солдатами с поднятыми ружьями, точно так же плиточный пол продолжает линии на земле. А над балюстрадой, увенчивающей здание, – статуи, представляющие танцующие фигуры: волнистые линии, округлые жесты, хитоны. Мрамор повторяет движения, воплощающие принцип гармонического единства. Солдаты с другой стороны замерли в единообразно повторяемом строе шеренг и линий: тактическое единство. Архитектурный порядок, раскрывающийся наверху в фигурах танца, навязывает свои правила и геометрию дисциплинированным людям на земле. Колонны власти. «Превосходно, – заметил однажды о полке великий князь Михаил после часового парада. – Вот только *они дышат*»[23].

Будем рассматривать эту медаль как свидетельство о моменте, когда парадоксальным, но значимым образом ярчайшее проявление верховной власти государя совпадает с возникновением ритуалов, характерных для дисциплинарной власти. Почти невыносимая видимость монарха превращается в неизбежную видимость подданных. И именно это обращение видимости в практическое действие дисциплин должно обеспечивать отправление власти даже в ее самых глубинных проявлениях. Мы входим в век бесконечного экзамена и принудительной объективации.

2. *Экзамен вводит индивидуальность в документальное поле.* Экзамен оставляет после себя детальный архив, повествующий о телах и днях. Располагая индивидов в поле надзора, он охватывает их также сетью записей; он помещает их в толщу улавливающих и фиксирующих документов. Экзаменационные процедуры непременно сопровож-

[23] Kropotkine, *Autour d'une vie*, 1902, p. 9. Указано Ж. Кангильхемом.

лались системой интенсивной записи и накопления документов. «Власть записи» сформировалась как существенно важная деталь механизмов дисциплины. Во многом она повторяет традиционные методы административной документации, хотя и использует особые техники и важные нововведения. Некоторые из них касаются методов идентификации и описания. Проблема идентификации и описания встает в армии, где требуется разыскивать дезертиров, избегать повторного рекрутирования одних и тех же людей, корректировать фиктивные сводки, представленные офицерами, знать служебные обязанности и ценность каждого, устанавливать точный баланс без вести пропавших и убитых. Эта проблема решается в больницах, где требуется устанавливать личность больных, изгонять симулянтов, прослеживать эволюцию болезней, проверять эффективность лечения, вести учет аналогичных случаев и фиксировать начало эпидемий. Эта проблема встает в учебных заведениях, где определяют знания каждого индивида, его уровень и способности, применение, какое он может получить по окончании учебы: «Реестр, с которым можно справиться когда нужно и где нужно, позволяет узнать нравы детей, их успехи с точки зрения благочестия, в катехизисе, письме и чтении за время обучения в школе, их дух и мысли с момента поступления в школу»[24].

Отсюда – возникновение целого ряда кодов дисциплинарной индивидуальности, позволяющих записывать посредством приведения к однородной форме индивидуальные черты, выявленные в ходе экзамена: физический код примет, медицинский код симптомов, школьный или военный код поведения и успехов. Эти коды были еще

[24] M. I. D. B., *Instruction méthodique pour l'école paroissiale*, 1669, p. 64.

очень несовершенны с точки зрения качества и количества, но они знаменовали первую стадию «формализации» индивидуального в рамках отношений власти.

Другие новшества дисциплинарной записи связаны с соотнесением этих элементов, накоплением документов, распределением их по сериям, организацией полей сравнения, позволяющих классифицировать, устанавливать категории, выводить среднее арифметическое, фиксировать норму. Больницы XVIII столетия, в частности, были большими лабораториями, где применялись методы записи и документирования. Ведение журналов, их спецификация, способы переноса информации из одних журналов в другие, передача их во время обходов, сопоставление на регулярных совещаниях врачей и управляющих, сообщение содержащихся в них данных в центральные органы (в больницу или главное бюро богоугодных заведений), учет болезней, средств лечения и смертей на уровне больницы, города и даже государства в целом — все было подчинено дисциплинарному режиму. Среди важнейших условий хорошей медицинской «дисциплины» следует упомянуть методы записи, позволяющие интегрировать индивидуальные данные в суммирующие системы таким образом, чтобы они не затерялись; чтобы каждый индивид мог быть отражен в сводном журнале и, наоборот, чтобы все данные индивидуального экзамена могли влиять на суммирующие подсчеты.

Благодаря аппарату записи экзамен открывает две взаимосвязанные возможности: образование индивида как объекта описания и анализа, но осуществляемое не для того чтобы свести его к «видовым» чертам (как это делают

натуралисты по отношению к живым существам), а для того чтобы утвердить его в его индивидуальных чертах, в его конкретной эволюции, в его собственных способностях в рамках постоянного корпуса знания; и построение сравнительной системы, позволяющей измерять общие явления, описывать группы и коллективные факты, исчислять различия между индивидами, распределять их в данном «населении».

Эти маленькие техники записи, регистрации, организации полей сравнения, разнесения фактов по столбцам и таблицам, столь привычные нам сегодня, имели решающее значение в эпистемологическом «раскрытии» наук об индивиде. Безусловно, справедливо было бы поставить аристотелевский вопрос: возможна ли и законна ли наука об индивиде? Вероятно, великая проблема требует и великого решения. Но есть маленькая историческая проблема – проблема возникновения в конце XVIII веке того, что, вообще говоря, можно было бы назвать «клиническими» науками; проблема введения индивида (уже не вида) в поле познания; проблема введения индивидуального описания, перекрестного опроса, анамнеза, «дела» в общий оборот научного дискурса. Несомненно, за этим простым фактическим вопросом должен последовать ответ, лишенный величия: надо присмотреться к процедурам записи и регистрации, к механизмам экзамена, формированию дисциплинарных механизмов и нового типа власти над телами. Является ли это рождением наук о человеке? Вероятно, его надо искать в этих малоизвестных архивах, где берет начало современная игра принуждения тел, жестов, поведения.

3. *Экзамен со всеми его техниками документации превращает каждого индивида в конкретный «случай»*. Случай представляет собой одновременно и объект для отрасли знания, и объект для ветви власти. Отныне случай (в отличие от случая в казуистике или юриспруденции) не есть совокупность обстоятельств, определяющая действие и способная видоизменить применение правила; случай есть индивид, поскольку его можно описать, оценить, измерить, сравнить с другими в самой его индивидуальности; но также индивид, которого требуется муштровать или исправлять, классифицировать, приводить к норме, исключать и т. д.

Долгое время обычная индивидуальность – индивидуальность простого человека – оставалась ниже порога описания. Быть рассматриваемым, наблюдаемым, детально исследуемым и сопровождаемым изо дня в день непрерывной записью составляло привилегию. Создаваемые при жизни человека хроника, жизнеописание, историография составляли часть ритуалов его власти. Дисциплинарные методы полностью изменили это отношение, понизили порог, начиная с которого индивидуальность подлежит описанию, и превратили описание в средство контроля и метод господства. Описание теперь не памятник для будущего, а документ для возможного использования. И эта новая приложимость описания особенно заметна в строгой дисциплинарной среде: ребенок, больной, сумасшедший, осужденный все чаще (начиная с XVIII века) и по кривой, определяемой дисциплинарными механизмами, становятся объектами индивидуальных описаний и биографических повествований. Превращение реальных

жизней в запись более не является процедурой создания героев; оно оказывается процедурой объективации и подчинения. Тщательно прослеживаемая жизнь умственно больных или преступников относится как прежде летопись жизни королей или похождения знаменитых бандитов – к определенной политической функции записи; но совсем в другой технике власти.

Экзамен как установление – одновременно ритуальное и «научное» – индивидуальных различий, как пришпиливание каждого индивида в его собственной особенности (в противоположность церемонии, где статус, происхождение, привилегии и должность манифестируются со всей зрелищностью подобающих им знаков отличия) ясно свидетельствует о возникновении новой модальности власти, при которой каждый индивид получает в качестве своего статуса собственную индивидуальность и при которой благодаря своему статусу он связывается с качествами, размерами, отклонениями, «знаками», которые характеризуют его и делают «случаем».

Наконец, экзамен находится в центре процедур, образующих индивида как проявление и объект власти, как проявление и объект знания. Именно экзамен, комбинируя иерархический надзор и нормализующее наказание, обеспечивает важнейшие дисциплинарные функции распределения и классификации, максимальное выжимание сил и экономию времени, непрерывное генетическое накопление, оптимальную комбинацию способностей, а тем самым – формирование клеточной, органической, генетической и комбинированной индивидуальности. Благодаря экзамену «ритуализируются» те дисциплины, которые

можно охарактеризовать одним словом: они суть модальность власти, учитывающей индивидуальные отличия.

* * *

Дисциплины отмечают момент, когда происходит оборот, так сказать, политической оси индивидуализации. В некоторых обществах (феодальный строй лишь одно из них) индивидуализация наиболее развита там, где отправляется власть государя, и в высших эшелонах власти. Чем больше у человека власти или привилегий, тем больше он выделяется как индивид в ритуалах, дискурсах и пластических представлениях. «Имя» и генеалогия, помещающие индивида в толщу родственных связей, деяния, которые показывают превосходство в силе и увековечиваются в литературных повествованиях, церемонии, самим своим устроением демонстрирующие отношения власти, памятники или дары, обеспечивающие жизнь после смерти, пышность и чрезмерность расходов, множественные пересекающиеся верноподданнические и сюзеренные связи – все это процедуры «восходящей» индивидуализации. В дисциплинарном режиме, напротив, индивидуализация является «нисходящей»: чем более анонимной и функциональной становится власть, тем больше индивидуализируются те, над кем она отправляется; она отправляется через надзор, а не церемонии; через наблюдение, а не мемориальные повествования; через основанные на «норме» сравнительные измерения, а не генеалогии, ведущиеся от предков; через «отклонения», а не подвиги. В системе дисциплины ребенок индивидуализируется больше, чем

взрослый, больной – больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник – больше, чем нормальный и законопослушный. В каждом упомянутом случае все индивидуализирующие механизмы нашей цивилизации направлены именно на первого; если же надо индивидуализировать здорового, нормального и законопослушного взрослого, всегда спрашивают: много ли осталось в нем от ребенка, какое тайное безумие он несет в себе, какое серьезное преступление мечтал совершить. Все науки, формы анализа и практики, имеющие в своем названии корень «психо», происходят из этого исторического переворачивания процедур индивидуализации. Момент перехода от историко-ритуальных механизмов формирования индивидуальности к научно-дисциплинарным механизмам, когда нормальное взяло верх над наследственным, а измерение – над статусом (заменив тем самым индивидуальность человека, которого помнят, индивидуальностью человека исчисляемого), момент, когда стали возможны науки о человеке, есть момент, когда были осуществлены новая технология власти и новая политическая анатомия тела. И если с начала средних веков по сей день «приключение» есть повествование об индивидуальности, переход от эпоса к роману, от благородного деяния к сокровенному своеобразию, от долгих скитаний к внутренним поискам детства, от битв к фантазиям, то это тоже вписывается в формирование дисциплинарного общества. Приключения нашего детства теперь находят выражение не в le bon petit Henry*, а в невзгодах маленького Ганса; «Роман о Розе» пишет сегодня Мэри Барнс; вместо Ланцелота мы имеем президента Шребера**.

Часто говорят, что модель общества, составными элементами которого являются индивиды, заимствована из абстрактных юридических форм договора и обмена. С этой точки зрения товарное общество представляется как договорное объединение отдельных юридических субъектов. Возможно, это так. Во всяком случае, политическая теория XVII–XVIII столетий, видимо, часто следует этой схеме. Но не надо забывать, что в ту же эпоху существовала техника конституирования индивидов как коррелятов власти и знания. Несомненно, индивид есть вымышленный атом «идеологического» представления об обществе; но он есть также реальность, созданная специфической технологией власти, которую я назвал «дисциплиной». Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «подавляет», «цензурует», «извлекает», «маскирует», «скрывает». На самом деле, власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно получить об индивиде, принадлежат к ее продукции.

Нет ли некоторого преувеличения в выведении такой власти из мелких хитростей дисциплины? Как могут они иметь столь масштабные последствия?

Глава 3

Паноптизм

Ознакомимся с опубликованным в конце XVII века положением о мерах, принимаемых в том случае, когда городу угрожает эпидемия чумы[1].

Во-первых, строгое пространственное распределение: закрытие города и ближайших окрестностей, запрещение покидать город под страхом смерти, уничтожение всех бродячих животных; разделение города на отдельные четко очерченные кварталы, каждый из которых управляется «интендантом». Каждая улица находится под контролем синдика; покинув ее, он будет приговорен к смерти. В назначенный день всем приказывают запереться в домах и запрещают выходить под страхом смерти. Синдик собственноручно запирает дверь каждого дома снаружи, уносит ключи и передает их интенданту квартала, который хранит их до окончания карантина. Каждая семья должна запастись провизией. Однако для вина и хлеба между ули-

[1] *Archives militaires de Vincennes*, A 1 516 91 sc. Pièce. Этот регламент имеет большое сходство с целым рядом других, того же времени или более ранних.

между улицей и домами оборудуются деревянные желоба, по которым каждый человек получает свой рацион без малейшего контакта с поставщиками и другими горожанами. Мясо, рыба и пряности доставляются в дома в корзинах, переправляемых по канатам с помощью шкивов. Если выйти из дому совершенно необходимо, то выходят по очереди, дабы избежать встреч. По улицам ходят только интенданты, синдики и часовые. Между зараженными домами от трупа к трупу бродят «во́роны», чья смерть никого не волнует: «бедолаги, которые переносят больных, закапывают умерших, убирают улицы и выполняют много презренных и мерзких обязанностей». Разбитое на квадраты, неподвижное, застывшее пространство. Каждый индивид закреплен на своем месте. А если он уходит, то рискует лишиться жизни, заразиться или быть наказанным.

Непрерывное инспектирование. Неусыпный надзор повсюду: «многочисленное ополчение под командованием опытных офицеров и почтенных горожан», сторожевые посты у ворот, ратуши и во всех кварталах, для того чтобы обеспечить немедленное повиновение людей и абсолютную власть магистратов, а «также для предотвращения любых беспорядков, краж и хищений». У всех городских ворот – наблюдательные посты, на углу каждой улицы – часовые. Ежедневно интендант приходит в порученный ему квартал, осведомляется, выполняют ли свои задачи синдики и не жалуются ли на них жители, «наблюдающие за их действиями». Ежедневно синдик проходит вверенную ему улицу, останавливается перед каждым домом: заставляет всех жителей предстать в окнах (те, чьи жили-

ща смотрят во двор, специально прорубают окна на улицу, и в них должны появляться только они сами), вызывает каждого по имени и осведомляется о состоянии здоровья – «жители обязаны отвечать правду под страхом смерти»; если кто-либо не появляется в окне, синдик обязан осведомиться о причинах: «Так он без особого труда выясняет, не укрывают ли умерших или больных». Каждый заперт в своей клетке, каждый – у своего окна, откликается на свое имя и показывается, когда этого требуют, – великий смотр живых и мертвых.

Надзор основывается на системе постоянной регистрации: синдики докладывают интендантам, интенданты – городским старшинам или мэру. С начала «закрытия» города составляется список всех находящихся в нем жителей. В него заносятся «фамилия, имя и пол (независимо от сословия)». Один экземпляр передается квартальному интенданту, второй – в канцелярию ратуши, по третьему синдик проводит ежедневную перекличку. Все замеченное во время обходов (смерти, болезни, жалобы, нарушения) записывается и докладывается интендантам и представителям власти. Последние полностью контролируют лечение и назначают ответственного врача. Никакой другой врач не имеет права лечить, никакой аптекарь не может изготавливать лекарства, никакой исповедник не смеет посетить больного, не получив письменного уведомления ответственного врача о необходимости «препятствовать сокрытию заразных больных и их лечению без ведома должностных лиц». Регистрация всякой патологии ведется постоянно и централизованно. Отношение каждого индивида к собственной болезни и смерти проходит через

представителей власти, проводимую ими регистрацию, выносимые ими решения.

Через пять-шесть дней после начала карантина проводится поочередная дезинфекция домов. Всех обитателей заставляют выйти. В каждой комнате поднимают или подвешивают «мебель и утварь», комнату поливают ароматической жидкостью и, тщательно законопатив окна и двери и залив замочные скважины воском, поджигают ее. Пока она горит, дом остается запертым. При входе и выходе дезинфекторов обыскивают «в присутствии жителей, чтобы убедиться, что они ничего не принесли и не унесли». Четыре часа спустя жителям разрешают вернуться в дом.

Замкнутое, сегментированное пространство, где просматривается каждая точка, где индивиды водворены на четко определенные места, где каждое движение контролируется, где все события регистрируются, где непрерывно ведущаяся запись связывает центр с периферией, где власть действует безраздельно по неизменной иерархической модели, где каждый индивид постоянно локализован, где его изучают и относят к живым существам, больным или умершим, – все это образует компактную модель дисциплинарного механизма. Чуму встречают порядком. Порядок должен препятствовать возможному смешению, вызываемому болезнью, которая передается при смешении тел, или злом, возрастающим, когда страх и смерть сметают запреты. Порядок «отводит» каждому индивиду его место, его тело, болезнь и смерть, его благосостояние посредством вездесущей и всеведущей власти, которая равномерно и непрерывно подразделяется вплоть до конечного определения индивида: того, что характеризует его, принад-

лежит ему, происходит с ним. Против чумы, которая есть смешение, дисциплина вводит в действие свою власть, власть анализа. Чума обросла литературным вымыслом, представляющим ее как празднество: приостановка законов, снятие запретов, безумства, смешение тел без различия, сбрасывание масок, забвение индивидами своей законной идентичности и облика, по которым их узнавали, возможность проявления истины совсем иного рода. Но есть также политический, прямо противоположный образ: чума — не общий праздник, а строгие границы; не нарушение законов, а проникновение правил даже в мельчайшие детали повседневной жизни посредством совершенной иерархии, обеспечивающей капиллярное функционирование власти; не надеваемые и сбрасываемые маски, а присвоение каждому индивиду его «истинного» имени, «истинного» места, «истинного» тела и «истинной» болезни. Чума как форма одновременно реального и воображаемого беспорядка имеет своим медицинским и политическим коррелятом дисциплину. За дисциплинарными механизмами можно увидеть неизгладимый след, оставленный в памяти «заразой»: чумой, бунтами, преступлениями, бродяжничеством, дезертирством, людьми, которые появляются и исчезают, живут и умирают без всякого порядка.

Если верно, что проказа породила ритуалы исключения, до некоторой степени предопределившие модель и общую форму Великого Заключения, то чума породила дисциплинарные схемы. Она вызывает не крупное бинарное разделение между двумя группами людей, а множественные подразделения, индивидуализирующие распределения, глубинную структуру надзора и контроля,

интенсификацию и разветвление власти. Прокаженного вовлекают в практику отвержения и изгнания—отгораживания; он предоставляется собственной судьбе в массе, которую бесполезно дифференцировать. Те же, кто болен чумой, оказываются поглощенными детализированным тактическим подразделением, где индивидуальные различия суть ограничивающие следствия власти, которая умножает, артикулирует и подразделяет сама себя. Полное заключение – с одной стороны, выверенная муштра – с другой. Прокаженный – и его отделение; чума – и вместе с ней подразделения. Изгнание прокаженного и домашний арест больного чумой – разные политические мечты. Первая – мечта о чистой общине, вторая – о дисциплинированном обществе. Два способа отправления власти над людьми, контроля над их отношениями, устранения опасных смешений. Пораженный чумой город, насквозь пронизанный иерархией, надзором, наблюдением, записью; город, обездвиженный расширившейся властью, которая в той или иной форме воздействует на все индивидуальные тела, – вот утопия совершенно управляемого города. Чума (по крайней мере ее возможное распространение) – испытание, позволяющее умозрительно определить отправление дисциплинарной власти. Для того чтобы заставить права и законы функционировать в соответствии с чистой теорией, юристы представляли себя в естественном состоянии; для того чтобы увидеть действие совершенных дисциплин, правители воображали состояние чумы. В основании дисциплинарных схем лежит образ чумы, воплощающей все формы смешения и беспорядка, точно так же как в основании схем ис-

ключения – образ прокаженного, лишенного всяких человеческих контактов.

Итак, перед нами различные, но отнюдь не несовместимые схемы. Мы видим, что они постепенно сближаются. И особенность XIX столетия состоит в том, что оно применило к пространству исключения, символический обитатель которого – прокаженный (а реальное население – нищие, бродяги, умалишенные, нарушители порядка), технику власти, присущую дисциплинарному распределению. Обращаться с «прокаженными» как с «чумными», переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения, применять к нему методы аналитического распределения, присущие власти; индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для «клеймения» исключения, – вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице. Вообще говоря, все эти учреждения для контроля над индивидом действовали в двойном режиме: бинарного разделения и клеймения (сумасшедший – не сумасшедший, опасный – безобидный, нормальный – ненормальный), а также принудительного и дифференцирующего распределения (кто он, где должен находиться, как его охарактеризовать, как узнать, как осуществить индивидуальный постоянный надзор за ним и т. д.). С одной стороны, с прокаженными обращаются как с больными чумой, к исключенным применяют тактику индивидуализирующей дисциплины. С другой сторо-

ны, универсальность дисциплинарного контроля позволяет выделить и пометить «прокаженного», использовать против него дуалистические механизмы исключения. Постоянное разделение на нормальное и ненормальное, которому подвергается каждый индивид, возвращает нас в наше время, когда бинарное клеймение и изгнание прокаженного применяются совсем к другим объектам. Существование целого ряда методов и институтов (предназначенных для выявления и исправления ненормальных, для контроля над ними) вводит в игру дисциплинарные механизмы, порожденные страхом перед чумой. Все механизмы власти, которые даже сегодня возводят вокруг ненормального индивида, чтобы пометить и изменить его, строятся из этих двух форм, являющихся их отдаленными предшественницами.

* * *

«Паноптикон» Бентама – архитектурный образ этой композиции. Принцип его нам известен: по периметру – здание в форме кольца. В центре – башня. В башне – широкие окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по длине во всю толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь (против соответствующего окна башни), а другое – наружу (таким образом вся камера насквозь просматривается). Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эф-

фекту контржурного света из башни, стоящей прямо против света, можно наблюдать четко вырисовывающиеся фигурки пленников в камерах периферийного «кольцевого» здания. Сколько камер-клеток, столько и театриков одного актера, причем каждый актер одинок, абсолютно индивидуализирован и постоянно видим. Паноптическое устройство организует пространственные единицы, позволяя постоянно видеть их и немедленно распознавать. Короче говоря, его принцип противоположен принципу темницы. Вернее, из трех функций карцера – заточать, лишать света и скрывать – сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Яркий свет и взгляд надзирателя пленят лучше, чем тьма, которая в конечном счете защищает заключенного. Видимость – ловушка.

Прежде всего, такое устройство делало возможным – в качестве «отрицательного» результата – избежать образования тех скученных, кишащих и ревущих масс, которые населяли места заключения; их изображал Гойя и описывал Говард. Каждый индивид находится на своем месте, надежно заперт в камере, откуда его видит надзиратель; но внутренние стены мешают обитателю камеры установить контакт с соседями. Его видят, но он не видит. Он является объектом информации, но никогда – субъектом коммуникации. Расположение его камеры напротив центральной башни обеспечивает его продольную видимость; но перегородки внутри кольца, эти отдельные камеры, предполагают поперечную невидимость. И эта невидимость гарантирует порядок. Если в камерах сидят преступники, то нет опасности заговора, попытки коллективного побега, планов новых, будущих преступлений; если боль-

ные — нет опасности распространения заразы; если умалишенные — нет риска взаимного насилия; если школьники, то исключено списывание, гвалт, болтовня, пустая трата времени; если рабочие — нет драк, краж, компаний и развлечений, замедляющих работу, понижающих ее качество или приводящих к несчастным случаям. Толпа — плотная масса, место множественных обменов, схождения индивидуальностей и коллективных проявлений — устраняется и заменяется собранием отделенных индивидуальностей. С точки зрения охранника, толпа заменяется исчислимым и контролируемым множеством, с точки зрения заключенных — изоляцией и поднадзорным одиночеством[2].

Отсюда — основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. Устроить таким образом, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если он осуществляется с перерывами, чтобы совершенство власти делало необязательным ее действительное отправление и чтобы архитектурный аппарат паноптикона был машиной, создающей и поддерживающей отношение власти независимо от человека, который ее отправляет, — короче говоря, чтобы заключенные были вовлечены в ситуацию власти, носителями которой они сами же являются. Для достижения этого результата постоянного надзора за заключенным одновременно слишком много и слишком мало: слишком мало, поскольку важно лишь то, чтобы заключенный знал, что за ним наблюдают; слишком много — поскольку нет нужды в постоянном надзоре. Поэтому

[2] J. Bentham, *Panopticon*, *Works*, ed. Bowring, t. IV, p. 60–64. См. ил. 17.

Бентам сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь перед глазами длинную тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение всегда возможно. Для того чтобы сделать присутствие или отсутствие надзирателя неустановимым и чтобы заключенные в своих камерах не могли видеть даже его тень или очертания, Бентам предусмотрел не только решетчатые ставни на окнах центрального зала наблюдения, но и внутренние перегородки, пересекающие этот зал под прямым углом. Между секторами — не двери, а зигзагообразные перегородки: ведь малейший шум, проблеск света в дверном проеме могут выдать присутствие охранника[3]. Паноптикон — машина для разбиения пары «видеть — быть видимым»: человек в кольцеобразном здании полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит все, но сам невидим[4].

Это важный механизм, ведь он автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности. Принцип власти заключается не столько в человеке, сколько в определенном, продуманном распределении тел, поверхностей, света и взглядов; в расстановке, внутренние механизмы которой производят отношение, вовлекающее индивидов. Церемонии, ритуалы, знаки, посредством которых суверен проявлял «избыток власти», теперь бесполезны. Действуют механизмы, поддерживающие асимметрию, дисбаланс, различие. Следовательно, не имеет значения, кто

[3] В «Постскриптуме к Паноптикону» (1791) Бентам добавляет мрачные, выкрашенные в черный цвет галереи вокруг центральной вышки; каждая из них позволяет наблюдать за двумя этажами камер.

[4] См. ил. 17. В первом варианте «Паноптикона» Бентам предусмотрел также слуховой надзор с помощью труб, проведенных из камер в центральную башню. В «Постскриптуме» он отказался от этой идеи, возможно потому, что она не позволяла ввести принцип асимметрии и помешать заключенным слышать надзирателя, точно так же

отправляет власть. Любой индивид, выбранный почти наугад, может запустить машину: в отсутствие начальника — члены его семьи, его друзья, посетители и даже слуги[5]. Точно так же неважно, каков движущий мотив: нескромное любопытство, хитрость ребенка, жажда знания философа, желающего осмотреть этот музей человеческой природы, или злость тех, кто находит удовольствие в выслеживании и наказании. Чем больше этих анонимных и сменяющихся наблюдателей, тем больше заключенный рискует быть застигнутым врасплох, тем острее становится тревожное сознание поднадзорности. Паноптикон — чудодейственная машина, которая, как бы ее ни использовали, производит однородные воздействия власти.

Реальное подчинение механически рождается из вымышленного отношения. Так что нет нужды прибегать к насильственным средствам принуждения преступника к хорошему поведению, сумасшедшего — к спокойствию, рабочего — к труду, школьника — к прилежанию, больного — к соблюдению предписаний и рецептов. Бентам восхищался тем, что паноптические заведения могут быть столь облегченными: здесь нет ни решеток, ни цепей, ни увесистых замков. Достаточно четких перегородок и правильно расположенных проемов. Громоздкость старых «домов безопасности» крепостной архитектуры можно заменить простой, экономичной геометрией «домов надежности». Эффективность власти, ее принуждающая сила в каком-то смысле перешли на другую сторону — на сторону поверхности ее приложения. Тот, кто помещен в поле видимости и знает об этом, принимает на себя ответственность за принуждения власти; он допускает их спонтан-

как надзиратель слышит их. Юлиус попытался разработать систему асимметричного прослушивания (N. H. Julius, *Leçons sur les prisons*, 1831, p. 18; пер. на франц. яз.).

[5] J. Bentham, *Panopticon*, *Works*, t. IV, p. 45.

ную игру на самом себе; он впитывает отношение власти, в котором одновременно играет обе роли; он становится началом собственного подчинения. Благодаря этому факту внешняя власть может уменьшить свою физическую тяжесть, она склоняется к бестелесному воздействию. И чем ближе она к этому пределу, тем более постоянными, глубинными и стабильными становятся ее проявления и последствия: вечная победа достигается без малейшего физического столкновения и всегда предрешена заранее.

Бентам не говорит, вдохновил ли его на создание проекта паноптикона зверинец, построенный Ле Во* в Версале, первый зверинец, элементы которого не были разбросаны по парку (как это делалось традиционно)[6]. В центре находился восьмиугольный павильон, где на втором этаже была единственная комната – *салон* короля. Со всех сторон салона располагались широкие окна, выходившие на семь клеток с животными (с восьмой стороны был вход). Во времена Бентама этот зверинец уже не существовал. Но в плане паноптикона ощущается то же стремление к индивидуализирующему наблюдению, типизации и классификации, к аналитическому обустройству пространства. Паноптикон – королевский зверинец: зверь заменен человеком, индивидуальное распределение – специфическим объединением, король – механизмами неприметной власти. В чем-то паноптикон решает задачи натуралиста. Он позволяет устанавливать различия: среди больных – наблюдать симптомы каждого больного индивида, не опасаясь того, что теснота в палатах, миазмы, распространение заразы смажут клиническую картину; среди школьников – следить за успехами каждого ученика (исключая

[6] G. Loisel, *Histoire des ménageries*, 1912, t. II, p. 104–107. См. ил. 14.

подражание или списывание), оценивать способности и характеры, производить жесткие классификации и отличать (ориентируясь на нормальное развитие) «лень и упорство» от «неизлечимой глупости»; среди рабочих – оценивать способности каждого, сравнивать время, затраченное ими на выполнение конкретной работы, а в случае поденной оплаты – исчислять их зарплаты[7].

Это с одной стороны. С другой стороны, паноптикон – лаборатория; он может использоваться как машина для проведения экспериментов, для изменения поведения, для муштры или исправления индивидов. Для проведения опытов с лекарствами и отслеживания их воздействия. Для экспериментального применения различных наказаний к заключенным в соответствии с их преступлениями и характером и изыскания наиболее эффективных наказаний. Для одновременного обучения рабочих различным технологиям, для выяснения, которая из них лучшая. Для проведения педагогических экспериментов – в частности, нового возвращения к знаменитой проблеме воспитания в изоляции. Можно посмотреть, что произойдет с используемыми в этих экспериментах сиротами на шестнадцатом или восемнадцатом году жизни при знакомстве с другими юношами или девушками. Можно проверить, прав ли Гельвеций, полагавший, что всякий человек может обучиться всему. Можно проследить «генеалогию всякой достойной внимания идеи». Можно воспитывать детей в различных системах мышления, внушая некоторым из них, что дважды два не равно четырем или что луна – сыр, а потом в возрасте двадцати-двадцати пяти лет собрать их вместе; тогда начнутся дискуссии, куда более

[7] *Ibid.*, p. 60–64.

продуктивные, чем проповеди или лекции, на которые затрачивается столько денег; по крайней мере появится возможность сделать открытия в области метафизики. Паноптикон – привилегированное место для экспериментов над людьми и для анализа, с полной достоверностью показывающего, какие преобразования могут быть их результатами. Паноптикон обеспечивает даже средство контроля за собственными механизмами. Из центральной башни начальник может шпионить за выполняющими его распоряжения служащими: фельдшерами, врачами, мастерами, учителями, надзирателями. Он может постоянно судить об их действиях, изменять их поведение, навязывать им методы, которые считает наилучшими. Даже сам начальник может стать объектом наблюдения. Инспектор, неожиданно появившийся в центре паноптикона, с первого взгляда поймет (и ничто от него не укроется), как действует все заведение. Да и, в любом случае, разве начальник, встроенный в сердцевину этого архитектурного сооружения, не становится его неотъемлемой частью? Некомпетентный врач, давший распространиться заразе, некомпетентный директор тюрьмы или руководитель мастерской падут первыми жертвами эпидемии или бунта. «Всеми средствами, какие я сумел придумать, – говорит хозяин паноптикона, – я связал свою судьбу с судьбами заключенных»[8]. Паноптикон действует как своего рода лаборатория власти. Благодаря обеспечиваемым им механизмам наблюдения он выигрывает в эффективности и способности воздействовать на поведение людей; знание следует за успехами власти, открывающей новые объекты познания на всех поверхностях, где она отправляется.

[8] J. Bentham, *Panopticon versus New South Wales*, ed. Bowring, t. IV, p. 177.

Охваченный чумой город, паноптическое заведение – различия между ними существенно важны. Они свидетельствуют о произошедших за полтора столетия преобразованиях в дисциплинарной программе. В первом случае налицо исключительная ситуация: против чудовищного зла восстает власть; она делает себя вездесущей и видимой; она изобретает новые механизмы; она разгораживает, обездвиживает, разделяет; на какое-то время возводит сразу контргород и совершенное общество; она устанавливает некое идеальное функционирование, которое, однако, в конечном счете сводится (как и противостоящее ему зло) к простому дуализму жизни и смерти: все, что движется, несет смерть, потому движущееся убивают. Паноптикон, с другой стороны, следует понимать как обобщаемую модель функционирования; как способ определения отношений власти в терминах повседневной жизни людей. Несомненно, Бентам рассматривает его как обособленный институт, замкнутый на самом себе. Утопии, абсолютно замкнутые на самих себе, совершенно обычны. По сравнению с разрушенными тюрьмами, переполненными и напичканными орудиями пыток, какими мы видим их на гравюрах Пиранези*, паноптикон представляет собой жестокую, остроумно устроенную клетку. Тот факт, что он произвел, и даже в наше время, столь многочисленные вариации, будь то на бумаге или в действительности, свидетельствует о его чрезвычайной притягательности для умов в течение почти двух столетий. Но не следует понимать паноптикон как плод мечты: он – диаграмма меха-

низма власти, сведенной к ее идеальной форме; ее действие (если отвлечься от преград, сопротивления и трения) должно быть представлено как чистая архитектурная и оптическая система: по сути дела, паноптикон — форма политической технологии, которая может и должна быть отделена от всякого конкретного применения.

Паноптикон многофункционален; он служит для исправления заключенных, но и для лечения больных, обучения школьников, ограничения активности умалишенных, надзора за рабочими и принуждения к труду нищих и лентяев. Он представляет собой некий тип размещения тел в пространстве, распределения индивидов относительно друг друга, иерархической организации, расположения центров и каналов власти, определения ее орудий и методов вмешательства, применимых в больницах, на фабриках, в школах и тюрьмах. Везде, где приходится иметь дело с множественностью индивидов, которым надо навязать определенное задание или конкретную форму поведения, может быть использована паноптическая схема. Она применима — с необходимыми изменениями — ко «всем заведениям, где на сравнительно небольшом пространстве требуется держать под надзором некоторое количество людей»[9].

В каждом из своих применений паноптическая схема позволяет совершенствовать отправление власти, предусматривая для этого несколько путей. Она уменьшает число представителей власти, одновременно увеличивая число людей, подлежащих ее воздействию. Она делает возможным вмешательство власти в любой момент, и ее постоянное давление действует даже раньше, чем соверше-

[9] *Ibid.*, p. 40. Бентам рассматривает в качестве примера исправительный дом, поскольку он выполняет много различных функций, в том числе надзор, автоматический контроль, *заточение, обеспечение одиночества, принудительный труд, просвещение.*

ны проступки, ошибки или преступления. В условиях паноптикона сила власти заключается в том, что она никогда не вмешивается, а отправляется самопроизвольно и бесшумно, она образует механизм, чьи действия вытекают одно из другого. Не располагая никакими материальными инструментами, кроме архитектуры и геометрии, власть воздействует непосредственно на индивидов, она «дает сознанию власть над сознанием». Паноптическая схема усиливает любой аппарат власти: она обеспечивает экономию (оборудования, персонала, времени) и эффективность (благодаря своему превентивному характеру, непрерывному действию и автоматизму). Она есть способ достижения власти «в прежде беспримерном количестве», «великий и новый инструмент правления... его огромное превосходство заключается в большой силе, какую он способен придать *любому* институту, к которому его сочтут целесообразным применить»[10].

Паноптикон – род «колумбова яйца» в сфере политического. И впрямь, он может быть интегрирован в любую функцию (образование, медицинское лечение, производство, наказание); он может усилить эту функцию, тесно переплетаясь с ней; он может образовать смешанный механизм, где отношения власти (и знания) точно и в мельчайших деталях приспособлены к процессам, подлежащим надзору; он может установить прямую пропорцию между «избыточной властью» и «избыточным продуктом». Словом, он обеспечивает такое устройство, где отправление власти не добавляется извне (как жесткое принуждение или тяжесть) к функциям, в которых он участвует, но присутствует в них столь тонко и ловко, что по-

[10] *Ibid.*, p. 65.

вышает их эффективность, одновременно укрепляя свои точки сцепления. Паноптическое устройство – не просто шарнир или теплообменник между механизмом власти и функцией, но способ заставить отношения власти действовать в некой функции, а функцию – действовать через отношения власти. Паноптическая модель способна «перестроить мораль, сохранить здоровье, укрепить промышленность, распространить образование, снизить государственные затраты, поставить экономику на твердую почву, как бы на скалу, и распутать, а не рассечь гордиев узел законов о бедных, и все это – благодаря простой архитектурной идее»[11].

Кроме того, устройство этой машины таково, что ее замкнутая структура не исключает постоянного внешнего участия: мы видели, что любой человек может прийти в центральную башню, осуществить надзор и при этом ясно понять принцип действия механизма надзора. В сущности, всякое паноптическое заведение (даже такое в высшей степени закрытое, как тюрьма) вполне может подвергаться таким нерегулярным, но вместе с тем постоянным инспекциям – не только со стороны назначенных контролеров, но и со стороны публики: любой член общества имеет право прийти и собственными глазами увидеть, как действуют школы, больницы, заводы и тюрьмы. Стало быть, нет опасности, что рост власти, обеспечиваемый паноптической машиной, приведет к тирании; это дисциплинарное устройство будет контролироваться демократически, поскольку оно будет постоянно открыто «великому судебному комитету всего мира»[12]. Паноптикон, устроенный столь хитроумно, что позволяет наблюдателю наблю-

[11] *Ibid.*, p. 39.

[12] Представляя себе непрерывный поток посетителей, проникающих по подземному ходу в центральную башню и оттуда наблюдающих круг паноптикона, не знал ли Бентам Панорамы, которые строил тогда же Баркер? Первая из них построена, вероятно, в 1787 г. Там посетители, располагаясь в центре, могли наблюдать развертывающиеся вокруг них пейзаж, город, битву. Посетители находились как раз там, откуда в паноптической схеме исходил взгляд правителя.

дать сразу за множеством различных индивидов, позволяет также каждому прийти и наблюдать за любым наблюдателем. Машина ви́дения была некогда своего рода темной комнатой, откуда осуществлялась слежка; она стала прозрачным сооружением, где отправление власти может контролироваться всем обществом.

Паноптическая схема, именно как таковая и во всех своих свойствах, была предназначена для распространения по всему телу общества, была призвана стать некой обобщенной функцией. Город, зараженный чумой, – исключительная дисциплинарная модель: совершенная, но абсолютно насильственная; болезни, несшей смерть, власть противопоставляла вечную угрозу смерти; жизнь в городе была сведена к простейшему выражению; в противостоянии могуществу смерти она становилась детальным осуществлением права меча. Паноптикон, напротив, призван расширять и усиливать; если он организует власть, если он стремится сделать ее более экономичной и эффективной, то не ради самой власти и не для немедленного спасения общества, которому что-то угрожает; его цель в том, чтобы укрепить социальные силы, – поднять производство, развить экономику, распространить просвещение и повысить уровень общественной нравственности; наращивать и преумножать.

Как усилить власть таким образом, чтобы, совершенно не мешая прогрессу, не подавляя его тяжестью своих правил и регулятивов, она реально способствовала ему? Какое средство усиления власти могло бы одновременно поднять производство? Как может власть, наращивая свои силы, укреплять и силы общества, вместо того чтобы от-

нимать или сковывать их? Решение этой проблемы в рамках паноптической схемы заключается в том, что продуктивное увеличение власти может быть гарантировано только в том случае, если, с одной стороны, она непрерывно отправляется в самых глубинах общества, в его тончайших частицах, и если, с другой стороны, она действует вне тех внезапных, буйных и прерывистых форм, что характерны для отправления власти суверена. Тело короля (с его странным материальным и мифическим присутствием, с той силой, которую он развертывает сам или передает немногим другим лицам) прямо противоположно этой новой физике власти, представленной паноптизмом. Вотчина паноптизма, напротив, – вся нижняя область, область иррегулярных тел с их деталями, многочисленными движениями, разнородными силами, пространственными отношениями; здесь требуются механизмы, которые анализируют распределения, нарушения, ряды и комбинации и используют инструменты, которые делают видимым, записывают, различают и сравнивают: физика существующей в форме отношений и множественной власти, достигающей максимальной интенсивности не в личности короля, а в телах, индивидуализируемых посредством этих отношений. В теории Бентам определяет новый способ анализа тела общества и пронизывающих его отношений власти; на практике он определяет процедуру подчинения тел и сил, которая должна увеличить полезность власти без вреда для интересов государя. Паноптизм – общий принцип новой «политической анатомии», объектом и целью которой являются не отношения верховной власти, а отношения дисциплины.

Знаменитая прозрачная круглая клетка с высокой центральной башней, всесильной и знающей, была, с точки зрения Бентама, образом совершенного дисциплинарного института; но он хотел также показать, как можно «разомкнуть» дисциплины и дать им действовать широким, рассеянным, многообразным и поливалентным образом во всем теле общества. Эти дисциплины, разработанные классическим веком в особых, относительно замкнутых местах (казармах, коллежах, крупных мастерских) и предназначавшиеся тогда лишь для ограниченного и временного использования в масштабах охваченного чумой города, Бентам мечтал превратить в сеть устройств, вездесущих и недремлющих, пронизывающих все общество, не оставляя пространственных лакун и временны́х промежутков. Паноптическое устройство предоставляет формулу для этого обобщения. Оно задает, на уровне элементарного и легко передаваемого механизма, программу базового, низового функционирования общества, вдоль и поперек пересеченного дисциплинарными механизмами.

* * *

Итак, два образа дисциплины. На одном конце – дисциплина-блокада, замкнутый институт, расположенный по краям общества и нацеленный на выполнение исключительно «отрицательных» функций, таких, как нераспространение болезни, разрыв сообщения, приостановка времени. На другом, в паноптической схеме, – дисциплина-механизм: функциональное устройство, призванное улучшить отправление власти – сделать его легче, быстрее и

эффективнее; план тонких принуждений для будущего общества. Движение от одного проекта к другому, от схемы дисциплины в отдельном исключительном случае к схеме повсеместного надзора зиждется на историческом преобразовании: на постепенном распространении механизмов дисциплины на протяжении XVII–XVIII столетий, их расползании по всему телу общества и образовании того, что, вообще говоря, можно назвать дисциплинарным обществом.

Повсеместное распространение дисциплины — что подтверждает Бентамова физика власти — произошло на протяжении классического века. Увеличение числа дисциплинарных заведений, сеть которых начинает покрывать все большую площадь, а главное, занимать все менее второстепенное место, свидетельствует об этом: то, что было островком, неким привилегированным местом, мерой, диктуемой обстоятельствами, или всего лишь особой моделью, становится общей формулой. Правила благочестивых протестантских армий Вильгельма Оранского или Густава Адольфа преобразуются в уставы всех армий Европы. Образцовые коллежи иезуитов или школы Батенкура или Демия, вслед за школой Штурма*, задают образец общих форм школьной дисциплины. Устроение флотских и военных госпиталей служит схемой полной реорганизации больниц в XVIII веке.

Но распространение дисциплинарных институтов было, несомненно, лишь наиболее видимым аспектом других, более глубоких процессов.

1. *Функциональная инверсия дисциплин.* Поначалу дисциплины должны были в основном нейтрализовать опас-

ности, выявлять бесполезные или неспокойные группы населения и избавлять от неудобств, порождаемых слишком многолюдными сборищами. Теперь они должны (ибо становятся способны к этому) играть положительную роль – увеличивать возможную полезность индивидов. Военная дисциплина – уже не просто средство предотвращения мародерства, дезертирства или неповиновения войск, но базовая техника, обеспечивающая существование армии не как случайного сброда, а как единства, сила которого возрастает именно благодаря самому этому единству; дисциплина повышает ловкость каждого солдата, координирует навыки солдат, ускоряет движения, умножает огневую мощь, расширяет фронты атаки, не снижая ее силы, увеличивает обороноспособность и т. п. Фабричная дисциплина, оставаясь способом укрепления уважения уставов, подчинения власти хозяев и мастеров, предотвращает воровство и разброд, наращивает навыки, скорость, производительность, а значит, увеличивает прибыль; она еще оказывает моральное воздействие на поведение, но все более ориентирует действия на достижение результатов, приучает тела к механизмам, а силы – к экономии. Когда в XVII веке были основаны провинциальные и христианские начальные школы, их необходимость обосновывали главным образом отрицательными доводами: бедняки, не имея средств для воспитания детей, оставляли их «в неведении относительно их обязанностей; зарабатывая на жизнь тяжким трудом и получив дурное воспитание, они не способны дать детям хорошее воспитание, которого не получили сами»; это порождает три главных изъяна: незнание Бога, лень (и сопровождающие

ее пьянство, пороки, мелкие кражи, разбойничество) и появление толп нищих, всегда готовых вызвать общественные беспорядки и «до дна исчерпать фонды центральной больницы в Париже»[13]. Но в начале Революции одной из целей начального образования стало «укрепление», «развитие тела», подготовка ребенка «к будущему физическому труду», формирование «верного глаза, твердой руки и надлежащих навыков»[14]. Дисциплины все больше служат техниками изготовления полезных индивидов. Отсюда их выдвижение с маргинальных позиций на задворках общества и отделение от форм исключения или искупления, заточения или затворничества. Отсюда постепенная утрата ими родства с религиозными правилами и запретами. Отсюда также их укоренение в самых важных, центральных и продуктивных секторах общества. Они присоединяются к некоторым существенно важным функциям: производству, передаче знаний, распространению трудовых навыков, военному аппарату. Отсюда и двоякая тенденция, развивающаяся на протяжении XVIII века: к увеличению числа дисциплинарных институтов и дисциплинированию существующих аппаратов.

2. *«Роение» дисциплинарных механизмов.* В то время как, с одной стороны, дисциплинарные заведения множатся, их механизмы проявляют явную тенденцию к пересечению институциональных границ, к выходу из закрытых крепостей, где они некогда действовали, к движению в «свободном» состоянии; цельные компактные дисциплины дробятся на гибкие методы контроля, которые можно передавать и адаптировать. Иногда закрытые аппараты добавляют к своей внутренней и специфической функции

[13] Ch. Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 60–61.

[14] Доклад Талейрана в Конституанте 10 сентября 1791 г. Цит. по: A. Léon, *La Révolution française et l'éducation technique*, 1968, p. 106.

роль внешнего надзора, развивая вокруг себя целое поле побочных проверок. Так, христианская школа не только формирует послушных детей – она делает возможным надзор за родителями, получение информации об их образе жизни, источниках дохода, набожности и нравах. Школа образует маленькие социальные обсерватории, позволяющие проникать даже в мир взрослых и осуществлять регулярный контроль над ними: плохое поведение ребенка или его отсутствие на занятиях служат (по мнению Демия) законным предлогом для опроса соседей (особенно если есть основания полагать, что семья утаит правду), а затем и самих родителей, дабы выяснить, знают ли они катехизис и молитвы, полны ли решимости искоренить пороки своих детей, сколько кроватей в их доме и каковы условия для сна; визит может завершиться подачей милостыни, дарением иконы или дополнительных кроватей[15]. Больница тоже все больше становится базой для медицинского надзора за населением за ее стенами; после того как в 1772 г. сгорела Отель-Дье, многие требовали, чтобы большие заведения, столь тяжеловесные и беспорядочные, были заменены больницами поменьше; последние должны были принимать больных из данного квартала, но также собирать информацию, отслеживать эндемические и эпидемические явления, открывать диспансеры, давать советы жителям и оповещать власти о санитарном состоянии района[16].

Происходит распространение дисциплинарных процедур, и не только в форме закрытых заведений, но и как очагов контроля, разбросанных по всему обществу. Религиозные группы и благотворительные организации долго

[15] Ch. Demia, *Règlement pour les écoles de la ville de Lyon*, 1716, p. 39–40.

[16] Во второй половине XVIII века часто мечтали об использовании армии как инстанции надзора и общего распределения населения «по клеткам», обеспечивающего возможность контроля. Считалось, что армия, претерпевшая дисциплинирование еще в XVII веке, является силой, способной «дисциплинировать». См., например: J. Servan, *Le Soldat citoyen*, 1780.

исполняли эту функцию «дисциплинирования» населения. Начиная с Контрреформации и до филантропии Июльской монархии инициатив такого рода становится все больше. Цели их были религиозными (обращение и наставление), экономическими (помощь и побуждение к труду) или политическими (борьба с недовольством и волнениями). В качестве примера достаточно вспомнить правила парижских приходских благотворительных обществ. Обслуживаемая ими территория подразделяется на кварталы и кантоны, распределяемые между членами общества. Ответственные должны регулярно обходить свои кварталы. «Они должны стараться искоренить злачные места, табачные лавки, биллиардные, игорные дома, предотвратить публичные скандалы, богохульство, безбожие и прочие беспорядки, о коих им станет известно». Они должны также посещать бедных в индивидуальном порядке. В правилах уточняется, какие сведения они должны собирать: о наличии постоянного жилья, знании молитв, посещении церкви для исповеди и причастия, владении ремеслом, нравственности (и «не впали ли они в бедность по собственной вине»). Наконец, «надлежит с помощью наводящих вопросов вызнать, как они ведут себя в семье, живут ли в согласии между собой и с соседями, воспитывают ли детей в страхе Божьем... не укладывают ли взрослых детей разного пола вместе или к себе в постель, нет ли в их семьях распущенности и разврата, особенно по отношению к взрослым дочерям. Если возникнет сомнение в том, состоят ли они в законном браке, то надо потребовать, чтобы предъявили свидетельство о браке»[17].

[17] Arsenal, ms. 2565. В этой единице хранения содержится много уставов различных благотворительных обществ XVII–XVIII веков.

3. *Государственный контроль над дисциплинарными механизмами.* В Англии за общественной дисциплиной долгое время следили отдельные религиозные группы[18]. Во Франции эта роль частично выполнялась приходскими организациями и благотворительными ассоциациями, другая же (и, несомненно, самая важная) ее часть очень скоро перешла к полицейскому аппарату.

Организация централизованной полиции долго расценивалась (причем даже современниками) как самое прямое выражение абсолютной власти короля. Суверен желал иметь «собственного чиновника, которому мог бы непосредственно доверить свои повеления, поручения, намерения и вверить исполнение приказов и указов о заточении без суда и следствия»[19]. В самом деле, местные полицейские управления и главное парижское управление, которому они подчинялись, взяв на себя исполнение некоторых уже существовавших функций (розыск преступников, городской надзор, экономический и политический контроль), преобразовали их в единую строгую административную машину: «Все силовые и информационные векторы в округе сходятся в начальнике главного полицейского управления... Именно он заставляет вращаться все эти колесики, которые вместе создают порядок и гармонию. Результаты его управления не оставляют желать лучшего, даже по сравнению с движением небесных тел»[20].

Но хотя полиция как институт действительно являлась государственным аппаратом и, безусловно, была непосредственно связана с центром политической власти, тип отправляемой полицией власти, механизмы ее действия и точки ее приложения специфичны. Этот аппарат должен

[18] См.: L. Radzinovitz, *The English Criminal Law*, 1956, t. II, p. 203–241.

[19] Записка Дюваля, первого секретаря полицейского наместничества; цит. по: Funck-Brentano, *Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal*, t. IX, p. 1.

[20] N. T. Des Essarts, *Dictionnaire universel de police*, 1787, p. 344–528.

быть сопротяженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться «на все», однако это «все» — не целое государства или королевства как видимого и невидимого тела монарха, но пыль событий, действий, поведения, мнений — «все, что происходит»[21]; предмет полицейского интереса — те «вещи, кои всякий час случиться могут», те «мелочи», о которых говорила Екатерина II в Великом наказе[22]. Полиция осуществляет безграничный контроль, который в идеале должен добраться до простейшего зернышка, до самого мимолетного явления в теле общества. «Ведомство судей и полицейских чиновников имеет огромное значение. Объекты, которые оно охватывает, в известном смысле неопределенны. Их можно воспринять лишь при достаточно детальном рассмотрении»[23]: «бесконечно малое» политической власти.

И для того чтобы действовать, эта власть должна получить инструмент постоянного, исчерпывающего, вездесущего надзора, способного все делать видимым, при этом оставаясь невидимым. Надзор должен быть как бы безликим взглядом, преобразующим все тело общества в поле восприятия: тысячи глаз, следящих повсюду, мобильное, вечно напряженное внимание, протяженная иерархическая сеть, которая в Париже, по докладу Ле Мэра, включала в себя 48 комиссаров и 20 инспекторов; затем регулярно оплачиваемых «наблюдателей», «шпиков»-поденщиков, или тайных агентов, далее — осведомителей (получавших вознаграждение за сделанную работу) и, наконец,

[21] Ле Мэр в докладной записке, составленной по требованию Сартина* в ответ на шестнадцать вопросов Иосифа II, обращенных к парижской полиции. Записка была опубликована Газье в 1879 г.

[22] Дополнение к Большому Наказу, 1769, § 535; см.: Наказ Ея Императорского Величества Екатерины Вторыя, Самодержицы Всероссийския, данный Комиссии о сочинении проэкта нового Уложения с принадлежащими к тому приложениями. М., 1809, с. 266.

[23] N. Delamare, *Traité de la Police*, 1705; страницы предисловия не имеют нумера-

проституток. И это непрерывное наблюдение должно суммироваться в рапортах и журналах; на всем протяжении XVIII века огромный полицейский текст все больше опутывает общество посредством сложно организованной документации[24]. И в отличие от методов судебной или административной записи, в полицейских документах регистрируются формы поведения, установки, возможности, подозрения — ведется постоянный учет поведения индивидов.

Но надо отметить, что, хотя полицейский надзор сосредоточен всецело «в руках короля», он действует не в одном направлении. По сути, это система с двойным входом: она должна, в обход аппарата правосудия, отвечать непосредственно пожеланиям короля, но также реагировать на ходатайства снизу. В подавляющем большинстве случаев знаменитые королевские *lettres de cachet*, указы о заточении без суда и следствия, которые долгое время служили символом королевского произвола и политически дисквалифицировали практику задержания, были результатом ходатайств родственников, хозяев, местной знати, соседей, приходских священников; они должны были карать заключением всю «инфрапреступность», наказывать за все, что может быть наказано: за беспорядки, волнения, неповиновение, плохое поведение; все эти вещи Леду* стремился изгнать из своего архитектурно совершенного города и именовал «преступлениями, совершенными по причине отсутствия надзора». Короче говоря, полиция в XVIII веке добавляет к своей роли помощницы юстиции в преследовании преступников и инструмента для политического контроля над заговорами, оп-

[24] Относительно полицейских журналов XVIII века см.: M. Chassaigne, *La Lieutenance générale de police*, 1906.

позиционными движениями или бунтами дисциплинарную функцию. Это сложная функция: она соединяет абсолютную власть монарха с низшими уровнями власти, рассеянными в обществе; она раскидывает между многочисленными и многообразными замкнутыми дисциплинарными институтами (фабриками, армиями, школами) промежуточную сеть, действующую там, где они не могут действовать, и дисциплинирующую недисциплинарные пространства; но она заполняет бреши, соединяет их между собой, защищает своей вооруженной силой: промежуточная дисциплина и метадисциплина. «Посредством умной полиции суверен приучает народ к порядку и повиновению»[25].

Организация полицейского аппарата в XVIII веке санкционирует повсеместное распространение дисциплин, которые становятся сопротяженными с самим государством. Понятно, почему полиция – хотя и была очевиднейшим образом связана со всем, что в королевской власти выходило за рамки нормального правосудия, – оказала столь слабое сопротивление переустройству судебной власти. И понятно, почему она не перестает навязывать судебной власти свои прерогативы, причем со всевозрастающей силой, вплоть до наших дней. Несомненно, потому, что она светская рука судебного. Но также и потому, что она в значительно большей степени, чем судебный институт, составляет одно целое (благодаря своему распространению и механизмам) с обществом дисциплинарного типа. И все же неверно было бы полагать, что дисциплинарные функции были конфискованы и раз и навсегда поглощены государственным аппаратом.

[25] E. de Vattel, *Le Droit des gens*, 1768, p. 162.

«Дисциплина» не может отождествляться ни с институтом, ни с аппаратом; она – тип власти, модальность ее отправления, содержащая целую совокупность инструментов, методов, уровней приложения и мишеней; она есть «физика» или «анатомия» власти, некая технология. И ответственность за ее претворение могут брать на себя либо «специализированные» заведения (тюрьмы или исправительные дома в XIX веке), либо заведения, использующие ее в качестве основного инструмента для достижения конкретной цели (воспитательные дома, больницы), либо уже существующие инстанции, которые используют ее как способ усиления или реорганизации своих внутренних механизмов власти (когда-нибудь мы покажем, как, начиная с классического века, вобрали в себя внешние схемы – сначала школьные и военные, затем медицинские, психиатрические и психологические – и «дисциплинировались» внутрисемейные отношения, главным образом в ячейке родители–дети; семья – привилегированное место для возникновения дисциплинарного вопроса о нормальном и ненормальном), либо аппараты, возведшие дисциплину в принцип своего внутреннего функционирования (аппарат управления начиная с наполеоновской эпохи), либо, наконец, государственные аппараты, чьей главной, если не исключительной функцией является утверждение власти дисциплины над всем обществом (полиция).

В целом можно говорить, следовательно, об образовании дисциплинарного общества в этом движении, соединившем закрытые дисциплины, своего рода социальный «карантин», и бесконечно распространяемый механизм

«паноптизма». Не потому, что дисциплинарная модальность власти заменила все другие, а потому, что она пропитала эти другие, иногда подрывая их, но и служа посредствующим звеном между ними, связывая их друг с другом, продолжая их, главное же – позволяя доводить действие власти до мельчайших и отдаленнейших элементов. Дисциплина обеспечивает распространение отношений власти до уровня бесконечно малых величин.

Через несколько лет после Бентама Юлиус выдал этому обществу свидетельство о рождении[26]. Юлиус заметил, что паноптизм – много больше, нежели плод архитектурной изобретательности: событие в «истории человеческого сознания». На первый взгляд он представляет собой просто решение технической проблемы, но благодаря ему возникает новый тип общества. Древность была цивилизацией зрелищ. «Делать доступным множеству людей наблюдение малого числа объектов»: такую проблему решала архитектура храмов, театров и цирков. Вместе со зрелищем главенствовали общественная жизнь, празднества, чувственная близость. В этих ритуалах, где бурлила кровь, общество черпало новые силы и образовывало на миг одно огромное тело. Новое время ставит противоположную проблему: «Обеспечить для малого числа людей, и даже для одного человека, мгновенное обозрение большого множества». В обществе, основные элементы которого уже не община и общественная жизнь, а отдельные индивиды, с одной стороны, и государство – с другой, отношения могут быть установлены лишь в форме, диаметрально противоположной зрелищу: «Современность, постоянно растущее влияние государства, его все более глубокое вме-

[26] N. H. Julius, *Leçons sur les prisons*, 1831, t. I, p. 384–386 (пер. на франц. яз.).

шательство во все детали и отношения общественной жизни призваны усилить и усовершенствовать ее гарантии, используя для достижения этой великой цели строительство и распределение сооружений, предназначенных для одновременного надзора за огромным множеством людей».

Юлиус считал завершенным историческим процессом то, что Бентам описывал как техническую программу. Наше общество – общество надзора, а не зрелища. Под поверхностным прикрытием надзора оно внедряется в глубину тел; за великой абстракцией обмена продолжается кропотливая, конкретная муштра полезных сил; каналы связи являются опорами для накопления и централизации знания; игра знаков определяет «якорные стоянки» власти; нельзя сказать, что прекрасная целостность индивида ампутируется, подавляется и искажается нашим общественным порядком, – скорее, индивид заботливо производится в нем с помощью особой техники сил и тел. Мы гораздо меньше греки, чем мы думаем. Мы находимся не на скамьях амфитеатра и не на сцене, а в паноптической машине, мы захвачены проявлениями власти, которые доводим до себя сами, поскольку служим колесиками этой машины. Вероятно, важность для исторической мифологии фигуры Наполеона объясняется ее расположением на стыке монархического, ритуального отправления власти суверена и иерархического, постоянного отправления неопределенной дисциплины. Он возвышается над всем, обнимает все одним взором, от которого не ускользает ни одна деталь, пусть даже мельчайшая: «Вы видите, что ни одна часть Империи не остается без надзора, что никакое

преступление и никакой проступок не должны пройти безнаказанно и что взор гения, способный объять все вокруг, охватывает всю эту огромную машину, не упуская ни малейшей детали»[27]. В момент своего полного расцвета дисциплинарное общество еще сохраняет, благодаря императору, старый аспект власти зрелища. Как монарх, являющийся одновременно и узурпатором древнего трона, и строителем нового государства, он соединил в едином символическом предельном образе весь долгий процесс, в котором пышность королевской власти, ее необходимо зрелищные проявления угасли друг за другом в ежедневном отправлении надзора, в паноптизме, где бдительность перекрестных взглядов скоро сделала лишними и орла, и солнце*.

* * *

Образование дисциплинарного общества связано с рядом более широких исторических процессов — экономических, юридическо-политических и, наконец, научных, — частью которых оно является.

1. Вообще говоря, можно утверждать, что дисциплины — техники, обеспечивающие упорядочение человеческих множеств. Правда, в этом нет ничего исключительного или даже характерного: всякая система власти сталкивается с той же проблемой. Но особенность дисциплины состоит в том, что она пытается ввести тактику власти, отвечающую трем критериям: отправление власти должно быть максимально дешевым (экономически — благодаря малым расходам и политически — в силу ее сдержанности,

[27] J. B. Treilhard, *Motifs du code d'instruction criminelle*, 1808, p. 14.

слабого внешнего выражения, относительной невидимости и незначительного сопротивления ей); действия этой социальной власти должны быть максимально сильными и распространяться как можно дальше, без провалов и пробелов; и наконец, «экономический» рост власти должен быть связан с производительностью аппаратов (образовательных, военных, промышленных, медицинских), внутри которых она отправляется; короче говоря, необходимо одновременно увеличивать как послушность, так и полезность всех элементов социальной системы. Эта тройная цель дисциплин отвечает хорошо известной исторической ситуации. С одной стороны – сильный демографический скачок в XVIII веке; возрастание текучего народонаселения (одна из главных целей дисциплины – закреплять население на месте; она – средство против номадизма); изменение численности групп, подвергаемых контролю и манипулированию (с начала XVII века до кануна французской революции количество школьников увеличилось, как, несомненно, и число пациентов в больницах; в конце XVIII века, в мирное время, армия насчитывала свыше 200 000 человек). Другой стороной сложившейся ситуации был рост производственного аппарата, который все больше увеличивается и усложняется; он становится также все более дорогостоящим, а потому возникает проблема увеличения его рентабельности. Развитие дисциплинарных методов соответствует этим двум процессам или, вернее, возникшей потребности выправить их соотношение. Ни остаточные формы феодальной власти, ни структуры правящей монархии, ни локальные механизмы надзора, ни неустойчивая масса, образуемая пе-

реплетением их всех, не могли исполнить эту роль: им мешали неравномерное и не лишенное лакун распространение, частые конфликты, порождаемые их действием, а главное – «дороговизна» отправляемой в них власти. Она была дорогостоящей в нескольких смыслах. Потому, что, в прямом смысле, дорого обходилась государственной казне. Потому, что система взяточничества и откупных должностей косвенно, но очень сильно давила на население. Потому, что сопротивление, оказываемое власти, втягивало ее в круговорот непрестанного укрепления. Потому, что власть действовала исключительно посредством налогообложения (взимание денег или продуктов труда в форме королевского, сеньориального и церковного налогов; взимание людей или времени в форме барщины или отдачи в солдаты, заключения или ссылки бродяг). Развитие дисциплин знаменует возникновение элементарных техник власти, основанных на совершенно другой экономии: на механизмах власти, которые, вместо того чтобы «взимать», органически входят в продуктивную эффективность аппаратов, в рост этой эффективности и использование того, что она производит. Ведь старый принцип «взимание–насилие», управлявший экономией власти, дисциплины заменяют принципом «мягкость–производство–прибыль». Они – техники, позволяющие «приспособить» друг к другу человеческие множества и рост числа аппаратов производства (не только «производства» в строгом смысле слова, но и производства знания и навыков в школах, здоровья в больницах, разрушительной силы в армии).

Работая над их взаимным приспособлением, дисциплина призвана решить ряд проблем, с которыми невоз-

можно справиться средствами прежней экономии власти. Она может сократить «бесполезность» характерных проявлений массы: ограничить то, что делает множество гораздо менее управляемым, чем единство; то, что препятствует использованию каждого из элементов множества и их суммы; все то, что отменяет преимущества, обеспечиваемые массой. Вот почему дисциплина фиксирует; задерживает или регулирует перемещения; устраняет смешения; рассеивает компактные группы индивидов, чье поведение непредсказуемо; обеспечивает исчислимые распределения. Дисциплина должна также обуздывать все силы, возникающие из самой структуры организованного множества, нейтрализовать проявления противодействия, порождаемые этими силами и оказывающие сопротивление власти, которая стремится восторжествовать над множеством: волнения, бунты, стихийные организации, коалиции – все, что устанавливает горизонтальные связи. Отсюда понятно, почему дисциплины используют методы разгораживания и проведения вертикалей, ставят между различными элементами одного уровня максимально прочные перегородки, раскидывают плотные иерархические сети, короче говоря, противопоставляют внутренней враждебной силе множества метод построения непрерывной индивидуализирующей пирамиды. Дисциплины должны также усиливать единичную полезность каждого элемента множества, причем самыми быстрыми и дешевыми способами, используя для этого, так сказать, само множество. Отсюда использование, для извлечения из тел максимума времени и сил, общих методов, известных как распорядок дня, коллективная муштра, упражнения, гло-

бальный и вместе с тем детальный надзор. Кроме того, дисциплины усиливают эффект полезности множеств, добиваясь, чтобы каждое из них было полезнее простой суммы своих элементов; именно для увеличения полезных свойств множества дисциплины вводят тактики распределения, обоюдного приспособления тел, жестов и ритмов, дифференцирования способностей, взаимной координации относительно аппаратов или задач. Наконец, дисциплины должны вводить в игру отношения власти (не над множеством, но в самой его толще) как можно более незаметным, как нельзя лучше связанным с другими его функциями и наименее дорогостоящим образом: этой цели отвечают анонимные инструменты власти, сопротяженные с множеством, которое они систематизируют и унифицируют, – иерархический надзор, непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и классификация. Короче говоря, дисциплины призваны заменить власть, проявляющуюся благодаря блеску тех, кто ее отправляет, властью, тайно объективирующей тех, к кому она применяется. Дисциплины должны формировать знание об индивидах, а не выставлять напоказ знаки суверенной власти. Словом, дисциплины – совокупности мелких технических изобретений, позволяющих увеличить полезность множеств путем сокращения неудобств для власти, которая, чтобы сделать их полезными, должна их контролировать. Множество, будь то цех, нация, армия или школа, достигает порога дисциплины, когда их отношение друг к другу становится благожелательным.

Если экономический взлет Запада начался с техник, которые сделали возможным накопление капитала, то

можно сказать, пожалуй, что методы управления «накоплением людей» обеспечили политический отрыв от тех традиционных, ритуальных, дорогостоящих и насильственных форм власти, которые скоро вышли из употребления и сменились тонкой, рассчитанной технологией подчинения. В сущности, эти процессы – накопление людей и накопление капитала – неотделимы друг от друга; невозможно было бы решить проблему накопления людей без роста производственного аппарата, способного их содержать и использовать; напротив, техники, делающие полезным кумулятивное множество людей, ускоряют накопление капитала. На менее общем уровне технологические изменения производственного аппарата, разделение труда и выработка дисциплинарных методов были связаны очень тесными отношениями[28]. Каждый из этих процессов сделал возможным и необходимым другой, каждый послужил моделью другому. Дисциплинарная пирамида образовала маленькую клетку власти, где были предписаны и стали эффективными разделение, координация и контроль заданий, а аналитическое дробление времени, жестов и телесных сил образовало рабочую схему, которую можно было легко перенести с подчиняемых групп на производственные механизмы; массовый перенос военных методов на организацию промышленности служит примером такого моделирования разделения труда, которое ориентировано на образец, заданный схемами власти. Но, с другой стороны, технический анализ процесса производства, его «механическое» расчленение были перенесены на рабочую силу, призванную обеспечивать этот процесс: результатом переноса стало создание дисципли-

[28] См.: *Маркс К.* Капитал. Кн. 1, отд. 4, гл. XIII, а также весьма интересный анализ в кн. F. Guerry, D. Deleule, *Le Corps productif*, 1973.

нарных машин, объединяющих в целое и увеличивающих индивидуальные силы. Можно сказать, что дисциплина – единый метод, посредством которого тело с наименьшими затратами сокращается как «политическая» сила и максимально увеличивается как полезная сила. Рост капиталистической экономики породил специфическую модальность дисциплинарной власти: ее общие формулы, методы подчинения сил и тел, короче говоря, «политическая анатомия» могут работать в самых разных политических режимах, аппаратах и институтах.

2. Паноптическая модальность власти – на элементарном, техническом, чисто физическом уровне, на котором она располагается, – не зависит прямо от крупных юридическо-политических структур общества и не образует их непосредственного продолжения. Тем не менее она не является абсолютно независимой. Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию режима парламентского, представительного типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной, темной стороной этих процессов. Общая юридическая форма, гарантировавшая систему в принципе равных прав, поддерживалась этими мелкими повседневными физическими механизмами, всеми теми системами микровласти, в сущности не эгалитарными и асимметричными, которые и есть дисциплины. И хотя формально представительное правление обеспечивает, чтобы воля всех (непосредственно или опосре-

дованно) являлась главной инстанцией верховной власти, дисциплины гарантируют в самом основании общества подчинение сил и тел. Реальные, телесные дисциплины образуют фундамент формальных, юридических свобод. Общественный договор можно рассматривать как идеальное основание права и политической власти; паноптизм представляет собой повсеместно распространенную технику принуждения. Он продолжает работать в глубине юридических структур общества, заставляя действенные механизмы власти функционировать в противоположность обретенной ею формальной структуре. Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины.

Казалось бы, дисциплины не более чем инфраправо. Они доводят общие формы, установленные законом, до бесконечно малого уровня индивидуальных существований; или же выступают как методы обучения, позволяющие индивидам соответствовать этим общим требованиям. Они продолжают право того же типа, но в другом масштабе, делая его более детализированным и терпимым. Но дисциплины следует рассматривать, скорее, как род контрправа. Они исполняют совершенно определенную роль – вводят непреодолимые асимметрии и исключают взаимности. Прежде всего потому, что дисциплина образует «частную» связь между индивидами, отношение принуждения, совершенно отличное от договорного обязательства; принятие дисциплины может предписываться договором; способ, каким она насаждается, механизмы, какие она приводит в действие, необратимое подчинение одних людей другим, «сверхвласть», которая всегда сосредоточивается на одной стороне, неравенство положения

различных «партнеров» относительно общего правила — все это отличает дисциплинарную связь от договорной связи и позволяет систематически искажать последнюю с того самого момента, когда ее содержанием становится дисциплинарный механизм. Например, известно, что многие действительные процедуры подрывают юридическую фикцию трудового договора: цеховая дисциплина — не самая маловажная. Кроме того, если юридические системы квалифицируют субъектов права в соответствии со всеобщими нормами, то дисциплины характеризуют, классифицируют, специализируют; они распределяют по некой шкале, ориентируются на некую норму, устанавливают иерархию индивидов, а если потребуется — дисквалифицируют и исключают. Как бы то ни было, в пространстве и времени, где дисциплины осуществляют контроль и вводят в игру асимметрии своей власти, они приостанавливают право, но всегда лишь временно, никогда не отменяя его полностью. Какой бы регулярной и институциональной ни была дисциплина, по своему механизму она является «контрправом». И хотя всеобщий юридический характер современного общества, казалось бы, устанавливает границы отправлению власти, его повсеместный паноптизм позволяет функционировать, на изнаночной стороне права, огромному и одновременно мельчайшему механизму, который поддерживает, усиливает, умножает асимметрию власти и делает бесполезными границы, очерчиваемые правом. Мельчайшие дисциплины, повседневные «паноптизмы» прекрасно устраиваются ниже уровня больших аппаратов и великих политических битв. Но в генеалогии современного общества они являются,

как и пронизывающее его классовое господство, политической противоположностью юридических норм, в соответствии с которыми перераспределяется власть. Отсюда, несомненно, выясняется значение, издавна придаваемое малым дисциплинарным техникам, тем, казалось бы, ничтожным хитростям, что изобретает дисциплина, и даже знаниям, придающим ей респектабельный вид. Отсюда боязливое нежелание избавиться от них, когда их нечем заменить. Отсюда утверждение, что они действуют в самом основании общества, суть элемент его равновесия, тогда как на самом деле они – ряд механизмов для окончательного и повсеместного нарушения равновесия в отношениях власти. Отсюда упрямое изображение дисциплин как скромной, но конкретной формы всякой морали, тогда как на самом деле они представляют собой совокупность физико-политических техник.

Возвращаясь к проблеме законных наказаний, тюрьму со всей имеющейся в ее распоряжении исправительной технологией следует переместить в точку, где законосообразная власть наказывать превращается в дисциплинарную власть надзирать; где универсальные законные наказания применяются избирательно, к определенным индивидам, причем всегда к одним и тем же; где переквалифицирование правового субъекта посредством наказания становится полезной муштрой преступника; где право опрокидывается и выходит за собственные пределы, – где контрправо становится действенным и институциональным содержанием юридических форм. Следовательно, повсеместность власти наказывать обеспечивается не всеобщим осознанием закона – осознанием его каждым пра-

вовым субъектом, но ее равномерным распространением, этой бесконечно мелкой сетью паноптических техник.

3. Отдельно взятая, каждая из этих техник имеет долгую историю. Но новым в XVIII веке было то, что, соединяясь и распространяясь, они достигают уровня, на котором формирование знания и увеличение власти постоянно укрепляют друг друга в круговом процессе. Дисциплины переступают здесь «технологический» порог. Сначала больница, затем школа, а позднее и мастерская не просто «перестраиваются» дисциплинами; благодаря дисциплинам они становятся такими аппаратами, что всякий механизм объективации может использоваться в них как инструмент подчинения, а всякий рост власти может породить новые знания; именно эта связь, присущая технологическим системам, сделала возможным формирование в дисциплинарном элементе клинической медицины, психиатрии, детской психологии, педагогической психологии и рационализации труда. Стало быть, происходит двойной процесс: эпистемологическое «раскрытие» посредством совершенствования отношений власти; умножение последствий власти через формирование и накопление новых знаний.

Распространение дисциплинарных методов идет в русле широкого исторического процесса – развития примерно в то же время многих других технологий: агрономических, промышленных и экономических. Но надо признать, что по сравнению с угольной промышленностью, зарождающимися химическими производствами или методами государственного учета, по сравнению с домнами и паровой машиной паноптизм не привлек к себе особого

внимания. В нем видели не более чем странную маленькую утопию, злобную мечту, – как если бы Бентам был Фурье полицейского общества, а фаланга приняла форму паноптикона. И все же паноптизм представлял собой абстрактную формулу совершенно реальной технологии, технологии производства индивидов. Имеется много причин тому, что она не снискала особых похвал. Самая очевидная из них – в том, что вызванные ею дискурсы редко обретали (если оставить в стороне академические классификации) статус наук. Но настоящая причина состоит, несомненно, в том, что власть, отправляемая и увеличиваемая посредством этой технологии, есть непосредственная, физическая власть людей друг над другом. Бесславное завершение, нехотя признаваемое происхождение. Но было бы несправедливо сравнивать дисциплинарные методы с такими изобретениями, как паровая машина или микроскоп Амичи*. Эти первые много меньше; и все же, некоторым образом, много больше. Если уж искать исторический эквивалент или по крайней мере нечто сопоставимое с дисциплинарными методами, то это, скорее, «инквизиторская» техника.

XVIII век изобрел техники дисциплины и экзамена, подобно тому как средневековье – судебное дознание. Но они пришли к этому совершенно разными путями. Процедура дознания (старый метод, применяемый при сборе налогов и в административных целях) получила особое развитие с реорганизацией Церкви и ростом числа княжеств в XII–XIII столетиях. Тогда она снискала весьма широкое распространение в судебной практике – сначала в церковной, а затем и в светской. Дознание как автори-

тарное разыскание удостоверяемой или свидетельствуемой истины было, таким образом, противопоставлено старым процедурам присяги, клятвы, ордалии, судебного поединка, Божьего суда или даже соглашения между частными лицами. Дознание представляло собой власть суверена, присваивающего себе право устанавливать истину посредством ряда определенных методов. И хотя с тех пор дознание стало неотъемлемым элементом западной юстиции (оставаясь таковым вплоть до наших дней), не надо забывать ни о его политическом происхождении, ни о его связи с возникновением государств и монархической власти, ни тем более о его последующем распространении и роли в формировании знания. Фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических наук; оно было юридическо-политической матрицей экспериментального знания, которое, как известно, стало очень быстро развиваться к концу средних веков. Пожалуй, правильно сказать, что математика родилась в Греции из техник измерения; естественные науки, до некоторой степени, возникли в конце средних веков из практики дознания. Великое эмпирическое знание, которое объяло вещи мира и включило их в порядок бесконечного дискурса, констатирующего, описывающего и устанавливающего «факты» (в тот момент, когда Запад начал экономическое и политическое завоевание того же мира), действовало, несомненно, по модели Инквизиции – великого изобретения, которое новоявленная мягкость задвинула в темные уголки нашей памяти. Но тем, чем это юридическо-политическое, административное и уголовное, религиозное и светское дознание было

для естественных наук, для наук о человеке стал дисциплинарный анализ. Технической матрицей этих наук, услаждающих нашу «гуманность» уже более столетия, является придирчивая, мелочная, злая кропотливость дисциплин и дознаний. Пожалуй, для психологии, педагогики, криминологии и многих других странных наук дисциплинарное дознание является тем же, чем ужасная власть дознания – для бесстрастного изучения животных, растений или Земли. Другая власть, другое знание. На пороге классического века Бэкон, законовед и государственный муж, пытался перенести в область эмпирических наук методы дознания. Какой Великий Надзиратель создаст методологию экзамена для гуманитарных наук? Если, конечно, это возможно. Ведь хотя справедливо, что, становясь техникой для эмпирических наук, дознание отделилось от инквизиторской процедуры (в которую уходили его исторические корни), экзамен сохранил чрезвычайно тесную связь с создавшей его дисциплинарной властью. Он всегда был и остается внутренним элементом дисциплин. Конечно, он вроде бы претерпел умозрительное очищение, органически соединившись с такими науками, как психиатрия и психология. И впрямь, обретение им формы тестов, собеседований, опросов и консультаций призвано, казалось бы, корректировать механизмы дисциплины: психология образования должна смягчать строгости школы, точно так же как медицинское или психиатрическое собеседование – исправлять последствия трудовой дисциплины. Но не следует заблуждаться: эти техники просто отсылают индивидов от одной дисциплинарной инстанции к другой и воспроизводят, в концентрированном или

формализованном виде, схему «власть–знание», присущую всякой дисциплине[29]. Великое дознание, вызвавшее к жизни естественные науки, отделилось от своей политико-юридической модели. Экзамен по-прежнему остается в рамках дисциплинарной технологии.

В средние века процедура дознания постепенно навязала себя старому обвинительному правосудию в ходе процесса, исходившего сверху. Дисциплинарный метод, с другой стороны, вторгся в уголовное правосудие коварно и как бы снизу, и оно до сих пор остается в принципе инквизиторским. Все значительные расширения, характерные для современной карательной системы, – внимание к личности преступника, стоящей за совершённым преступлением, стремление сделать наказание исправлением, терапией, нормализацией, разделение акта судебного решения между различными инстанциями, которые должны измерять, оценивать, диагностировать, лечить и преобразовывать индивидов, – свидетельствуют о проникновении дисциплинарного экзамена в эту судебную инквизицию.

Отныне карательному правосудию в качестве точки приложения, «полезного объекта» предлагается уже не тело преступника, противостоящее телу короля, и не правовой субъект идеального договора, а дисциплинарный индивид. Предел французского уголовного правосудия при монархическом режиме – бесконечное расчленение тела цареубийцы: проявление сильнейшей власти над телом величайшего преступника, чье полное уничтожение ярко высвечивает преступление во всей его истине. Идеальная точка нынешнего уголовного правосудия – бесконечная

[29] См. об этом: Michel Tort, *Q. I.*, 1974.

дисциплина. Бесконечный допрос. Дознание, не имеющее конца, – детализированный и все более расчленяющий надзор. Вынесение приговора, а одновременно – начало дела, которое никогда не будет закрыто. Отмеренная мягкость наказания, переплетающаяся с жестоким любопытством экзамена. Судебная процедура, предполагающая и постоянный замер отклонения от недостижимой нормы, и движение по асимптоте, бесконечно устремленное к норме. Публичная казнь логически завершает судебную процедуру, которую ведет Инквизиция. Установление «надзора» за индивидами является естественным продолжением правосудия, пропитанного дисциплинарными методами и экзаменационными процедурами. Удивительно ли, что многокамерная тюрьма с ее системой регулярной записи событий, принудительным трудом, с ее инстанциями надзора и оценки и специалистами по нормальности, которые принимают и множат функции судьи, стала современным инструментом наказания? Удивительно ли, что тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые похожи на тюрьмы?

IV. ТЮРЬМА

Глава 1

Совершенные и строгие заведения

Тюрьма родилась раньше, нежели полагают те, кто связывает ее возникновение с принятием новых кодексов. Форма тюрьмы существовала раньше, чем ее начали систематически использовать в уголовном праве. Она образовалась вне судебного аппарата, когда по всему телу общества распространились процедуры, направленные на распределение индивидов, их закрепление в пространстве, классификацию, извлечение из них максимума времени и сил, муштру тел, регламентацию всего их поведения, содержание их в полной видимости, окружение их аппаратом наблюдения, регистрации и оценки, а также на создание накапливаемого и централизованного знания о них. Общая форма аппарата, призванного делать индивидов послушными и полезными посредством тщательной работы над их телами, обрисовала институт тюрьмы еще до того, как закон определил его как основное средство наказа-

ния. На рубеже XVIII–XIX веков действительно существовало наказание в форме тюремного заключения, и оно было внове. Но на самом деле уголовно-правовая система просто открылась механизмам принуждения, уже разработанным ранее на другом уровне. «Модели» уголовного заключения (Гент, Глочестер, Уолнат Стрит) являются скорее первыми видимыми точками этого перехода, нежели инновациями или отправными пунктами. Тюрьма, существенно важный элемент арсенала наказаний, безусловно знаменует важный момент в истории уголовного правосудия: его приближение к «гуманности». Но она является и важным моментом в истории дисциплинарных механизмов, развиваемых новой классовой властью, — моментом, когда эти механизмы захватывают институт правосудия. На рубеже столетий новое законодательство определяет власть наказывать как общую функцию общества, которая применяется равным образом ко всем его членам и в которой равно представлены все индивиды. Но посредством превращения заключения в основное средство наказания новое законодательство вводит процедуры господства, характерные для конкретного типа власти. Правосудие, выдающее себя за «равное» для всех, и судебный аппарат, выглядящий как «автономный», но содержащий в себе все асимметрии дисциплинарного подчинения, — такое соединение знаменует рождение тюрьмы, формы «наказания в цивилизованных обществах»[1].

Можно понять, почему тюрьма как форма наказания очень рано приобрела характер очевидности. В первые годы XIX века еще было ощущение ее новизны. И все же понимание ее глубинной связи с самим функционировани-

[1] P. Rossi, *Traité de droit pénal*, 1829, t. III, p. 169.

ем общества почти сразу же заставило забыть все прочие наказания, придуманные реформаторами XVIII века. Казалось, будто ей нет альтернативы, будто она принесена током истории: «Не случайность, не прихоть законодателя сделали заключение фундаментом и едва ли не всем зданием современной шкалы наказаний, а прогресс идей и смягчение нравов»[2]. И хотя через столетие с небольшим ощущение очевидности тюрьмы как формы наказания преобразилось, оно не исчезло. Известны все недостатки тюрьмы. Известно, что она опасна, если не бесполезна. И все же никто «не видит», чем ее заменить. Она – отвратительное решение, без которого, видимо, невозможно обойтись.

«Очевидность» тюрьмы, с которой нам так трудно расстаться, основывается прежде всего на том, что она – простая форма «лишения свободы». Как же тюрьме не быть преимущественным средством наказания в обществе, где свобода – достояние, которое принадлежит равным образом всем и к которому каждый индивид привязан «всеобщим и постоянным» чувством?[3] Лишение свободы, следовательно, имеет одинаковое значение для всех. В отличие от штрафа, оно – «уравнительное» наказание. В этом своего рода юридическая ясность тюрьмы. Кроме того, тюрьма позволяет исчислять наказание в точном соответствии с переменной времени. Тюремное заключение может быть формой отдачи долга, что составляет в промышленных обществах его экономическую «очевидность» – и позволяет ему предстать как возмещение. Взимая время осужденного, тюрьма наглядно выражает ту мысль, что правонарушение наносит вред не только жертве, но и всему об-

[2] Van Meenen, Congrès pénitentiaire de Bruxelles, *Annales de la Charité*, 1847, p. 529–530.

[3] A. Duport, Discours à la Constituante, *Archives parlementaires*.

ществу. Можно говорить об экономико-моральной очевидности уголовнонаказуемого поступка, позволяющей исчислять наказание в сутках, месяцах и годах и устанавливать количественное соотношение между характером правонарушения и длительностью наказания. Отсюда выражение, столь часто употребляемое, столь соответствующее принципу действия наказаний, хотя и противоречащее строгой теории уголовного права: в тюрьме сидят, чтобы «заплатить долг». Тюрьма естественна, как «естественно» в нашем обществе использование времени в качестве меры отношений обмена.

Но очевидность тюрьмы основывается также на ее (предполагаемой или требуемой) роли машины для преобразования индивидов. Как можно не принять тюрьму без колебания, если, заточая, исправляя и делая послушными, она просто чуть более акцентированно воспроизводит все те механизмы, что уже присутствуют в теле общества? Тюрьма подобна строгой казарме, школе без поблажек, мрачной мастерской; в определенных рамках она качественно не отличается от них. Это двойное обоснование — юридическо-экономическое и технико-дисциплинарное — делает тюрьму самой адекватной и цивилизованной формой наказания. И именно это двойное действие[4] сразу же обеспечило тюрьме ее прочность. Ясно одно: тюрьма не была сначала лишением свободы, к которому позднее добавилась техническая функция исправления. С самого начала она была формой «законного заключения», несущего дополнительную исправительную нагрузку, или предприятием по изменению индивидов, которое может действовать в правовой системе благодаря лишению сво-

[4] Игра на двух «природах» тюрьмы продолжается поныне. Несколько дней тому назад глава государства напомнил «принцип», по которому заключение должно быть лишь «лишением свободы», — такова чистая сущность заключения, освобожденная от реальности тюрьмы; и добавил, что тюрьма может быть оправдана только ее «исправительными» или реадаптационными последствиями.

боды. Словом, тюремное заключение с начала XIX века означает одновременно и лишение свободы, и техническое преобразование индивидов.

Вспомним некоторые факты. В кодексах 1808 и 1810 гг. и ближайших к ним мерах заключение никогда не смешивается с простым лишением свободы. Оно является (или, во всяком случае, должно являться) дифференцированным и целесообразным механизмом. Дифференцированным — поскольку заключение должно иметь различную форму, в зависимости от того, является ли заключенный осужденным или просто обвиняемым, мелким правонарушителем или преступником: различные типы тюрьмы — следственный изолятор, исправительная тюрьма, центральная тюрьма — в принципе должны более или менее соответствовать этим различиям и обеспечивать наказание, не только градуированное по силе, но и разнообразное по целям. Ведь у тюрьмы есть цель, установленная с самого начала: «Закон, вменяющий наказания различной степени серьезности, не может допустить, чтобы индивид, приговоренный к легкому наказанию, был заключен в том же помещении, что и преступник, приговоренный к более тяжелому наказанию... хотя основной целью определенного законом наказания является искупление вины за совершение преступления, оно направлено также на исправление виновного»[5]. И это преобразование должно быть одним из внутренних результатов заключения. Тюрьма—наказание, тюрьма—аппарат: «Порядок, который должен царить в домах заключения, может значительно способствовать перерождению осужденных; пороки, обусловливаемые воспитанием, заразительность дурного при-

[5] *Motifs du Code d'instruction criminelle*, доклад Ж. Реаля (G. A. Real), p. 244.

мера, праздность... приводят к преступлению. Так попытаемся же устранить все эти источники порчи. Пусть в домах заключения действуют правила здоровой морали. И осужденные, принуждаемые к труду, в конечном счете полюбят его; вкусив плоды своего труда, они обретут привычку, вкус к труду, потребность в нем. Пусть они являют друг другу пример трудовой жизни; скоро их жизнь станет нравственно чистой; скоро они пожалеют о прошлом, а это первый признак обретенного чувства долга»[6]. Исправительные методы сразу становятся частью институциональной структуры тюремного заключения.

Необходимо также напомнить, что движение за реформу тюрем, за контроль над ними началось не в последнее время. Видимо, оно даже не стало результатом признания неудачи. Тюремная «реформа» — ровесница тюрьмы: она предстает как своего рода программа тюрьмы. С самого начала тюрьма окружена рядом сопутствующих механизмов, которые вроде бы призваны ее усовершенствовать, но в действительности составляют часть ее функционирования, — настолько тесно они связаны с существованием тюрьмы на протяжении всей ее долгой истории. Это подробная технология тюрьмы, разработанная при ее возникновении. Это были работы Шапталя* (который хотел установить, что нужно для внедрения тюремного аппарата во Франции, 1801) и Деказа** (1819), книга Виллермэ*** (1820), доклад о центральных тюрьмах, составленный Мартиньяком**** (1829), исследования, предпринятые в Соединенных Штатах Бомоном и Токвилем (1831), Деметцем и Блюэ (1835), опросы руководителей тюрем и генеральных советов, проведенные

* *Ibid.*, доклад Трейляра (Treilhard), p. 8–9. Та же тема часто встречалась в ближайшие предшествовавшие годы: «Наказание в форме заключения, налагаемое по закону, имеет своей главной целью исправление индивидов, так сказать их улучшение, подготовку – посредством более или менее длительных испытаний – к тому, чтобы они вновь заняли свое место в обществе и больше не нарушали порядок... Самые надежные способы улучшения индивидов – труд и образование». Образование предполагает не только умение читать и писать, но также примирение заключенных с «идеями порядка, нравственности, уважения к себе и другим» (Бено, префект департамента Нижняя Сена, указ от фримера года X). Более чем в дюжине из общего количества докладов генс-

Монталивэ в самый разгар диспута об одиночном заключении. Это были общества, имевшие целью контроль над тюрьмами и предложение мер по их улучшению (в 1818 г. было совершенно официально учреждено Общество улучшения тюрем, чуть позднее – Общество тюрем и различные филантропические группы). Это были бесчисленные меры – указы, инструкции или законы: от реформы, предусмотренной первой Реставрацией в сентябре 1814 г., но так никогда и не проведенной, до закона 1814 г., подготовленного Токвилем и на какое-то время закрывшего долгий спор о способах достижения эффективности тюрьмы. Это были программы, направленные на улучшение функционирования тюремной машины[7]: программы обращения с заключенными, денежного вознаграждения их труда, материального обустройства; некоторые из них так и остались проектами (например, программы Данжу, Блюэ, Гару-Ромэна), другие воплотились в инструкциях (циркуляр от 9 августа 1841 г. о строительстве следственных тюрем) или в архитектурных сооружениях (тюрьма Петит Рокет, где впервые во Франции было введено камерное заключение).

К этому надо добавить публикации, более или менее прямо исходившие из тюрьмы и подготовленные филантропами (такими, как Аппер***), или, несколько позднее, «специалистами» (например, «Анналы Милосердия»[8]), или бывшими заключенными («Бедняга Жак» в конце Реставрации или «Газета Святой Пелагеи»**** в начале Июльской монархии)[9].

Не следует рассматривать тюрьму как инертный институт, время от времени встряхиваемый реформистскими

ральных советов, представленных по просьбе Шапталя, высказывались требования о тюрьмах, где заключенных можно было бы заставлять работать.

[7] Несомненно, важнейшие из них были предложены Ш. Люка, Маркет-Вассело, Фоше, Бонневилем* и, чуть позднее, Феррюсом**. Заметим, что в большинстве своем эти люди – не филантропы, критикующие институт тюрьмы извне, но так или иначе связаны с тюремной администрацией. Профессионалы.

[8] В Германии Юлиус руководил «Jahrbücher für Strafs- und Besserungs Anstalten».

[9] Хотя эти газеты являлись в основном органами защиты заключенных, оказавшихся в тюрьме за долги, и не раз отмечали отличие своих подзащитных от собственно де-

движениями. «Теория тюрьмы» была скорее устойчивой совокупностью рабочих инструкций тюрьмы, нежели ее случайной критикой, и составляла одно из условий ее функционирования. Тюрьма всегда была частью активного поля, где в изобилии множились проекты переустройства, эксперименты, теоретические дискурсы, личные свидетельства и исследования. Вокруг института тюрьмы всегда было много слов и стараний. Можно ли утверждать, что тюрьма – темная и забытая область? Являются ли достаточным доказательством обратного последние 200 лет? Становясь законным наказанием, тюрьма нагрузила старый юридическо-политический вопрос о праве наказывать всеми проблемами, всеми ожиданиями, связанными с технологиями исправления индивидов.

* * *

«Совершенные и строгие заведения», – заметил Балтар[10]. Тюрьма должна быть исчерпывающим дисциплинарным аппаратом в нескольких отношениях. Она должна отвечать за все стороны жизни индивида, его физическую муштру, приучение к труду, повседневное поведение, моральный облик и наклонности. Тюрьма «вседисциплинарна» в значительно большей степени, чем школа, фабрика или армия, всегда имеющие определенную специализацию. Кроме того, у тюрьмы нет ни внешней стороны, ни лакун; ее нельзя приостановить, за исключением тех случаев, когда ее задача полностью выполнена; ее воздействие на индивида должно быть непрерывным: нескончаемая дисциплина. Наконец, тюрьма обеспечивает практи-

линквентов, мы находим утверждение, что «колонки *Pauvre Jacques* не посвящены исключительно одной теме. Ужасный закон об аресте лица за долги, его гибельное применение не являются единственной мишенью журналиста-заключенного... *Pauvre Jacques* привлекает внимание своих читателей к местам заточения, заключения, тюрьмам-крепостям, домам призрения и ночлежкам; газета не умалчивает о местах, где виновный подвергается пыткам, тогда как закон приговорил его только к принудительному труду...» (*Pauvre Jacques*, год I, № 7). Сходным образом *Gazette de Sainte-Pelagie* борется за систему исправительных учреждений, целью которой было бы «улучшение вида», поскольку все остальное является «выражением все еще варварского общества» (21 марта 1883).

чески полную власть над заключенными. Тюрьма имеет собственные внутренние механизмы подавления и наказания: деспотическая дисциплина. Она доводит до наибольшей интенсивности все процедуры, действующие в других дисциплинарных механизмах. Она должна быть мощнейшим механизмом навязывания испорченному индивиду новой формы; способ ее действия – принудительное тотальное воспитание. «В тюрьме начальство располагает свободой личности и временем заключенного. Это позволяет понять силу воспитания, которое не один день, но ряд дней и даже лет диктует человеку время бодрствования и сна, деятельности и досуга, число и продолжительность приемов пищи, качество и количество еды, вид и продукт труда, время молитвы, пользование словом и даже, так сказать, мыслью. Воспитание посредством простых и коротких переходов из столовой в мастерскую, из мастерской в камеру регулирует движения тела, причем даже в моменты отдыха, и устанавливает распорядок дня. Словом, воспитание овладевает человеком в целом, всеми его физическими и моральными качествами и временем, в котором он пребывает»[11]. Этот полный «реформаторий» обеспечивает перекодировку существования, весьма отличную от простого юридического лишения свободы и от простого механизма поучений, о котором мечтали реформаторы эпохи Идеологии.

1. Первый принцип – изоляция. Изоляция осужденного от внешнего мира, от всего, что было мотивом правонарушения, от соучастия, которое облегчило его совершение. Изоляция заключенных друг от друга. Наказание должно быть не просто индивидуальным, но индивидуа-

[10] L. Baltard, *Architectonographie des prisons*, 1829.
[11] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, 1838, t. II, p. 123–124.

лизирующим. Это достигается двумя способами. Прежде всего, само устройство тюрьмы должно ликвидировать пагубные последствия, к которым она приводит, собирая вместе очень разных заключенных: тюрьма должна пресекать заговоры и бунты, препятствовать сближению возможных будущих сообщников, которое может породить шантаж (после освобождения), препятствовать аморальности многочисленных «загадочных союзов». Короче говоря, тюрьма не должна допустить, чтобы собранные в ней преступники составили однородное и сплоченное население: «Сегодня среди нас существует организованное общество преступников... Народ в народе. Почти все эти люди встретились и встречаются друг с другом в тюрьмах. Это общество мы должны рассеять»[12]. Кроме того, поскольку одиночество располагает к размышлениям и угрызениям совести, которые непременно возникают, оно должно быть положительным инструментом реформы: «Оказавшись в одиночестве, заключенный размышляет. Оставшись наедине с совершённым преступлением, он приучается его ненавидеть, и если душа его еще не закоснела во зле, то именно в одиночестве его настигнут муки совести»[13]. Благодаря тому же факту одиночество обеспечивает своего рода саморегулирование наказания и делает возможной его спонтанную индивидуализацию: чем больше заключенный способен к размышлению, тем больше он чувствует себя виновным в преступлении, и чем живее его раскаяние, тем болезненнее для него будет одиночество. Зато когда он глубоко раскается и изменится к лучшему, причем без тени разрушения личности, одиночество перестанет угнетать его: «Таким образом, следуя этой за-

[12] A. de Tocqueville, *Rapport à la Chambre des Députés*, цит. по кн.: E. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Le Système pénitentiaire aux États-Unis*, 3e éd. 1845, p. 392–393.

[13] E. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Ibid.*, p. 109.

мечательной дисциплине, всякое размышление и всякая мораль содержат в себе принцип и меру подавления, неотвратимость и неизменную справедливость которых не могут отменить ни ошибка, ни человеческая греховность... Разве нет на ней печати божественного и провиденциального правосудия?»[14] И наконец (а может быть, это главное), изоляция заключенных гарантирует, что на них можно максимально эффективно воздействовать властью, которая не будет опрокинута никаким иным влиянием; одиночество – первое условие полного подчинения. «Только представьте себе, – говорил Шарль Люка, имея в виду роль воспитателя, священника и "милосердных людей" относительно изолированного заключенного, – только представьте себе силу человеческого слова, раздающегося посреди ужасающей дисциплины молчания и обращенного к сердцу, душе, к личности человека»[15]. Изоляция обеспечивает разговор с глазу на глаз между заключенным и воздействующей на него властью.

Именно вокруг этого момента вращается дискуссия о двух американских системах заключения: обернской и филадельфийской. В сущности, эта дискуссия, столь широкая и долгая[16], касается лишь практики применения изоляции, с целесообразностью которой все согласны.

Обернская модель предписывает одиночную камеру ночью, совместную работу и общий обед, но при условии абсолютного молчания. Заключенные могут говорить только с надзирателями с разрешения последних и вполголоса. Здесь очевидно родство с монастырской моделью; вспоминается также фабричная дисциплина. Тюрьма должна быть совершенным обществом в миниатюре, где

[14] S. Aylies, *Du système pénitentiaire*, 1837, p. 132–133.

[15] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. I, 1836, p. 167.

[16] *Дискуссия, начавшаяся во Франции примерно в 1830 г., еще продолжалась в* 1850 г.; Шарль Лука, сторонник Обернской системы, был вдохновителем указа 1839 г. о режиме центральных тюрем (совместная работа и полное молчание). Последовавшая за ним волна бунтов и, пожалуй, общее волнение в стране в 1842–1843 гг. привели к принятию в 1844 г. пенсильванского режима полной изоляции, который отстаивали Ле-

индивиды изолированы в их нравственной жизни, но объединяются в жесткой иерархической структуре, исключающей «боковые» отношения и допускающей общение лишь по вертикали. Сторонники обернской системы усматривали ее преимущество в том, что она – повторение самого общества. Принуждение в ней осуществляется материальными средствами, но главное – посредством правил, которые надо научиться соблюдать, что обеспечивается надзором и наказанием. Вместо того чтобы держать заключенных «под замком, словно свирепых зверей в клетке», надо собирать их вместе, «заставлять их сообща участвовать в полезных упражнениях, принудительно прививать им хорошие привычки, предупреждать нравственную заразу активным надзором и поддерживать внутреннюю собранность соблюдением правила молчания». Это правило приучает заключенного «рассматривать закон как святую заповедь, нарушение которой может повлечь справедливое и законное наказание»[17]. Таким образом, изоляция, объединение без общения и закон, гарантированный непрерывным надзором, призваны возродить преступника как общественного индивида. Эти операции муштруют его для «полезной и смиренной деятельности»[18] и возрождают в нем «привычки члена общества»[19].

При абсолютной изоляции (требуемой филадельфийской моделью) перевоспитание преступника основывается не на применении общего права, а на отношении индивида к собственному сознанию и на том, что может озарить его изнутри[20]: «Один в своей камере, заключенный предоставлен самому себе. При молчании собствен-

метц, Блуэ, Токвиль. Но второй пенитенциарный конгресс 1847 г. высказался против этого метода.

[17] K. Mittermaier, см. в: *Revue française et étrangère de législation*, 1836.

[18] A. E. de Gasparin, *Rapport au ministre de l'Intérieur sur la réforme des prisons*.

[19] E. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénal aux États-Unis*, éd. de 1845, p. 112.

[20] «Каждый человек, – говорил Фокс*, – озарен божественным светом; я наблю-

ных страстей и окружающего мира он погружается в свою совесть, вопрошает ее и ощущает, как в нем пробуждается нравственное чувство, которое никогда не умирает полностью в человеческом сердце»[21]. Итак, на заключенного воздействуют не внешнее соблюдение закона и не один только страх перед наказанием, а работа его сознания, его совесть. Скорее глубоко прочувствованное подчинение, чем поверхностная муштра: изменение «нрава», а не привычек. В пенсильванской тюрьме единственными исправительными факторами являются сознание и немая архитектура, с которой оно сталкивается. В тюрьме Черри Хилл «стены наказывают за преступление, камера приводит заключенного к самому себе, он вынужден слушать свою совесть». Поэтому те, кто работает здесь, скорее утешают, чем обязывают. Надзирателям не приходится принуждать, ибо принуждает материальность вещей, а потому заключенные могут признать авторитет надзирателей: «При каждом посещении камеры несколько доброжелательных слов срываются с честных уст надзирателя и наполняют сердце узника благодарностью, надеждой и утешением; он любит своего стража, потому что тот ласков и сострадателен. Стены ужасны, а человек добр»[22]. В замкнутой камере, этом временном склепе, легко материализуются мифы о воскресении. После тьмы и молчания — возрожденная жизнь. Обернская модель — само общество в его сути. Черри Хилл — жизнь уничтоженная и возрожденная. Католичество быстро перенимает в своих дискурсах эту технику квакеров. «Я воспринимаю вашу камеру лишь как ужасный склеп, где вместо червей вас начинают точить муки совести и отчаяние, которые пре-

дал его сияние в каждом человеке». Начиная с 1820 г. тюрьмы в Пенсильвании и Питтсбурге, а затем тюрьма Черри Хилл были устроены в духе квакеров.

[21] *Journal des économistes*, т. II, 1842.

[22] Abel Blouet, *Projet de prisons cellulaires*, 1843.

вращают вашу жизнь в преждевременный ад. Но... то, что для заключенного-безбожника всего лишь могила, отвратительная погребальная яма, для заключенного — истинного христианина становится колыбелью блаженного бессмертия»[23].

Противопоставление этих двух моделей порождает ряд различных конфликтов: религиозный (должно ли обращение в веру являться основным элементом исправления?), медицинский (сводит ли с ума полная изоляция?), экономический (какой метод дешевле?), архитектурный и административный (какая форма гарантирует наилучший надзор?). Несомненно, именно поэтому их спор длился так долго. Но центром спора, его сердцевиной является первоочередная цель тюремного воздействия: принудительная индивидуализация путем разрыва всех связей, не контролируемых властью и не выстроенных в иерархическом порядке.

2. «Работа, чередующаяся с перерывами на обед и ужин, сопровождает заключенного вплоть до вечерней молитвы. Сон дает ему приятный отдых, который не тревожат призраки расстроенного воображения. Так проходят шесть дней недели. Затем наступает день, посвященный исключительно молитве, просвещению и благотворным размышлениям. Так сменяют друг друга недели, месяцы, годы. Так заключенный, который пришел в тюрьму неустойчивым или уверенным лишь в собственном внезаконии и влекомым к погибели разнообразными пороками, понемногу, в силу привычки (вначале чисто внешней, но вскоре становящейся его второй натурой), настолько привыкает к работе и приносимым ею радостям, что, если

[23] Abbé Petigny, Allocution adressée aux prisonniers, à l'occasion de l'inauguration des bâtiments cellulaires de la prison de Versailles. Ср. рассказанную несколькими годами позже, в «Графе Монте-Кристо», отчетливо христологическую версию воскресения после заключения; но в таком случае речь идет не о подчинении закону, а о приобретении с помощью тайного знания власти вершить правосудие вопреки несправедливости магистратов.

только мудрое наставление откроет его душу раскаянию, можно не бояться его столкновения с соблазнами, подстерегающими его, когда он наконец вновь обретет свободу»[24]. Работа наряду с изоляцией предстает как инструмент тюремного исправления. И это уже начиная с кодекса 1808 г.: «Цель вменяемого законом наказания не только расплата за преступление, но и исправление преступника. Эта двойная цель может считаться достигнутой, если преступник оторвется от пагубной праздности, которая не только привела его в тюрьму, но настигает его и там, чтобы овладеть им и довести до предельной развращенности»[25]. Работа не дополнение и не корректив к режиму заключения: будь то на каторжных работах, при отбывании одиночного заключения, в тюрьме — законодатель расценивает работу как крайне необходимое дополнение этого режима. Но дело в том, что вовсе не эту необходимость имели в виду реформаторы XVIII века, стремившиеся сделать работу примером для публики или полезной компенсацией для общества. В тюремном режиме связь между работой и наказанием совсем иная.

Споры, имевшие место в эпоху Реставрации и Июльской монархии, проливают свет на роль, отводимую труду заключенных. Прежде всего спорили о заработной плате. Во Франции работа заключенных оплачивалась. И возникала проблема: если их работа оплачивается, то, в сущности, она не может быть частью наказания, а следовательно, заключенный может отказаться ее выполнять. Более того, заработная плата вознаграждает умение рабочего, а не исправление виновного. «Самые отпетые негодяи практически повсюду — самые умелые рабочие. Их

[24] N. H. Julius, *Leçons sur les prisons*, 1831, t. I, p. 417–418. (Пер. на франц. яз.)

[25] G. A. Real, *Motifs du Code d'instruction criminelle*. До этого ряд инструкций Министерства внутренних дел подчеркивали необходимость принуждения заключенных к труду: *от 5 фруктидора года VI, от 3 мессидора года VIII, от 8 плювиоза и 28 вантоза года IX*, от 7 брюмера года X. Сразу же после принятия кодексов 1808 и 1810 гг. продолжают появляться новые инструкции: 20 октября 1811 г., 8 декабря 1812 г. или, снова, длинная инструкция 1816 г.: «Чрезвычайно важно максимально занять заключенных. Необходимо прививать им желание работать, делая различие между сульбой тех, кто

труд самый высокооплачиваемый, а потому они самые распущенные и меньше всего склонны к раскаянию»[26]. Эта дискуссия (никогда полностью не затухавшая) возобновляется с большой живостью в 1840–1845 гг., в период экономического кризиса и рабочих волнений, в период, когда к тому же начинает выкристаллизовываться оппозиция рабочих правонарушителям[27]. Происходят забастовки против тюремных мастерских. Когда один перчаточник из Шомона сумел организовать мастерскую в тюрьме Клерво, рабочие запротестовали, заявили, что их цех опозорен, захватили фабрику и вынудили хозяина отказаться от проекта[28]. Кроме того, развернулась широкая кампания в рабочих газетах: писали, что правительство поощряет работу в тюрьме с целью понизить зарплату «свободных» рабочих; что еще более очевиден вред, наносимый тюремными мастерскими женщинам: ведь лишая работы и толкая на проституцию, их обрекают на тюрьму, где те самые женщины, у которых отняли работу на свободе, начинают конкурировать с теми, у кого работа пока еще есть[29]; что заключенным отдается самая хорошая работа («в теплом помещении воры работают шляпниками и краснодеревщиками», а безработный шляпник вынужден идти «на человеческую бойню и изготовлять свинцовые белила за 2 франка в день»[30]); что условия труда заключенных волнуют филантропов гораздо больше, чем условия труда свободных рабочих. «Мы уверены, что если бы заключенные работали с ртутью, то наука куда быстрее, чем сейчас, взялась бы за поиски средств защиты от ее опасных испарений. “Бедные заключенные!” — воскликнет тот, кто едва ли замолвит словечко за позолотчи-

трудится, и тех, кто желает жить праздно. Первых следует лучше кормить, предоставлять им более удобные постели». Тюрьмы Мелена и Клерво были очень рано организованы как большие цеха.

[26] J. J. Marquet Wasselot, t. III, p. 171.

[27] См. ниже, с. 420–421.

[28] См.: J. P. Aguet, *Les Grèves sous la monarchie de Juillet*, 1954, p. 30–31.

[29] *L'Atelier*, 3ᵉ année, № 4, décembre 1842.

[30] *L'Atelier*, 6ᵉ année, № 2, novembre 1845.

ков. Чего же ждать? Надо убить или украсть, чтобы пробудить сострадание или интерес». А главное — что если тюрьма постепенно превращается в фабрику, то недолго уже ждать того момента, когда туда отправят нищих и безработных и тем возродят старые французские богадельни или английские работные дома[31]. Кроме того, были петиции и письма, особенно после принятия закона 1844 г.; в одной из них, отвергнутой Парижской палатой депутатов, говорилось, что «бесчеловечно предлагать использовать убийц и воров на работах, в которых нуждаются сегодня тысячи рабочих», что «палата депутатов предпочла нам Варраву»[32]. Узнав, что в тюрьме города Мелена должна быть устроена типография, печатники направили письмо министру: «Вы должны сделать выбор между отщепенцами, справедливо наказанными законом, и гражданами, самоотверженно и честно отдающими свои дни поддержанию собственных семей и преумножению богатства родины»[33].

Но реакция правительства и администрации на все эти протесты была практически неизменной. Тюремный труд нельзя критиковать за то, что он якобы вызывает безработицу: ведь его распространение столь незначительно, а производительность столь низка, что он не может серьезно влиять на экономику. Он полезен как таковой, не как производственная деятельность, а как средство воздействия на человеческий механизм. Труд — начало порядка и регулярности; навязывая свои требования, он незаметно распространяет формы жесткой власти. Он подчиняет тела размеренным движениям, исключает волнение и отвлечение, насаждает иерархию и надзор, кото-

[31] *Ibid.*

[32] *L'Atelier*, 4ᵉ année, № 9, juin 1844; 5ᵉ année, № 7, avril 1845; см. также «La Démocratie pacifique» того же времени.

[33] *L'Atelier*, 5ᵉ année, № 6, mars 1845.

рые тем легче воспринимаются заключенными и тем глубже укореняются в их поведении, что являются частью его собственной логики: ведь вместе с трудом «правило вводится в тюрьму, оно царит там без усилия, без применения репрессивных и грубых средств. Обязывая заключенного трудиться, ему прививают привычку к порядку и послушанию; прежнего лентяя превращают в прилежного и активного человека... со временем он обретает в монотонном порядке тюрьмы и ручном труде, который ему навязывают... надежное лекарство против разгула воображения»[34]. Принудительный тюремный труд должен расцениваться как тот самый механизм, который преобразует грубого, возбужденного и безрассудного заключенного в деталь, исполняющую свою роль безукоризненно точно. Тюрьма – не мастерская; она является, она должна быть машиной, а заключенные–рабочие – ее винтиками и продуктами; она «занимает их постоянно с единственной целью заполнить каждый момент их жизни. Когда тело разгорячено трудом, когда ум занят, назойливые мысли уходят прочь, покой снова рождается в душе»[35]. Если вообще можно говорить об экономическом результате тюремного труда, то он состоит в производстве механизированных индивидов, соответствующих общим нормам индустриального общества: «Работа – судьба современных людей; она заменяет им мораль, заполняет пустоту, оставленную верой, и считается началом всякого блага. Работа должна быть религией тюрем. Обществу-машине требуются чисто механические средства преобразования»[36]. Изготовление людей-машин, но и пролетариев; действительно, когда у человека есть только «пара рук,

[34] A. Berenger, *Rapport à l'Académie des sciences morales*, juin 1836.

[35] E. Danjou, *Des prisons*, 1821, p. 180.

[36] L. Faucher, *De la réforme des prisons*, 1838, p. 64. В Англии «treadmill»* и насос обеспечивали дисциплинарную механизацию заключенных, не дававшую ни малейшего производственного эффекта.

готовых к любой работе», он может жить лишь «продуктом своего труда, ремеслом, или же продуктом труда других, воровством»; но, хотя тюрьма не заставляла правонарушителей работать, труд, по-видимому, был внедрен в самый ее институт в том числе косвенно, посредством налогообложения, этого способа существования некоторых за счет труда других: «Проблема праздности здесь та же, что в обществе; заключенные живут трудом других, если не работают сами»[37]. Труд, который помогает заключенному удовлетворить свои нужды, превращает вора в послушного рабочего. В этом состоит польза оплаты труда заключенных; она навязывает заключенному «моральную» форму заработка как условие его существования. Заработок прививает «любовь и привычку» к труду[38], рождает у злодеев, не знающих различия между «моим» и «твоим», чувство собственности по отношению к тому, что «заработано в поте лица»[39], научает людей, привыкших к мотовству и разгулу, добродетелям бережливости и предусмотрительности[40]; наконец, предполагая выполнение определенного количества работы, заработок позволяет количественно выразить усердие заключенного и его успехи на пути к исправлению[41]. Оплата тюремного труда не вознаграждает за производство, но служит двигателем и мерой преобразования индивида: она — юридическая фикция, поскольку свидетельствует не о «свободной» передаче рабочей силы, а об уловке, которая считается эффективным методом исправления.

В таком случае, что же дает тюремная работа? Не прибыль и даже не формирование полезного навыка; она создает отношение власти, пустую экономическую форму,

[37] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, 1838, t. II, p. 313–314.

[38] *Ibid.*, p. 243.

[39] E. Danjou, *Des prisons*, 1821, p. 210–211; см. также: *L'Atelier*, 6e année, № 2, novembre 1845.

[40] Ch. Lucas, *loc. cit.* Треть суточной заработной платы откладывалась до освобождения заключенного.

[41] E. Ducpétiaux, *Du système de l'emprisonnement cellulaire*, 1857, p. 30–31.

схему подчинения индивида и приспособления его к производственному аппарату.

Совершенный образец тюремного труда – женская мастерская в Клерво, где молчаливая точность человеческого механизма напоминает уставную строгость монастыря: «На кафедре под распятием восседает монахиня. Перед ней в два ряда заключенные выполняют порученную им работу. Поскольку вся работа производится с помощью иглы, постоянно царит строжайшая тишина... Создается впечатление, что в этих залах все дышит епитимьей и искуплением. Невольно переносишься во времена достойных обычаев сей древней обители, вспоминаешь о каявшихся грешницах, которые добровольно затворялись здесь, навсегда прощаясь с миром»[42].

3. Но тюрьма идет дальше простого лишения свободы в более важном смысле. Она все больше становится инструментом модулирования наказания; аппаратом, который в процессе порученного ему исполнения приговора имеет право по крайней мере частично определять его принцип. Конечно, институт тюрьмы не получил этого «права» ни в XIX, ни даже в XX столетиях – если не иметь в виду его фрагментарную форму, выражающуюся в таких наказаниях, как условное лишение свободы, полусвобода с принудительным трудом, организация реформатория. Но необходимо заметить, что тюремная администрация уже очень давно добивалась этого права, утверждая, что оно является условием хорошего функционирования тюрьмы и успешного решения задачи исправления, поставленной перед ней самим правосудием.

То же самое верно о продолжительности наказания:

[42] Ср. с этим слова Фоше: «Придите на прядильную фабрику; прислушайтесь к разговорам рабочих и поскрипыванию машин. Есть ли в мире контраст более огорчительный, чем контраст между равномерностью и предсказуемостью сих механических движений и беспорядком мыслей и нравов, произвольным общением этих многочисленных мужчин, женщин и детей» (*De la réforme des prisons*, 1838, p. 20).

тюрьма позволяет точно рассчитывать наказания, градуировать их в зависимости от обстоятельств и придавать наказанию более или менее явную форму расплаты. Но продолжительность наказания не будет иметь никакой исправительной ценности, если она раз и навсегда установлена приговором. Длительность наказания не должна быть мерой «меновой стоимости» правонарушения; она должна зависеть от «полезного» изменения осужденного за время отбывания срока. Мера – не время, а время, сообразуемое с конечной целью. Скорее операция, чем расплата. «Точно так же как хороший врач прекращает или продолжает лечение в зависимости от того, достиг ли больной полного излечения, искупление должно завершаться с полным исправлением заключенного; ведь в этом случае заключение становится бесполезным, а кроме того, не просто бесчеловечным по отношению к исправившемуся, но и пустой тратой государственных средств»[43]. Следовательно, оптимальная продолжительность наказания должна исчисляться не только в зависимости от вида преступления и сопутствовавших ему обстоятельств, но и исходя из поведения заключенного в процессе отбывания наказания. Иными словами, наказание должно быть индивидуальным и определяться не только индивидуальностью правонарушителя (юридического субъекта поступка, несущего ответственность за преступление), но и индивидуальностью наказываемого, объекта контролируемого преобразования, индивида, заключенного в тюремную машину, измененного ею или реагирующего на нее. «Дело не только в перевоспитании злодея. По завершении перевоспитания преступник должен вернуться в общество»[44].

[43] A. Bonneville, *Des libérations préparatoires*, 1846, p. 6. Бонневиль предлагал меры «подготовительной свободы», но также «дополнительное наказание», или пролление срока тюремного заключения, если окажется, что «судебное предписание, сформулированное приблизительно, с учетом предполагаемой степени закоренелости преступника, недостаточно для достижения ожидаемого результата». Дополнительный срок не должен превышать одной восьмой первоначального наказания; подготовительная свобода могла быть предоставлена по истечении трех четвертей срока (*Traité des diverses institutions complémentaires*, p. 251 ff.).

[44] Ch. Lucas, цит. по: *Gazette des tribunaux*, 6 avril 1837.

Качество и содержание заключения больше не должны определяться только природой правонарушения. Юридическая тяжесть преступления вовсе не обладает ценностью однозначного свидетельства о характере осужденного, поддающемся или не поддающемся исправлению. В частности, различие между гражданским правонарушением и уголовным преступлением, которому в уголовном кодексе соответствует различие между простым лишением свободы и лишением свободы вкупе с каторжными работами, не является решающим с точки зрения исправления. Таково почти общее мнение директоров тюрем, выраженное в ходе опроса, проведенного министерством юстиции в 1836 г.: «Мелкие правонарушители, как правило, самые порочные... Среди уголовников многие совершили преступление из ревности или отчаявшись обеспечить большую семью». «Уголовники ведут себя гораздо лучше, чем мелкие правонарушители. Они покорнее, трудолюбивее последних, чаще всего — жуликов, плутов, распутников и лентяев»[45]. Отсюда мысль, что строгость наказания не должна быть прямо пропорциональна тяжести совершенного преступления и не должна оставаться неизменной.

Как исправительная операция, заключение предъявляет свои требования и представляет определенную опасность, а именно результаты отбывания заключения должны определять его этапы, периоды временного ужесточения и последующего смягчения; то, что Шарль Люка назвал «подвижной классификацией моральных качеств». Во Франции часто защищали прогрессивную систему, применявшуюся в Женеве с 1825 г.[46] Она принимала фор-

[45] Из *Gazette des tribunaux*. См. также: Marquet-Wasselot, *La Ville du refuge*. 1832, p. 74–76. Ш. Люка отмечает, что уголовники «происходят обычно из городского населения» и что «добрым нравом отличаются чаще всего заключенные селяне» (*De la réforme des prisons*, т. I, 1836, p. 46–50).

му, например, трех тюремных корпусов: испытательного для всех заключенных, карательного и поощрительного (для тех, кто встал на путь исправления)[47], или четырех фаз: периодов устрашения (лишение работы и всякого внутреннего или внешнего общения), работы (изоляция, но при этом труд, который после фазы вынужденной праздности воспринимается как благо), морального наставления (более или менее частые «собеседования» с директорами и должностными лицами) и коллективной работы[48]. Хотя принцип наказания определяется, безусловно, решением суда, управление его исполнением, его качество и строгость должны диктоваться автономным механизмом, контролирующим результаты наказания изнутри той самой машины, что их производит. Весь режим наказаний и вознаграждений не только заставляет соблюдать тюремный распорядок, но и добивается эффективного воздействия тюрьмы на узников. Сама судебная власть начинает это признавать: «Не следует удивляться, – заявил кассационный суд, когда обсуждался проект закона о тюрьмах, – идее вознаграждений, которые состоят большей частью в даровании денег, в улучшенном питании или сокращении срока. Если что-нибудь и может пробудить в сознании заключенных понятия добра и зла, привести их к размышлениям о морали и хоть немного возвысить в собственных глазах, то это возможность получить вознаграждение»[49].

И надо признать, что судебные инстанции не имеют прямой власти над всеми теми процедурами, что корректируют наказание в процессе его исполнения. Ведь они, по определению, представляют собой меры, которые

[46] R. Fresnel, *Considérations sur les maisons de refuge*, Paris, 1829, p. 29–31.

[47] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 440.

[48] L. Duras; статья, опубликованная в газете *Le Progressif*; цит. по: *La Phalange*, 1er déc. 1838.

[49] Ch. Lucas, *op. cit.*, p. 441–442.

принимаются только после вынесения приговора и могут быть продиктованы не правонарушениями, а чем-то иным. Поэтому персонал, управляющий содержанием в тюрьме, должен располагать необходимой автономией в вопросе индивидуализации наказания и изменения режима отбывания или срока: надзиратели, директор тюрьмы, священник или воспитатель выполнят эту корректирующую функцию лучше, чем те, в чьих руках находится власть судебная. Именно их суждение (понимаемое как констатация, диагноз, характеристика, уточнение и дифференцирующая классификация), а не приговор в форме установления виновности, должно служить основанием для внутреннего изменения наказания – для его смягчения или даже приостановки. Когда в 1846 г. Бонневиль представил проект временного освобождения из тюрьмы по специальному разрешению, он определил его как «право администрации с предварительного согласия судебной власти временно освобождать полностью исправившегося заключенного после отбывания срока, достаточного для искупления вины, при условии, что он будет водворен обратно при малейшей обоснованной жалобе»[50]. Весь «произвол», при прежнем судебном режиме позволявший судьям модулировать наказание, а государям – прерывать его по собственной воле, весь этот произвол, который современные кодексы отняли у судебной власти, постепенно восстанавливается на стороне власти, управляющей наказанием и контролирующей его. Верховная власть знания, принадлежащего стражу: «Он – настоящий магистрат, призванный суверенно править в доме... и чтобы не потерпеть неудачу в своей миссии, он

[50] A. Bonneville, *Des libérations préparatoires*, 1846, p. 5.

должен сочетать выдающуюся добродетель с глубоким знанием людей»[51].

И здесь мы приходим к принципу, четко сформулированному Шарлем Люка. Хотя сегодня весьма немногие юристы решились бы признать его без некоторого колебания, он знаменует основное направление современного функционирования уголовной системы; назовем его Декларацией тюремной независимости. В нем утверждается право тюремных властей не только на административную автономию, но и на участие в верховной власти наказывать. Утверждение прав тюрьмы определяется следующими принципами. Уголовный приговор – произвольная единица; ее необходимо разложить. Составители уголовных кодексов справедливо различали уровень законодательства (классификация преступлений и установление соответствующих наказаний) и уровень суда (вынесение приговора). Сегодня задача состоит в том, чтобы проанализировать, в свою очередь, судебный уровень. В нем необходимо выделить собственно судебное (оценивать не столько действия, сколько деятелей, учитывать «намерения, придающие человеческим поступкам столь различные моральные качества», а следовательно, по возможности исправлять оценки законодателя), а также обеспечить автономию «тюремного суждения» (это, пожалуй, самое важное). По сравнению с последним суждение суда – лишь «предварительное», поскольку нравственность преступника можно оценить, «только подвергнув ее испытанию». «Следовательно, оценка судьи, в свою очередь, требует обязательного корректирующего контроля, и этот контроль обеспечивается тюрьмой»[52].

[51] A. Bérenger, *Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques*, juin 1836.
[52] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 418–422.

Итак, можно говорить о перевесе (одном или многих) в заключении тюремной стороны над собственно правовой – о перевесе «тюремного» над «судебным». Этот перевес наблюдался издавна, с самого рождения тюрьмы, как в форме реальной практики, так и в форме проектов. Он не возник впоследствии, как вторичный результат. Грандиозная тюремная машина была связана с самим функционированием тюрьмы. Признаки ее автономии совершенно явственны в «бесполезном» насилии надзирателей и деспотизме администрации, пользующейся всеми привилегиями замкнутого пространства. Корни ее в другом: именно в том, что от тюрьмы требовали быть «полезной», что лишение свободы – юридическое изъятие идеальной собственности – с самого начала должно было играть положительную техническую роль: служить преобразованию индивидов. Для этой операции аппарат карцера использует три великие схемы: политико-моральную схему изоляции и иерархии, экономическую модель силы, приложимую к принудительному труду, и технико-медицинскую модель излечения и нормализации. Камера, цех, больница. Тот край, где тюрьма перевешивает лишение свободы, заполняется методами дисциплинарного типа. Это дисциплинарное дополнение к юридическому и есть то, что кратко называют «пенитенциарным».

* * *

Дополнение не было принято с легкостью. Прежде всего, речь шла о принципе: наказание должно быть только лишением свободы. Как и наши нынешние правители, но

весьма убедительно об этом говорит Деказ: «Закон должен следовать за осужденным в тюрьму, куда он его привел»[53]. Но очень скоро — что характерно — этим спорам суждено было вылиться в битву за контроль над пенитенциарным «дополнением». Судьи потребовали для себя права надзора над тюремными механизмами: «Моральное просвещение узников требует участия многих помощников; оно возможно лишь посредством инспектирования, наблюдательных комиссий и шефства благотворительных обществ. Стало быть, необходимы помощники и вспомогательные механизмы, и обеспечить их должно судебное ведомство»[54]. К тому времени тюремный порядок стал уже достаточно прочным, и вопрос о его разрушении не стоял; речь шла о том, как установить над ним контроль. Появляется судья, охваченный желанием к тюрьме. Век спустя рождается внебрачный и уродливый ребенок: судья по исполнению наказаний.

Но если исправительное (пенитенциарное) благодаря его «перевесу» над лишением свободы сумело не только упрочиться, но даже поймать в ловушку всю уголовную юстицию и «заключить» самих судей, то это произошло потому, что оно смогло ввести уголовное правосудие в отношения знания, которые с тех пор стали для него бесконечным лабиринтом.

Тюрьма, место исполнения наказания, является также местом наблюдения над осужденными индивидами. Наблюдения в двояком смысле: конечно, как надзора, но и как познания каждого заключенного, его поведения, глубинных наклонностей, хода его постепенного исправления. Тюрьмы должны рассматриваться как места форми-

[53] E. Decazes, «Rapport au Roi sur les prisons», *Le Moniteur*, 11 avril 1819.

[54] Vivien, цит. по: G. Ferrus, *Des prisonniers*, 1850, p. VIII. Уложением 1847 г. были учреждены наблюдательные комиссии.

рования клинического знания о заключенных. «Пенитенциарная система не может быть априорной концепцией; она – результат индукции, опирающейся на общественное состояние. Есть моральные расстройства и недуги, метод лечения которых зависит от очага болезни и направления ее распространения»[55]. Должны работать два основных механизма. Необходимо поместить заключенного под постоянный надзор; всякое сообщение о нем должно быть записано и учтено. Тема паноптикона – одновременно надзора и наблюдения, безопасности и знания, индивидуализации и суммирования, изоляции и прозрачности – обрела в тюрьме привилегированное место практического осуществления. Хотя паноптические процедуры как конкретные формы отправления власти получили чрезвычайно широкое распространение, по крайней мере в их рассеянных формах, полное материальное воплощение утопия Бентама могла получить только в исправительных заведениях. В 1830–1840 гг. паноптикон стал архитектурной программой большинства тюремных проектов. Он самым непосредственным образом выражал «разумность дисциплины в камне»[56], делал архитектуру прозрачной для отправления власти[57], делал возможной замену силы или насильственных принуждений мягкой эффективностью тотального и беспроигрышного надзора, упорядочивал пространство в соответствии с недавней гуманизацией кодексов и новой пенитенциарной теорией: «Власть, с одной стороны, и архитектор – с другой, должны знать, на чем надо основывать тюрьмы – на принципе более мягких наказаний или же на системе исправления виновных в соответствии с законодательством, которое,

[55] Léon Faucher, *De la réforme des prisons*, 1838, p. 6.

[56] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. I, 1836, p. 69.

[57] «Если рассматривать административный вопрос в отрыве от вопроса о зданиях, то существует риск, что будут установлены принципы, далекие от действительного положения дел; но при достаточно хорошем знании административных нужд архитектор вполне может ориентироваться на ту или иную систему заключения, которую теоретически можно было бы посчитать утопией» (Abel Blouet, *Projet de prison cellulaire*, 1843, p. 1).

добираясь до главной причины людских пороков, становится началом возрождения добродетелей, коими следует руководствоваться»[58].

Короче говоря, задача паноптикона – создать тюрьму-машину[59] с насквозь просматриваемой камерой, где заключенный оказывается словно «в стеклянном доме греческого философа»[60], и с центральным пунктом, откуда неотрывный взор может контролировать заключенных и персонал. Появилось несколько вариаций строгой изначальной формы Бентамова паноптикона: полукруг, крестовидная структура или звездообразное строение[61]. В 1841 г., в разгар дискуссий, министр внутренних дел напоминает о фундаментальных принципах: «Центральный зал надзора – стержень системы. Без центрального надзирательного пункта нельзя обеспечить постоянный и всеобщий контроль, поскольку невозможно полностью полагаться на деятельность, усердие и ум охранника, который непосредственно надзирает за камерами... Поэтому архитектор должен сосредоточить все свое внимание на этом объекте. Это вопрос как дисциплины, так и экономии. Чем совершеннее надзор и проще его осуществление, тем меньше придется уповать на прочность стен как препятствие побегам и общению между заключенными. Но надзор будет совершенным, если из центрального зала директор или главный надзиратель сможет видеть, не сходя с места и оставаясь невидимым, не только двери всех камер и даже не только происходящее почти в каждой из них (когда их незастекленные двери отворены), но и надзирателей, охраняющих заключенных на всех этажах... Кольцеобразная или полукруглая форма тюрьмы позволяет видеть из

[58] L. Baltard, *Architectonographie des prisons*, 1829, p. 4–5.

[59] «Англичане во всех своих делах проявляют себя гениальными механиками, и они захотели, чтобы их строения функционировали как механизм, приводимый в действие одним двигателем»: *ibid.*, p. 18.

[60] N. P. Harou-Romain, *Projet de pénitencier*, 1840, p. 8.

[61] См. ил. 18–26.

одного центра всех заключенных в камерах и надзирателей в коридорах»[62].

Но исправительный паноптикон был также системой индивидуализирующей и непрерывной документации. В том самом году, когда рекомендовали различные варианты бентамовской схемы для строительства тюремных зданий, стала обязательной система «морального учета»: во всех тюрьмах был введен индивидуальный бюллетень единого образца, в который директор, старший надзиратель, священник или воспитатель должны были заносить свои наблюдения и замечания о каждом заключенном: «Своего рода справочник тюремной администрации, позволяющий оценить каждый случай, каждое обстоятельство, а значит, подобрать индивидуальный режим для каждого заключенного»[63]. Было продумано и испытано много других, гораздо более полных систем регистрации[64]. Их общая цель состояла в том, чтобы сделать тюрьму местом конституирования знания, призванного регулировать ход исправительной практики. Тюрьма должна не только знать приговор судей и приводить его в исполнение в соответствии с установленными правилами, она должна непрерывно извлекать из заключенного знание, которое позволит преобразовать судебную меру в тюремно-исправительную операцию, которое превратит положенное по закону наказание в полезное для общества перевоспитание заключенного. Автономия тюремного режима и создаваемое им знание усиливают полезность наказания, что возводится кодексом в самый принцип его карательной философии: «Директор не должен терять из виду ни одного заключенного, поскольку, в каком бы корпусе за-

[62] Ducatel, *Instruction pour la construction des maisons d'arrêt*, p. 9.

[63] E. Ducpetiaux, *Du système de l'emprisonnement cellulaire*, 1847, p. 56–57.

[64] См., например: G. de Gregory, *Projet de Code pénal universel*, 1832, p. 199 ff.; Grellet-Wammy, *Manuel des prisons*, 1839, t. II, p. 23–25, 199–203.

ключенный ни находился, входит ли он, выходит или же остается в нем, директор должен всякий раз обосновать, почему держит его в конкретном разряде или переводит в другой. Он настоящий бухгалтер. Каждый заключенный для него, в плане индивидуального воспитания, — капитал, вложенный в интересах исправления»[65]. Как в высшей степени совершенная и тонкая технология, исправительная практика обеспечивает проценты с капитала, вложенного в тюремную систему и строительство монументальных тюрем.

Между тем правонарушитель становится индивидом, подлежащим познанию. Требование знания, способствующего лучшему обоснованию приговора и определению истинной меры виновности, было вписано в судебный акт не сразу. Правонарушитель становится объектом возможного знания именно в качестве осужденного, как точка приложения карательных механизмов.

Но это предполагает, что тюремный аппарат со всей своей технологической программой производит любопытную замену: из рук правосудия он принимает осужденного; но воздействовать он должен, конечно, не на правонарушение и даже не на правонарушителя, а на несколько иной объект, определенный переменными величинами, которые, по крайней мере с самого начала, не были учтены в приговоре, поскольку они имеют отношение исключительно к исправительной технологии. Этот другой персонаж, которым тюремный аппарат заменяет осужденного правонарушителя, — делинквент.

Делинквента необходимо отличать от правонарушителя, поскольку его характеризует не столько его действие,

[65] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 449–450.

сколько сама его жизнь. Пенитенциарная операция, чтобы завершиться подлинным перевоспитанием, должна заполнить собой всю жизнь делинквента, сделать из тюрьмы своего рода искусственный и принудительный театр, где его жизнь будет пересмотрена с самого начала. Законное наказание основывается на деянии, методика наказания – на жизни. Следовательно, именно эта методика должна восстановить все отвратительные подробности в виде знания; принудительным путем изменить его последствия и восполнить пробелы. Это биографическое знание и техника исправления индивидуальной жизни. Наблюдение за делинквентом «должно охватывать не только обстоятельства, но и причины содеянного им преступления; они должны быть обнаружены в истории его жизни, рассмотренной с тройственной точки зрения психологии, общественного положения и воспитания, с тем чтобы установить соответственно его опасные наклонности, пагубные предрасположения и дурное прошлое. Прежде чем стать условием классификации моральных качеств в пенитенциарной системе, биографическое исследование является существенной частью судебного следствия, направленного на классификацию наказаний. Оно должно сопровождать преступника из суда в тюрьму, где директор обязан не только принять его, но и дополнить, проконтролировать и отчасти исправить в период отбывания заключения»[66]. За правонарушителем, которому расследование обстоятельств может вменить ответственность за правонарушение, стоит делинквент, чье постепенное формирование показывается биографическим исследованием. Введение «биографического» имеет важ-

[66] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 440–442.

ное значение в истории уголовно-правовой системы. Ведь оно устанавливает, что «преступник» существовал еще до преступления и даже вне его. И поэтому психологическая причинность, дублируя юридическое вменение ответственности, спутывает его последствия. Тут мы вступаем в «криминологический» лабиринт, из которого пока еще не выбрались: всякая определяющая причина, уменьшая ответственность, клеймит правонарушителя как еще более страшного преступника и требует еще более строгого наказания. Поскольку биография преступника дублирует в уголовно-правовой практике анализ обстоятельств, предпринимаемый для оценки тяжести преступления, границы уголовного и психиатрического дискурсов смешиваются; и здесь, на месте их соединения, образуется понятие «опасного» индивида, которое позволяет установить сеть причинных связей в масштабе всей биографии и вынести приговор о наказании—исправлении[67].

Делинквента следует отличать от правонарушителя еще и потому, что он не просто автор своих действий (ответственный на основании определенных критериев свободной и сознательной воли), но связан со своим правонарушением целым клубком сложных нитей (инстинктами, импульсами, наклонностями, характером). Пенитенциарная техника основывается не на таком отношении между «автором» и преступлением, но на родстве между преступником и преступлением. Делинквенты, единичные проявления глобального феномена преступности, подразделяются на якобы естественные классы, каждый из которых имеет собственные определенные характеристики и требует особого исследования. Такое исследование

[67] Надо было бы изучить, почему написание биографий распространилось после того, как карательные механизмы создали делинквентного индивида: биография или автобиография заключенных у Аппера; составление биографических досье по психиатрической модели; использование биографии для защиты обвиняемого. Последнее можно сравнить со знаменитыми документами конца XVIII века в защиту трех приго-

Марке-Вассело в 1841 г. назвал «Этнографией тюрем». «Осужденные, – писал он, – это народ в народе. Народ со своими обычаями, инстинктами и нравами»[68]. Мы еще очень близки здесь к «живописанию» мира злодеев – к старой традиции, которая уходит далеко в прошлое и возродилась с новой силой в первой половине XIX века, когда восприятие иной формы жизни связывали с жизнью другого класса и другого человеческого вида. Зоология социальных подвидов и этнология цивилизаций злодеев, с их особыми обычаями и особым языком, зарождались в пародийной форме. Однако предпринимались также усилия по созданию новой объективности, в которой преступник принадлежит к типологии, одновременно естественной и отклоняющейся от нормы. Делинквентов, это патологическое отклонение в человеческом виде, можно рассматривать как болезненные синдромы или чудовищно уродливые формы. Классификация Феррюса представляет собой, несомненно, один из первых образцов превращения старой «этнографии» преступления в систематическую типологию делинквентов. Конечно, этот анализ слаб, но он совершенно четко открывает тот принцип, что делинквентность следует классифицировать не столько с точки зрения закона, сколько с точки зрения нормы. Имеется три типа осужденных. Осужденные, чьи «интеллектуальные возможности превышают установленный нами средний уровень», но были испорчены либо самим своим «психологическим складом» и «врожденной предрасположенностью», либо «пагубной логикой», «отвратительным нравом» и «опасным отношением к общественным обязанностям». Те, кто принадлежит к этой категории, требу-

воренных к колесованию или Жанны Салмон и защитительными речами в эпоху Людовика-Филиппа. Вот слова Шэ д'Эст-Анж в защиту Ла Ронсьера: «Если бы можно было изучить жизнь обвиняемого задолго до совершения преступления, проникнуть в его сердце, изучить его тайники, распознать его мысли и всю его душу...» (*Discours et plaidoyers*, t. III, p. 166).

[68] J. J. Marquet-Wasselot, *L'Ethnographie des prisons*, 1841, p. 9.

ют изолированного содержания и днем и ночью, прогулок поодиночке, а когда невозможно избежать контакта с другими заключенными, следует надевать им «легкую металлическую сетку, вроде тех, что используются при шлифовке камней или в фехтовании». Вторая категория — осужденные «порочные, недалекие, тупые или пассивные, которые втянулись в зло по причине безразличия к позору и чести, по трусости, даже лености, и неспособности противостоять дурным побуждениям». Для них подходит не столько режим наказания, сколько воспитание, причем по возможности взаимное воспитание: одиночество ночью, совместная работа днем, разговоры допускаются, но только громко вслух, коллективное чтение, сопровождаемое вопросами друг к другу, за которые может даваться вознаграждение. Наконец, есть осужденные «бездарные и неспособные», чья «несовершенная организация делает их негодными к любому занятию, требующему обдуманных усилий и последовательной воли. Поэтому они не способны конкурировать с умелыми и опытными рабочими и, не обладая ни достаточной просвещенностью, чтобы знать свои общественные обязанности, ни достаточным умом, чтобы понять этот факт и бороться с собственными инстинктами, втягиваются в злодеяния самой своей неспособностью. Одиночество лишь усилило бы инертность таких заключенных, а потому они должны жить сообща, но небольшими группами, постоянно стимулируемые коллективными занятиями и подвергаемые строгому надзору»[69]. Так постепенно формируется «положительное» знание делинквентов и их видов, весьма отличное от юридической классификации правонарушений и сопутст-

[69] G. Ferrus, *Des prisonniers*, 1850, p. 182 ff.; 278 ff.

вующих им обстоятельств, но также и от медицинского знания, которое позволяет говорить о безумии индивида и тем самым аннулирует преступный характер деяния. Феррюс формулирует этот принцип совершенно четко: «В целом преступники далеко не безумны; было бы несправедливостью по отношению к безумным путать их с людьми сознательно испорченными». Задача нового знания – «научно» квалифицировать деяние как преступление, а главное – индивида как делинквента. Становится возможна криминология.

Коррелятом уголовного правосудия вполне может быть правонарушитель, но коррелят тюремной машины – некто другой; это делинквент, биографическая единица, ядро «опасности», род аномалии. И хотя справедливо, что к заключению, т. е. к законосообразному лишению свободы, тюрьма сделала пенитенциарное «дополнение», это последнее, в свою очередь, вывело на сцену еще одного персонажа, который вкрался между индивидом, осужденным по закону, и индивидом, исполняющим этот закон. В тот момент, когда исчезло клеймимое, расчленяемое, сжигаемое и уничтожаемое тело пытаемого преступника, появилось тело заключенного, дублируемое индивидуальностью «делинквента», душонкой преступника, которую сам аппарат наказания произвел как точку приложения власти наказывать и как объект того, что по сей день именуется пенитенциарной наукой. Говорят, что тюрьма производит делинквентов; действительно, тюрьма почти неизбежно возвращает на судебную скамью тех, кто на ней уже побывал. Но она производит их также в том смысле, что вводит в игру закона и правонарушения,

судьи и правонарушителя, осужденного и палача нетелесную реальность делинквентности, которая связывает их вместе и в течение полутора столетий заманивает в одну и ту же ловушку.

* * *

Пенитенциарная техника и делинквент — в некотором роде братья-близнецы. Неверно, что именно открытие делинквента средствами научной рациональности привнесло в наши старые тюрьмы утонченность пенитенциарных методов. Неверно также, что внутренняя разработка пенитенциарных методов в конце концов высветила «объективное» существование делинквентности, которую не могли уловить суды по причине абстрактности и негибкости права. Они возникли одновременно, продолжая друг друга, как технологический ансамбль, формирующий и расчленяющий объект, к которому применяются его инструменты. И именно эта делинквентность, образовавшаяся в недрах судебной машины, на уровне «низких дел», карательных задач, от которых отводит свой взгляд правосудие, стыдясь наказывать тех, кого оно осуждает, — именно она становится теперь кошмаром для безмятежных судов и величия законов; именно ее необходимо познавать, оценивать, измерять, диагностировать и изучать, когда выносятся приговоры. Именно ее, делинквентность, эту аномалию, отклонение, скрытую опасность, болезнь, форму существования, — надо теперь принимать в расчет при изменении кодексов. Делинквентность — месть тюрьмы правосудию. Реванш настолько страшный, что лишает су-

дью дара речи. В этот момент возвышают свой голос криминологи.

Но не надо забывать, что тюрьма, этот сжатый и суровый образ всех дисциплин, не была рождена самой уголовно-правовой системой, сложившейся на рубеже XVIII–XIX веков. Тема наказывающего общества и общей семиотической техники наказания, скреплявшая «идеологические» – беккариевские или бентамовские – кодексы, как таковая не приводила к универсальному применению тюрьмы. Тюрьма произошла из другого – из механизмов, присущих дисциплинарной власти. Однако, несмотря на эту гетерогенность, механизмы и следствия тюрьмы распространились буквально по всему современному уголовному правосудию; делинквенты и делинквентность стали паразитировать на нем повсеместно. Необходимо доискаться причины этой опасной «эффективности» тюрьмы. Но одно можно отметить сразу: уголовное правосудие, сформированное реформаторами в XVIII веке, наметило две возможные, но расходящиеся линии объективации преступника: либо как «чудовища», морального или политического, выпавшего из общественного договора, либо как юридического субъекта, реабилитированного посредством наказания. И вот, «делинквент» позволяет соединить две эти линии и создать – опираясь на авторитет медицины, психологии или криминологии – индивида, в котором накладываются (или почти накладываются) друг на друга нарушитель закона и объект научного метода. То, что прививка тюрьмы уголовно-правовой системе не вызвала бурной реакции отторжения, объясняется, несомненно, многими причинами. Одна из них состоит в

том, что, производя делинквентность, тюрьма дала уголовному правосудию единое поле объектов, удостоверенное «науками», и тем самым позволила ему функционировать в общем горизонте «истины».

Тюрьма, эта самая темная область машины правосудия, есть место, где власть наказывать, более не рискующая проявляться открыто, молчаливо создает поле объективности, где наказание может открыто функционировать как терапия, а приговор вписывается в дискурсы знания. Понятно, почему правосудие с такой готовностью признало тюрьму, которая не была плодом его собственных мыслей. Правосудие просто вернуло тюрьме долг.

Глава 2

Противозаконности и делинквентность

С точки зрения закона заключение вполне может быть только лишением свободы. Но исполняющее эту функцию содержание в тюрьме всегда предполагало некий технический проект. Переход от публичной казни с ее впечатляющими ритуалами, с ее искусством, неотрывным от церемонии причинения боли, к тюремному наказанию, сокрытому за мощными стенами архитектурных сооружений и охраняемому административной тайной, не является переходом к недифференцированному, абстрактному и неясному наказанию; это переход от одного искусства наказывать к другому, не менее тонкому. Техническая мутация. Некий симптом и символ его – замена в 1837 г. цепочки каторжников тюремным фургоном.

Караваны скованных общей цепью каторжников – традиция, восходящая к эпохе галерных рабов, – сохранялись еще при Июльской монархии. Значительность цепи

каторжников как зрелища, восходящая к началу XIX века, связана, возможно, с тем обстоятельством, что здесь в одном проявлении объединялись два вида наказания: сам путь к месту заключения развертывался как церемониал пытки[1]. Рассказы о «последних цепях» – тех, что бороздили Францию летом 1836 г., – и связанных с ними скандальных происшествиях позволяют нам воссоздать сие действо, столь чуждое правилам «пенитенциарной науки». Оно начиналось с ритуала, исполняемого на эшафоте: с заковывания в железные ошейники и цепи во дворе тюрьмы Бисетр. Каторжника укладывали затылком на наковальню, словно на плаху; но на этот раз мастерство палача заключалось в том, чтобы нанести удар, не размозжив голову, – мастерство, противоположное обычному: умение ударить, не убив. «В большом дворе тюрьмы Бисетр выставлены орудия пытки: несколько рядов цепей с ошейниками. *Artoupans* (начальники стражи), ставшие на время кузнецами, приготавливают наковальню и молот. К решетке стены вокруг прогулочного двора прижались угрюмые или дерзкие лица тех, кого сейчас будут заковывать. Выше, на всех этажах тюрьмы, виднеются ноги и руки, которые свешиваются сквозь решетки камер, словно на базаре, где торгуют человеческой плотью: это заключенные, которые хотят присутствовать при "одевании" вчерашних сокамерников... Вот и последние, само воплощение жертвенности. Они сидят на земле парами, подобранными случайно, по росту. Цепи, которые им предстоит нести, весом 8 фунтов каждая, тяжелым грузом лежат у них на коленях. Палач производит смотр, обмеривает головы и надевает на них массивные ошейники толщиной в

[1] Фоше заметил, что цепь каторжников была популярным зрелищем, «особенно с тех пор, как почти совсем отменили эшафоты».

дюйм. В заклепке участвуют три палача: один держит наковальню, другой соединяет две части железного ошейника и, вытянув руки, оберегает голову жертвы, а третий в несколько ударов молота расплющивает болт. При каждом ударе голова и тело вздрагивают... Правда, никто не думает об опасности, грозящей жертве, если молот скользнет в сторону. Мысль об этом сводится на нет или, скорее, заслоняется глубоким ужасом, внушаемым созерцанием твари Божьей в столь униженном состоянии»[2]. Это действо имеет также смысл публичного зрелища. Согласно «Gazette des tribunaux», свыше 100 000 человек наблюдали 19 июля уход цепи из Парижа. Порядок и богатство пришли поглазеть на проходящее вдалеке огромное племя кочевников, закованное в цепи, на другой род, на «чуждую расу, привилегированное население каторг и тюрем»[3]. Зеваки-простолюдины, словно во времена публичных казней, предаются двусмысленному общению с осужденными, обмениваясь с ними оскорблениями, угрозами, словами одобрения, пинками, знаками ненависти или солидарности. Возникающее неистовство сопровождает процессию на всем ее прохождении: гнев против слишком строгого или слишком снисходительного правосудия, возгласы против ненавистных преступников, жесты сочувствия узникам, которых узнают и приветствуют, столкновения с полицией: «На всем пути от заставы Фонтенбло группы одержимых испускали негодующие вопли против Делаколонжа: "Долой аббата, – возглашали они, – долой мерзавца! Пусть получит по заслугам". Если бы не энергия и твердость городской гвардии, быть бы серьезным беспорядкам. На Вожираре больше всего буше-

[2] *Revue de Paris*, 7 juin 1836. Эта часть зрелища в 1836 г. уже не была публичной; увидеть ее могли лишь немногие привилегированные зрители. Отчет о заковывании в *Revue de Paris* в точности совпадает – вплоть даже до употреблемых слов – с рассказом в *Dernier jour d'un condamné*, 1829.

[3] *Gazette des tribunaux*, 20 juillet 1836.

вали женщины. Они кричали: "Долой дурного священника! Долой монстра Делаколонжа!" Комиссары полиции Монружа и Вожирара и несколько мэров с помощниками в развевающихся шарфах примчались, чтобы обеспечить выполнение приговора. На подходах к Исси Франсуа, завидев господина Алара и его полицейских, швырнул в них деревянную миску. Тут вспомнили, что семьи некоторых прежних товарищей этого осужденного живут в Иври. Тогда полицейские инспектора рассредоточились вдоль всей цепи и плотно обступили телегу каторжников. Заключенные из Парижа стали бросать миски в головы полицейским, и кое-кто попал в цель. В этот момент по толпе пробежало сильное волнение. Началась драка»[4]. По пути цепи от Бисетра до Севра многие дома были разграблены[5].

В этом празднестве отбывающих заключенных есть отзвук обрядов, связанных с «козлом отпущения», которого прогоняют и колотят, есть нечто от праздника дураков, где все меняются ролями, нечто от старых эшафотных церемоний, где истина должна воссиять при ярком свете дня, и нечто от тех народных зрелищ, в которых фигурируют знаменитые персонажи и традиционные типы: игра истины и бесчестья, парад славы и унижения, брань в адрес разоблаченных преступников, а с другой стороны — радостное признание в преступлениях. Стараются узнать лица преступников, снискавших славу. Раздаются листки с описанием преступлений, совершенных проходящими каторжниками. Газеты заранее сообщают их имена и подробно повествуют об их жизни, иногда указывают приметы преступников и описывают их платье, чтобы они не

[4] *Ibid.*
[5] *La Phalange*, 1er août 1836.

остались неузнанными: это своего рода театральные программки[6]. Бывает, люди приходят для того, чтобы изучить различные типы преступников, пытаются определить по одежде или лицу «специальность» осужденного, узнать, убийца он или вор: идет игра в маскарад и куклы, которая является также, для более образованного взгляда, своего рода эмпирической этнографией преступления. От зрелищ на подмостках до френологии Галля: люди, принадлежащие к разным слоям общества, практически осваивают семиотику преступления: «Физиономии столь же разнообразны, сколь и одежда: тут величественный лик, тип Мурильо*, там – порочное лицо, окаймленное густыми бровями, которые передают всю энергию законченного злодея... Вот голова араба выдается на мальчишеском теле. Вот мягкие, женственные черты – это сообщники. Вот лоснящиеся и развратные лица – это учителя»[7]. На игру откликаются сами осужденные, выставляя напоказ свои преступления и злодеяния. Такова одна из функций татуировки, повествующей об их делах или судьбе: «Они сообщают нечто посредством знаков на теле: это либо изображение гильотины на левой руке, либо татуированный на груди кинжал, пронзивший окровавленное сердце». Проходя, они жестами изображают совершенные ими преступления, насмехаются над судьями и полицией, хвастаются нераскрытыми злодеяниями. Франсуа (бывший сообщник Лансенера) рассказывает, что придумал способ убить человека без малейшего вскрика и капли крови. У грандиозной бродячей ярмарки преступлений есть свои фигляры и маски: комическое утверждение истины является ответом на любопытство и брань. Тем летом 1836 г.

[6] *Gazette des tribunaux* регулярно публиковала эти списки и «криминальные» заметки. По следующим приметам люди должны были узнать Делаколонжа: «Старые драповые штаны поверх сапог, фуражка той же материи с козырьком и серая блуза... синее драповое пальто» (6 juin 1836). Позднее было решено переодеть Делаколонжа, чтобы уберечь от бесчинств толпы. *Gazette des tribunaux* тотчас сообщает о новой одежде: «Полосатые штаны, синяя холщовая блуза, соломенная шляпа» (20 juillet).

[7] *Revue de Paris*, juin 1836. См. у Клода Ге (Gueux): «Ощупайте все эти черепа: каж-

разыгрывались сцены, связанные с Делаколонжем: он разрезал на куски беременную любовницу, и его преступление произвело огромное впечатление, поскольку он был священником. Тот же сан спас его от эшафота. Кажется, он возбудил сильную ненависть в народе. Еще раньше, в июне 1836 г., когда его везли в телеге в Париж, он подвергался оскорблениям и не мог сдержать слез. Однако он отказался от закрытого фургона, поскольку считал, что унижение — часть наказания. При выезде из Парижа «толпа зашлась в добродетельном негодовании и моральном гневе, обнаружив всю свою неслыханную низость. Его закидали землей и грязью. Разъяренная публика осыпала его градом камней и ругательств... Это был взрыв небывалого бешенства. Особенно женщины, сущие фурии, выказывали неимоверную ненависть»[8]. Чтобы защитить от толпы, его переодели. Некоторые зрители ошибочно приняли за него Франсуа. Тот поддержал игру и вошел в роль. Он изображал не только преступление, коего не совершал, но и священника, коим никогда не был. К рассказу о «своем» преступлении он приплетал молитвы и широким жестом благословлял глумящуюся толпу. В нескольких шагах от него настоящий Делаколонж, «казавшийся мучеником», переживал двойной позор. Он выслушивал оскорбления, бросаемые не ему, но адресуемые ему, и насмешки, которые в лице другого преступника воскрешали священника, коим он был, но хотел бы это скрыть. Страсть его разыгрывалась перед ним фигляром-убийцей, с которым он был связан одной цепью.

Цепь приносила праздник во все города, где она проходила. Это была вакханалия наказания, наказание, пре-

дый из сих падших повторяет какой-то животный тип.. Вот рысь, вот кот, вот обезьяна, вот гриф, вот гиена...».

[8] *La Phalange*, 1er août 1836.

вращенное в привилегию. И в согласии с весьма любопытной традицией, которая, кажется, не была нарушена обычными ритуалами публичной казни, наказание вызывало у осужденных не столько обязательные признаки раскаяния, сколько взрыв безумной радости, отрицавшей наказание. К украшению из ошейника и цепи каторжники сами добавляли ленты, плетеную солому, цветы или дорогое белье. Караван каторжников – хоровод и пляска; но также совокупление, вынужденный брак, когда любовь запрещена. Свадьба, праздник и ритуал в цепях. «Волоча за собой цепи, они бегут с букетами в руках, с лентами и соломенными кисточками на колпаках, самые искусные – в шлемах с гребнем... Другие надели сабо и ажурные чулки или модные жилеты под рабочую блузу»[9]. Вечер напролет после заковывания в кандалы «цепь» безостановочно кружилась во дворе тюрьмы Бисетр в огромном хороводе: «Плохо приходилось охранникам, если каторжники их узнавали: их окружали и втягивали в кольца. Заключенные оставались хозяевами поля битвы до наступления темноты»[10]. Своими пышными празднествами шабаш осужденных вторил церемониалу правосудия. Он был противоположен великолепию, порядку власти и ее признакам, формам наслаждения. Но в нем слышался отзвук политического шабаша. Только глухой не различил бы этих новых интонаций. Каторжники распевали походные песни, быстро становившиеся знаменитыми и повторявшиеся повсюду еще долгое время спустя. В них явственно звучало эхо жалобных причитаний, которые в листках приписывались преступникам, – подтверждение преступления, зловещее превращение преступников в героев, напоминание

[9] *Revue de Paris*, 7 juin 1836. Согласно *Gazette des tribunaux*, капитан Торез, командовавший цепью 19 июля, захотел снять эти украшения: «Не годится, отправляясь на каторгу для искупления своих преступлений, доходить до такого бесстыдства, чтобы украшать волосы, словно на собственную свадьбу».

[10] *Revue de Paris*, 7 juin 1836. К тому времени цепь была укорочена, что должно было воспрепятствовать вождению хоровода, и солдатам поручили поддерживать порядок

об ужасных наказаниях и окружающей преступников всеобщей ненависти: «Пусть славу нашу возглашают трубы... Мужайтесь, ребята, бесстрашно подчинимся нависшей над ними ужасной судьбе... Кандалы тяжелы, но мы выдержим. Ни один голос не поднимется в защиту осужденных и не скажет: избавим их от страданий». И все же в этих коллективных песнях была совершенно новая тональность. Моральный кодекс, выражаемый в большинстве старинных жалобных песен, был совсем иной. Теперь пытка обостряет гордость, вместо того чтобы вызывать раскаяние. Вынесшее приговор правосудие отвергается. Толпа, пришедшая увидеть ожидаемое ею раскаяние или позор, подвергается хуле: «Вдали от семейного очага мы порой стонем. Но нет страха на челе. Наши хмурые лица да заставят побледнеть судей... Жадные до несчастья, ваши взгляды ищут среди нас клейменых, плачущих и униженных. Но наши глаза сияют гордостью». В этих песнях можно найти и утверждение, что в каторжной жизни с ее товариществом и дружбой есть радости, неведомые на свободе. «Со временем придут радости. За засовами настанут дни веселья... Радости – перебежчицы: они сбегут от палачей и последуют туда, куда манят песни». А главное, нынешний порядок не вечен. Осужденные освободятся и обретут свои права, больше того: обвинители займут их место. Близок судный день, когда преступники станут судить своих судей. «Презрение людей обращено на нас, осужденных. Золото, которому они поклоняются, тоже наше. Однажды оно перейдет в наши руки. Мы купим его ценой жизни. Другие оденут цепи, которые вы заставляете нас влачить; они станут рабами. Мы разорвем путы, и

до ее отхода. Шабаш каторжников описывается в *Dernier Jour d'un condamné*: «В присутствии общества в лице тюремщиков и обуянных ужасом зевак преступление смеялось над ужасным наказанием и превращало его в семейный праздник».

воссияет звезда свободы. Прощайте, нам не страшны ни ваши цепи, ни ваши законы»[11]. Изображаемый газетенками благочестивый театр, где осужденный заклинал толпу никогда не следовать его примеру, становится угрожающей сценой, где толпу призывают сделать выбор между жестокостью палачей, несправедливостью судей и несчастьем осужденных, которые сегодня повержены, но однажды восторжествуют.

Грандиозное зрелище кандальной цепи было связано с древней традицией публичных казней, а также с многочисленными представлениями преступления, устраиваемыми газетами и газетенками, ярмарочными зазывалами и бульварными театрами[12]. Но оно было связано и с борьбой и сражениями, первый гул которых оно доносило. Оно давало своего рода символическую развязку: побежденная законом, армия беспорядка обещает вернуться. То, что было выдворено грубой силой порядка, опрокинет порядок и принесет свободу. «Я ужаснулся, увидев, сколько искр сверкает в этих углях»[13]. Ажиотаж, всегда сопровождавший публичные казни, теперь повторяется в «адресных» угрозах. Понятно, что Июльская монархия решила отменить кандальные шествия по тем же — но еще более веским — причинам, что вызвали в XVIII веке отмену публичных казней: «Наша мораль не допускает такого обращения с людьми. Не следует давать в городах, где проходит колонна каторжников, столь отвратительное представление, которое, во всяком случае, ничему не учит население»[14]. Итак, необходимо порвать с публичными ритуалами, подвергнуть передвижения осужденных тому же изменению, что претерпели и сами наказания,

[11] Песня в том же жанре цитируется в *Gazette des tribunaux*, 10 avril 1836. Она исполнялась на мотив «Марсельезы». Патриотическая военная песня явно становится песней социальной борьбы: «Чего хотят от нас эти глупцы, не хотят ли они оскорбить нас в нашем несчастье? Они глядят спокойно. Наши палачи их не ужасают».

[12] Некоторые писатели «стремятся восславить преступления ряда исключительно ловких злодеев, дают им главные роли и делают представителей власти мишенью их выходок, колкостей и плохо скрытых насмешек. Всякий, бывший на представлении

скрыть и их под покровом административной стыдливости.

Однако в июне 1837 г. караван каторжников заменили не простой крытой повозкой, о которой одно время подумывали, а детально разработанной машиной. Фургоном, представляющим собой тюрьму на колесах. Передвижным эквивалентом паноптикона. Центральный коридор разделяет фургон по всей длине. С каждой стороны коридора имеется шесть камер, где заключенные сидят лицом к коридору. Их ступни помещаются в кольца с шерстяной подкладкой, соединенные между собой цепями толщиной 18 дюймов. Ноги зажаты в металлические наколенники. Осужденный сидит на «своего рода трубе из цинка и дубового дерева, которая опорожняется прямо на дорогу». В камере нет ни одного окна наружу, вся она обшита листовым железом. Только форточка, представляющая собой просверленную в железе дыру, пропускает «достаточное количество воздуха». В выходящей в коридор двери каждой камеры проделано окошечко из двух половинок: одна служит для передачи пищи, а другая — зарешеченная — для надзора. «Окошечки открываются и расположены под наклоном, что позволяет надзирателям непрестанно видеть заключенных и слышать малейшее их слово, тогда как сами заключенные не могут ни видеть, ни слышать друг друга». Таким образом, «в одном и том же фургоне можно без всякого неудобства везти каторжника и простого подследственного, мужчин и женщин, детей и взрослых. Сколько бы ни длился путь, все будут доставлены к месту назначения, не увидев друг друга и не обменявшись ни словом». Наконец, постоянный надзор, осуществляемый двумя

"Трактира Адрэ" или "Роберта Маккэра", знаменитой в народе драмы, легко признаст справедливость моих наблюдений. Это триумф, апофеоз дерзости и преступления. С начала до конца здесь высмеиваются честный люд и блюстители порядка» (H. A. Fregier, *Les Classes dangereuses*, 1840, II, p. 187–188).

[13] *Le Dernier Jour d'un condamné.*

[14] *Gazette des tribunaux*, 19 juillet 1836.

охранниками, которые вооружены дубинками «с толстыми притупленными гвоздями», позволяет применять систему наказаний в соответствии с внутренним распорядком фургона: один хлеб и вода, наручники, отсутствие подушки для сна, цепи на обеих руках. «Любое чтение, кроме нравоучительных книг, запрещено».

Уже одной своей мягкостью и быстротой эта машина «сделала бы честь доброте своего изобретателя». Но ее достоинство состоит в том, что она — настоящий тюремный фургон. В ее внешнем воздействии — поистине бентамовское совершенство: «В быстрой езде этой тюрьмы на колесах — на глухих и темных боках коей различима только одна надпись: "Перевозка каторжников", — есть нечто загадочное и мрачное (чего и требовал Бентам от исполнения уголовных приговоров), оставляющее в сознании зрителей более благотворное и длительное впечатление, чем вид этих циничных и веселых пассажиров»[15]. Но производится и внутреннее воздействие: даже если путешествие продолжается всего несколько дней (и узников ни на миг не отвязывают), фургон действует как исправительная машина. Заключенный выходит из него удивительно послушным: «В моральном отношении эта перевозка, занимающая не более трех суток, — ужасная пытка, и ее воздействие на заключенного, видимо, сохраняется еще долго». Так считают и сами заключенные: «В тюремном фургоне, если не спишь, остается только думать. Думая, я начинаю сожалеть о содеянном. Понимаете, в конце концов я начинаю бояться, что исправлюсь»[16].

Скудна история тюремного фургона. Но то, каким образом он заменил цепь каторжников, и причины этой за-

[15] *Gazette des tribunaux*, 15 juin 1837.

[16] *Gazette des tribunaux*, 23 juillet 1837. 9 августа газета сообщает, что один фургон перевернулся в окрестностях Гингампа: вместо того чтобы взбунтоваться, заключенные «помогли охранникам поставить на колеса их общее средство передвижения». Однако 30 октября та же газета сообщает о побеге в Валансе.

мены резюмируют процесс, в ходе которого в течение восьмидесяти лет тюремное заключение – как продуманный метод изменения индивидов – сменило публичные казни. Тюремный фургон есть машина реформы. Публичную казнь заменили не массивные стены, а тщательно координированный дисциплинарный механизм, по крайней мере в принципе.

* * *

Ведь тюрьму в ее реальности и очевидных следствиях сразу объявили великой неудачей уголовного правосудия. Весьма странным образом история заключения не позволяет говорить о хронологии, в которой чинно следовали бы друг за другом введение тюремного заключения, затем признание провала этой формы наказания; далее медленное развитие проектов реформы, которые должны были бы привести к более или менее связному определению пенитенциарной техники; затем практическая реализация этого проекта; наконец, констатация его успеха или неудачи. На самом деле имело место столкновение или, по крайней мере иное распределение этих элементов. И точно так же как проект исправительной техники следовал за принципом карательного заключения, критика тюрьмы и ее методов началась очень рано, в те же 1820–1845 гг.; да и выражалась она в ряде формулировок, которые – если не считать цифр – почти без изменений повторяются по сей день.

– Тюрьмы не снижают уровень преступности. Тюрьмы можно расширить, преобразовать, увеличить их коли-

чество, но число преступлений и преступников остается стабильным или, хуже того, возрастает: «Во Франции насчитывается примерно 108 000 индивидов, находящихся в состоянии чудовищной враждебности к обществу. Имеются следующие меры их подавления: эшафот, ошейник, 3 каторги, 19 центральных тюрем, 86 домов правосудия*, 362 арестантских дома, 2800 кантональных тюрем, 2238 камер предварительного заключения в жандармских участках. Несмотря на все это, порок не знает удержу. Число преступлений не снижается... а число рецидивистов скорее возрастает, чем сокращается»[17].

— Тюремное заключение порождает рецидивизм. У освободившихся из тюрьмы гораздо больше шансов туда вернуться, чем у тех, кто не сидел. Подавляющее большинство осужденных — бывшие заключенные. 38% освободившихся из центральных тюрем были осуждены вновь, а 33% из них отправлены на каторгу[18]. В 1828—1834 гг. из почти 35 000 осужденных за преступления около 7400 были рецидивистами (т. е. один рецидивист на 4,7 осужденных), более чем из 200 000 мелких преступников свыше 35 000 тоже были рецидивистами (один из 6), итого в среднем — один рецидивист на 5,8 осужденных[19]. В 1831 г. из 2174 осужденных за повторные преступления 350 побывали на каторге, 1682 — в центральных тюрьмах, а 142 — в исправительных домах с тем же режимом, что и в центральных тюрьмах[20]. И диагноз стал еще более неблагоприятным во время Июльской монархии: в 1835 г. насчитывается 1486 рецидивистов из 7223 осужденных по уголовным делам. В 1839 г. — 1749 из 7858, в 1844 г. — 1821 из 7195. Из 980 заключенных в Лоосе** 570 были рецидиви-

[17] *La Fraternité*, № 10, février 1842.

[18] Цифра, указанная Г. де Ларошфуко в ходе дискуссии о реформе уголовного кодекса 2 декабря 1831 г., *Archives parlementaires*, t. LXXII, p. 209—210.

[19] E. Ducpétiaux, *De la réforme pénitentiaire*, 1837, t. III, p. 276 ff.

[20] *Ibid.*

стами, а в Мелене – 745 из 1 088[21]. Значит, вместо того чтобы выпускать на свободу исправленных индивидов, тюрьма распространяет в населении опасных делинквентов: «7 000 человек возвращаются ежегодно в общество... Это 7 000 первопричин преступлений и разложения, распространяемых по всему общественному телу. А как подумаешь, что все это население постоянно возрастает, что оно живет и бурлит вокруг нас, готово ухватиться за любой повод к беспорядку и воспользоваться малейшим кризисом в обществе, чтобы испытать свои силы, – можно ли оставаться безучастным к такому зрелищу?»[22]

– Тюрьма не может не производить делинквентов. Она делает это посредством самого образа жизни, который навязывает заключенным: сидят ли они в одиночных камерах или выполняют бесполезную работу (требующую навыков, которым впоследствии не найдется применения), – в любом случае здесь не «думают о человеке в обществе, создают противоестественную, бесполезную и опасную жизнь». Тюрьма должна воспитывать заключенных, но разумно ли, чтобы система воспитания, обращенная к человеку, действовала против намерений природы?[23] Тюрьма производит делинквентов также потому, что грубо принуждает узников. Предполагается, что тюрьма исполняет законы и учит уважать их, но вся ее деятельность протекает в форме злоупотребления властью. Произвол администрации: «Чувство несправедливости, переживаемое заключенным, – одна из причин, способных сделать его характер неукротимым. Поняв, что испытывает страдания, не предписанные и даже не предусмотренные законом, он безнадежно озлобляется против всего окружаю-

[21] G. Ferrus, *Des prisonniers*, 1850, p. 363–367.

[22] E. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Note sur le système pénitentiaire*, 1831, p. 22–23.

[23] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. I, 1836, p. 127, 130.

щего. В любом представителе власти он видит лишь палача. Он уже не думает, что виновен: он обвиняет правосудие»[24]. Разложение, страх и некомпетентность охранников: «От 1 000 до 1 500 заключенных живут под надзором 30–40 надзирателей, которые могут сохранить какую-то безопасность, лишь опираясь на доносчиков, т. е. на испорченность, которую они сами же заботливо сеют. Кто они, эти охранники? Отставные солдаты, люди, которым не объяснили, как надлежит исполнять порученную им задачу, которые считают охрану злодеев своим ремеслом»[25]. Эксплуатация посредством принудительного труда, который в этих условиях не может носить воспитательного характера: «Выступают против работорговли. А разве наши заключенные не продаются предпринимателями, словно негры, и не покупаются производителями... Так-то мы преподаем заключенным уроки порядочности? Не развращают ли их еще больше эти примеры отвратительной эксплуатации?»[26]

– Тюрьма делает возможной и даже поощряет организацию среды делинквентов, солидарных друг с другом, признающих определенную иерархию и готовых к сообщничеству в любом будущем преступлении: «Общество запрещает объединения, насчитывающие свыше 20 человек... а само образует союзы из 200, 500, 1 200 заключенных в центральных тюрьмах, которые оно возводит ad hoc* и для пущего удобства подразделяет на мастерские, внутренние дворы, спальни, общие столовые... Общество умножает число тюрем по всей Франции, и таким образом, где есть тюрьма, там есть объединение заключенных... а значит, антиобщественный клуб»[27]. И в этих «клу-

[24] F. Bigot Préameneu, *Rapport au conseil général de la société des prisons*, 1819.

[25] *La Fraternité*, mars 1842.

[26] Письмо в *L'Atelier* (octobre 1842, 3e année, № 3) рабочего, угодившего в тюрьму за вступление в профсоюз. Он смог заявить о своем протесте в то время, когда эта газета вела кампанию против конкуренции, создаваемой трудом заключенных. Здесь же помещено письмо другого рабочего на ту же тему. См. также: *La Fraternité*, mars 1842, 1re année, № 10.

[27] L. Moreau-Christophe, *De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire*,

бах» получает воспитание впервые осужденный молодой правонарушитель: «Первое желание, которое у него возникнет, — научиться у ловких старших умению ускользать от строгости закона. Первый урок он извлечет из жестокой логики воров, считающих общество врагом. Его моралью станут наушничество и шпионаж, столь почитаемые в наших тюрьмах. Его первой страстью будет напугать юную натуру мерзостями, которые рождаются в темнице и не поддаются описанию... Отныне он порывает со всем, что связывало его с обществом»[28]. Фоше говорил о «казармах преступления».

— Условия, в которых оказываются освободившиеся узники, обрекают их на повторение преступления: они находятся под надзором полиции, им предписывают место жительства и запрещают проживание в определенных местах, они «выходят из тюрьмы с паспортом, который должны предъявлять повсюду и где фиксируется вынесенный им приговор»[29]. Неприкаянность, невозможность найти работу и бродяжничество — наиболее частые факторы, приводящие к рецидиву. «Gazette des tribunaux», как и рабочие газеты, регулярно сообщает о случаях повторных преступлений. Так, одного рабочего, осужденного за воровство и находящегося под надзором в Руане, снова поймали на краже, причем адвокаты отказались его защищать. Поэтому он решил выступить в суде сам, рассказал историю своей жизни, объяснил, что, выйдя из тюрьмы и будучи вынужден жить в строго определенном месте, он не смог вернуться к ремеслу золотильщика, поскольку его гнали отовсюду как бывшего заключенного. Полиция отказала ему в праве искать работу в других ме-

1839, p. 7.

[28] *L'Almanach populaire de la France*, 1839, p. 49–56 (подпись: D.).

[29] F. de Barbé Marbois, *Rapport sur l'état des prisons du Calvados, de l'Eure, La Manche et la Seine-Inférieure*, 1823, p. 17.

стностях. Он оказался прикованным к Руану и умирал от голода и нищеты из-за этого ужасного надзора. Тогда он пришел в мэрию и попросил, чтобы ему нашли работу. Восемь дней он работал на кладбищах за 14 су в день. «Но, – сказал он, – я молод, у меня хороший аппетит, я съедаю больше двух фунтов хлеба в день, а один фунт стоит 5 су. Достаточно ли 14 су, чтобы питаться, стирать одежду и платить за жилье? Я впал в отчаянье. Я хотел снова стать честным человеком, но надзор сделал меня несчастным. Я почувствовал отвращение ко всему. Тут я познакомился с Лемэтром, который тоже нищенствовал. Надо было жить, и к нам вернулись дурные мысли о воровстве»[30].

– Наконец, тюрьма косвенно производит делинквентов, ввергая в нищету семью заключенного: «Тот самый приговор, что отправил главу семейства в тюрьму ежедневно обрекает мать на лишения, детей – на заброшенность, всю семью – на бродяжничество и попрошайничество. Именно поэтому преступление может иметь продолжение»[31].

Надо заметить, что эта монотонная критика тюрьмы всегда принимала одно из двух направлений: говорили, что тюрьма недостаточно исправляет или что пенитенциарная техника пока пребывает в зачаточном состоянии. И еще: что, стремясь быть исправительной, тюрьма утрачивает свою силу как наказание[32], что истинная пенитенциарная техника – строгость[33], что тюрьма есть двойная экономическая ошибка: непосредственная – по причине собственной внутренней стоимости и косвенная – по причине стоимости делинквентности, которую

[30] *Gazette des tribunaux*, 3 déc. 1829. См. на ту же тему: *Gazette des tribunaux*, 19 juillet 1839; *La Ruche populaire*, août 1840; *La Fraternité*, juillet–août 1847.

[31] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 64.

[32] Эта кампания была очень оживленной до и после принятия нового распорядка для центральных тюрем в 1839 г. Строгие правила (тишина, запрещение вина и табака, сокращение пайка) вызвали бунты. 3 октября 1840 г. *Le Moniteur* пишет: «Отвратительно смотреть на то, как заключенные накачиваются вином, набивают желудок мясом, дичью, всевозможными лакомствами и рассматривают тюрьму как удобную гостиницу,

она не пресекает[34]. Ответ на эти критические замечания был всегда одинаков: повторение неизменных принципов пенитенциарной техники. В течение полутора веков тюрьме всегда предлагали в качестве лекарства саму же тюрьму: возобновление пенитенциарных техник как единственное средство преодоления их вечной неудачи; осуществление исправительного проекта как единственный способ преодоления невозможности его осуществления.

В этом убеждает следующий факт: бунты заключенных, произошедшие в последние недели, объяснили тем, что реформы, предложенные в 1945 г., так и не дали реальных результатов. Поэтому мы должны вернуться к фундаментальным принципам тюрьмы. Но эти принципы, от которых сегодня все еще ожидают чудесных результатов, прекрасно известны: в течение последних 150 лет они составляют семь универсальных максим хорошего «пенитенциарного состояния».

1. Существенно важной функцией тюремного заключения является преобразование поведения индивида: «Исправление осужденного как главная цель наказания — священный принцип, формальное введение которого в область науки и прежде всего в область законодательства происходит в последнее время» («Congrès pénitentiaire de Bruxelles», 1847). В мае 1945 г. тот же тезис точно повторяет комиссия Амора: «Наказание путем лишения свободы имеет своей главной целью изменение и социальную реабилитацию индивида». Принцип исправления.

2. Заключенные должны быть изолированы или по крайней мере распределены с учетом правовой тяжести

где они могут пользоваться всеми благами, коих часто не имели на свободе».

[33] В 1826 г. многие генеральные советы требовали замены жестко фиксированного и неэффективного заключения высылкой. В 1842 г. генеральный совет департамента Приморские Альпы потребовал, чтобы тюрьмы стали «подлинно искупительными»; требования в том же духе выдвигали генеральные советы департаментов Дром, Ер и Луары, Ньевра, роны и Сены и Уазы.

[34] Вот данные опроса, проведенного среди директоров центральных тюрем в 1839 г. Директор тюрьмы Амбрэна: «Чрезмерный комфорт в тюрьмах, вероятно, значи-

деяния, но главное — возраста, наклонностей, применяемых методов исправления и стадий перевоспитания. «При использовании средств изменения индивидов должны учитываться серьезные физические и моральные различия между осужденными, степень их испорченности, неравные шансы на исправление» (февраль 1850 г.). И в 1945 г.: «Распределение в пенитенциарных учреждениях индивидов, приговоренных к небольшому сроку тюремного заключения (менее одного года), производится в соответствии с полом, личностью и степенью испорченности делинквента». Принцип классификации.

3. Должно быть возможным изменение наказания в зависимости от индивидуальности заключенных, достигнутых результатов, продвижения вперед или срывов. «Поскольку основная цель наказания — преобразование преступника, желательно, чтобы имелась возможность освободить любого осужденного, чье моральное перерождение достаточно удостоверено» (Ch. Lucas, 1836 г.). И в 1945 г.: «Применяется прогрессивный режим... согласования обращения с заключенным с его установками и степенью исправления. Этот режим варьируется от одиночного заключения до полусвободы... Условное освобождение возможно при всех наказаниях, предусматривающих срок тюремного заключения». Принцип модуляции наказаний.

4. Работа должна быть одним из основных элементов преобразования и постепенной социализации заключенных. Тюремный труд «должен расцениваться не как дополнение или некое утяжеление наказания, но как смягчение, которого заключенный уже не может лишиться».

тельно способствует страшному росту числа рецидивов». Директор тюрьмы в Эйс: «Нынешний режим недостаточно строг, и совершенно бесспорно, что многие заключенные находят в тюрьме свою прелесть, порочные наслаждения, приходящиеся им по вкусу». Директор тюрьмы Лиможа: «Нынешний режим центральных тюрем, в сущности настоящих пансионатов для рецидивистов, далеко не репрессивен» (см.: L. Moreau-Christophe, *Polémiques pénitentiaires*, 1840, p. 86). Можно сравнить эти замечания с заявлениями руководителей синдикатов тюремной администрации в июле 1974 г. относительно последствий либерализации в тюрьмах.

Он должен обучиться ремеслу, чтобы обеспечить себе и своей семье источник дохода (Ducpétiaux, 1857). 1945 г.: «Любой осужденный по нормам общего права обязан работать... Ни один заключенный не должен оставаться незанятым». Принцип работы как обязанности и права.

5. Воспитание заключенного с точки зрения государственной власти есть необходимая предосторожность в интересах общества и обязанность по отношению к заключенному. «Только воспитание может служить пенитенциарным инструментом. Вопрос исправительного заключения есть вопрос воспитания» (Ch. Lucas, 1838). 1945 г.: «Исправительные меры по отношению к заключенному, избегая развращающей беспорядочности... должны быть направлены главным образом на общее и профессиональное обучение индивида и на его улучшение». Принцип пенитенциарного воспитания.

6. Тюремный режим должен, по крайней мере частично, контролироваться и руководиться специальным персоналом, который обладает моральными качествами и техническими возможностями, обеспечивающими правильное формирование индивидов. В 1850 г. Феррюс заметил по поводу тюремной медицины: «Она есть полезное дополнение для любых форм заключения... никто не располагает более полным доверием заключенных, нежели врач, никто не знает их характер лучше врача, никто не воздействует на их мысли и чувства более эффективно. В то же время врач облегчает их физические недуги и при этом выговаривает или подбадривает, исходя из собственного разумения». И в 1945 г.: «В любом пенитенциарном заведении обеспечивается социальное и медико-психоло-

гическое обслуживание». Принцип технического обеспечения заключения.

7. Заключение должно сопровождаться мерами контроля и содействия вплоть до полной реадаптации бывшего заключенного. Он должен не только находиться под надзором по освобождении из тюрьмы, но и «получать поддержку и помощь» (Буле и Бенко в Парижской палате депутатов). И в 1945 г.: «Содействие оказывается заключенным во время и после отбывания заключения с целью облегчения их социальной реабилитации». Принцип вспомогательных институтов.

Веками слово в слово повторяются одни и те же фундаментальные принципы. Всякий раз они выдают себя за наконец-то найденную, наконец-то признанную формулировку принципов реформы, которой прежде всегда недоставало. Те же самые (или почти те же самые) выражения можно почерпнуть из других «плодотворных» периодов реформы, таких, как конец XIX века, «движение за социальную защиту» или последние несколько лет, когда произошли бунты заключенных.

Итак, не следует понимать тюрьму, ее «провал» и более или менее успешную реформу как три последовательных этапа. Скорее, надо видеть в них синхронную систему, которая исторически накладывается на юридическое лишение свободы, систему, включающую в себя четыре элемента: дисциплинарное «дополнение» тюрьмы — элемент сверхвласти; производство некой объективности, техники, пенитенциарной «рациональности» — элемент вспомогательного знания; фактическое возобновление (если не усиление) преступности, которую тюрьма призвана

уничтожать, — элемент обратной эффективности; наконец, повторение «реформы», которая, несмотря на ее «идеальность», изоморфна с дисциплинарным функционированием тюрьмы, — элемент утопического удвоения. Именно это сложное целое образует «систему карцера», отличающуюся от простого института тюрьмы с ее стенами, персоналом, правилами и насилием. Карцерная система соединяет в одном образе дискурсы и архитектуры, принудительные правила и научные предложения, реальные социальные последствия и непобедимые утопии, программы исправления делинквентов и механизмы, укрепляющие делинквентность. Не является ли предполагаемый провал частью функционирования тюрьмы? Не следует ли включить его в число тех проявлений власти, которые дисциплина и дополняющая ее технология заключения ввели в аппарат правосудия и в общество в целом и которые можно объединить под названием «система карцера»? Если институт тюрьмы сохранялся столь долго и практически без изменений, если принцип уголовно-правового заключения никогда не вызывал серьезных вопросов, то это объясняется, несомненно, тем, что карцерная система пустила глубокие корни и выполняла четко определенные функции. Свидетельством его прочности является один недавний факт: образцовая тюрьма, открывшаяся в городке Флери-Мерожис в 1969 г., просто повторила в своем общем плане паноптическую звезду, привлекшую огромное внимание к тюрьме Петит-Рокет* в 1836 г. Все тот же старый механизм власти получил здесь реальное тело и символическую форму. Но какая роль ему отводилась?

* * *

Если считать, что назначение закона – классификация правонарушений, что функция карательной машины – их сокращение и что тюрьма есть инструмент подавления правонарушений, то приходится констатировать их поражение. Или, скорее: поскольку для того, чтобы установить факт поражения в исторических терминах, потребовалось бы измерить воздействие наказания в форме заключения на общий уровень преступности, вызывает удивление, что в течение последних 150 лет провозглашение провала тюрьмы неизменно сопровождалось ее сохранением. Единственной реальной альтернативой была депортация. Великобритания отказалась от нее в начале XIX века, а Франция возобновила эту практику во время Второй Империи, но ее рассматривали скорее как суровую форму заключения вдали от родины.

Но, может быть, следует взглянуть на проблему иначе и спросить себя, чему служит провал тюрьмы; почему полезны различные явления, которые постоянно критикуют, такие, как поддержание делинквентности, поощрение рецидивизма, преобразование случайного правонарушителя в устойчивого делинквента, формирование замкнутой среды делинквентности. Пожалуй, надо выяснить, что таится за явным цинизмом карательного института, который после «очищения» заключенных посредством наказания продолжает следовать за ними шлейфом «клейменый» (надзор, некогда существовавший юридически, а ныне – фактически; полицейское досье, сменившее прежние паспорта каторжников) и преследует как «делинквента» того,

кто уже оправдал себя, отбыв наказание как правонарушитель. Не следует ли видеть в этом скорее последовательность, чем противоречие? В таком случае приходится предположить, что тюрьма (и наказание вообще) имеет целью не устранение правонарушений, а скорее различение их, распределение и использование; что тюрьма и наказания не столько делают послушными тех, кто склонен нарушать закон, сколько стремятся вписать нарушение закона в общую тактику подчинения. Тогда уголовно-правовая система предстает как способ обращения с противозаконностями, установления пределов терпимости, открытия пути перед одними, оказания давления на других, исключения одной сферы, постановки на службу другой, нейтрализации одних индивидов и извлечения пользы из других. Короче говоря, система наказания не просто «подавляет» противозаконности, она «дифференцирует» их, она обеспечивает их общую «экономию». И если можно говорить о классовом правосудии, то не только потому, что сам закон и способ его применения служат интересам определенного класса, но и потому, что дифференцированное управление противозаконностями посредством системы наказания составляет часть механизмов господства. Наказания в соответствии с законом надо рассматривать в контексте глобальной стратегии противозаконностей. Это позволит понять «провал» тюрьмы.

Общая схема уголовно-правовой реформы обрела четкие очертания в конце XVIII века в борьбе с противозаконностями: все равновесие терпимости, взаимной поддержки и интересов, которое при старом режиме обеспечивало сосуществование противозаконностей различных

социальных слоев, было нарушено. Сформировалась утопия универсально и публично карательного общества, в котором непрерывно действующие механизмы наказания работали бы без промедления, посредничества или колебания, а один вдвойне идеальный закон – совершенный в своих расчетах и запечатленный в сознании каждого гражданина – в корне пресекал бы все противозаконные практики. И вот, на рубеже XVIII–XIX веков и наперекор новым кодексам появляется опасность новой народной противозаконности. Или, точнее, народные противозаконности начинают развиваться в соответствии с новыми измерениями, теми, что были введены движениями, которые с 1780-х годов до революций 1848 г. соединяли в себе социальные конфликты, борьбу против политических режимов, сопротивление наступлению индустриализации, последствия экономических кризисов. Вообще говоря, имели место три характерных процесса. Прежде всего, развитие политического измерения народных противозаконностей. Оно происходит двумя путями. Практики, ранее локализованные и в некотором смысле ограниченные собственными рамками (такие, как отказ платить налоги, ренту или нести воинскую повинность; насильственная конфискация припрятанного продовольствия; разграбление магазинов и принудительная продажа продуктов по «справедливой цене»; столкновения с представителями власти), во время Революции привели непосредственно к политической борьбе, цель которой – не просто заставить власть пойти на уступки, объявить недействительной какую-либо недопустимую меру, но смена правительства и самой структуры власти. Вместе с тем некоторые политические

движения открыто опирались на существующие формы противозаконности (например, роялистские волнения на западе и юге Франции воспользовались неприятием крестьянами новых законов о собственности, религии и воинской повинности); политическое измерение противозаконности становилось все более сложным и заметным в отношениях между рабочим движением и республиканскими партиями в XIX веке, на этапе перехода от рабочей борьбы (забастовок, запрещенных коалиций, незаконных объединений) к политической революции. Во всяком случае, на горизонте этих противозаконных практик (а их становилось все больше по мере нарастания ограничительного характера законодательства) вырисовывалась борьба чисто политического характера; возможное ниспровержение власти фигурировало далеко не во всех этих движениях; но многие из них могли изменить направление и влиться в общую политическую борьбу, а порой даже прямо привести к ней.

С другой стороны, в отвержении закона или других правил нетрудно распознать борьбу против тех, кто устанавливает их в собственных интересах: люди борются теперь не против откупщиков, финансистов, королевских наместников, недобросовестных чиновников или плохих министров – все они воплощают несправедливость, – а против самого закона и обеспечивающего его выполнение правосудия; против местных землевладельцев, вводящих новые права; против работодателей, действующих сообща, но запрещающих объединения рабочих; против предпринимателей, которые приобретают новые машины, снижают зарплату, увеличивают продолжительность рабо-

чего дня и делают заводские распорядки все более строгими. Именно против нового режима земельной собственности – установленного буржуазией, которая нажилась на Революции, – и была направлена вся крестьянская противозаконность. Несомненно, наиболее насильственные формы она принимала в период от Термидора до Консулата, но не исчезла и впоследствии. Именно против нового режима законной эксплуатации труда были направлены рабочие противозаконности в начале XIX века: от самых буйных (уничтожение машин) и продолжительных (создание объединений) до самых повседневных, таких, как невыходы на работу, самовольное прекращение работы, бродяжничество, кража сырья, обман, связанный с количеством и качеством готовых продуктов. Целый ряд противозаконностей вписывается в борьбу, участники которой понимают, что они противостоят как закону, так и навязывающему его классу.

Наконец, если на протяжении XVIII века[35] преступность имеет тенденцию к более специализированным формам, все больше и больше отождествляясь с «профессиональной» кражей и становясь до некоторой степени делом людей, находящихся на «краях» общества, стоящих особняком от враждебного к ним населения, – то в последние годы того же столетия наблюдается восстановление старых связей или установление новых отношений. И не потому, что (как говорили современники) вожди народных восстаний были преступниками, а потому, что новые формы права, строгие правила, требования государства, землевладельцев и работодателей и чрезвычайно детализированные методы надзора увеличивали количество

[35] См. выше, с. 107 и сл.

правонарушений и отбрасывали за пределы закона многих людей, которые в других обстоятельствах не обратились бы к специализированной преступности; именно на фоне новых законов о собственности, а также отказа нести тяжкую воинскую повинность в последние годы Революции развилась крестьянская противозаконность с последующим нарастанием насилия, актов агрессии, краж, грабежей и даже более крупных форм «политического разбоя». И именно на фоне законодательства или слишком строгих правил (связанных с расчетными книжками, платой за жилье, рабочим графиком и прогулами) развилось бродяжничество рабочих, очень часто выливавшееся в настоящую делинквентность. Целый ряд противозаконных практик, которые в предыдущем столетии существовали обособленно друг от друга, теперь, видимо, сходятся вместе и образуют новую угрозу.

На рубеже веков происходит троякое распространение народных противозаконностей (если оставить в стороне их количественный рост, который не очевиден и пока не подсчитан): внедрение их в общий политический горизонт; их явная связь с социальной борьбой; установление сообщения между различными формами и уровнями правонарушений. Эти процессы, пожалуй, не достигли полного развития; конечно, в начале XIX века еще не сформировалась массовая противозаконность, одновременно политическая и социальная. Но, несмотря на их зачаточную форму и рассредоточенность, эти процессы были достаточно заметны и послужили причиной великого страха перед плебсом (в целом считавшимся преступным и мятежным), причиной мифа о варварском, аморальном

и беззаконном классе, мифа, который от Империи до Июльской монархии преследовал дискурс законодателей, филантропов и исследователей жизни рабочего класса. Именно эти процессы скрываются за целым рядом утверждений, совершенно чуждых уголовно-правовой теории XVIII века. О том, что преступление – не некая склонность, вписанная в сердце каждого человека и выражающаяся в стремлении к извлечению выгоды или в страстях, а почти исключительно удел определенного общественного класса. Что преступники, встречавшиеся некогда во всех общественных классах, теперь выходят «почти все из нижнего ряда общественного порядка»[36]. Что «девять десятых убийц, воров и негодяев происходят из так называемого социального дна»[37]. Что не преступление отчуждает человека от общества, но оно само вызывается тем обстоятельством, что человек в обществе как чужой, что он принадлежит к «выродившемуся племени», как говорил Тарже, к тому «испорченному нищетой классу, чьи пороки подобны непреодолимому препятствию перед благородными намерениями, стремящимися его сокрушить»[38]. Что раз так, то было бы лицемерно и наивно думать, будто закон установлен для всех и ради всех. Что разумнее было бы признать, что он создан для немногих и введен для того, чтобы нажимать на других. Что в принципе он обязателен для всех граждан, но распространяется главным образом на самые многочисленные и наименее образованные классы. Что, в отличие от политических или гражданских законов, уголовные законы не применяются ко всем равным образом[39]. Что в судах не общество в целом судит своего члена, а одна общественная ка-

[36] Ch. Comte, *Traité de législation*, 183, p. 49.

[37] H. Lauvergne, *Les Forçats*, 1841, p. 337.

[38] E. Buré, *De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France*, 1840, t. II, p. 391.

[39] P. Rossi, *Traité de droit pénal*, 1829, t. I, p. 32.

тегория, заинтересованная в порядке, судит другую, преданную беспорядку: «Посетите места, где судят, заточают, убивают... Поражает одно обстоятельство: везде вы увидите два совершенно различных класса людей, один из которых всегда восседает в креслах обвинителей и судей, а другой занимает скамью подсудимых». Это объясняется тем фактом, что последние, не имея достаточных средств и образования, не умеют «удержаться в рамках правовой честности»[40]. Так что даже язык закона, который считается универсальным, в этом отношении неадекватен. Для того чтобы быть эффективным, он должен быть обращением одного класса к другому, привыкшему к другим мыслям и даже словам: «Как нам, с нашим притворно добродетельным, пренебрежительным, отягощенным формальностями языком быть понятными для тех, кто слышал одно только грубое, бедное, неправильное, но живое, искреннее и сочное просторечье рынков, кабаков и ярмарок... Какой язык, какой метод надо применить при составлении законов, чтобы эффективно воздействовать на необразованный ум тех, кто чаще уступает соблазну преступления?»[41] Закон и правосудие не колеблясь провозглашают свою неизбежную классовую несимметричность.

Если так, то тюрьма, якобы «терпя поражение», на самом деле не бьет мимо цели. Напротив, она попадает в цель, поскольку вызывает к жизни одну особую форму противозаконности среди прочих, противозаконность, которую она способна вычленить, выставить в полном свете и организовать как относительно замкнутую, но проницаемую среду. Тюрьма способствует установлению

[40] Ch. Lucas, *De la réforme des prisons*, t. II, 1838, p. 82.
[41] P. Rossi, *loc. cit.*, p. 33.

видимой, открытой, заметной противозаконности, неустранимой на определенном уровне и втайне полезной, одновременно строптивой и послушной. Она обрисовывает, изолирует и выявляет одну форму противозаконности, как бы символически резюмирующую все прочие ее формы, позволяя оставить в тени те, которые общество хочет – или вынуждено – терпеть. Эта форма есть, строго говоря, делинквентность. Не надо усматривать в делинквентности самую интенсивную, самую вредную форму противозаконности, форму, которую уголовно-правовая машина должна пытаться устранить посредством тюремного заключения по причине ее опасности; скорее, она – проявление и следствие системы исполнения наказания (в частности, заключения), позволяющей дифференцировать, приспосабливать и контролировать противозаконности. Несомненно, делинквентность – одна из форм противозаконности; конечно, она коренится в противозаконности; но она представляет собой противозаконность, которую «система карцера» со всеми ее разветвлениями захватила, фрагментировала, изолировала, пропитала собой, организовала и замкнула в определенной среде, придав ей инструментальную роль по отношению к другим противозаконностям. Словом, юридическая оппозиция противополагает законность и противозаконную практику, а стратегическая оппозиция – противозаконности и делинквентность.

Утверждение о том, что тюрьме не удалось уменьшить число преступлений, следует заменить, пожалуй, следующей гипотезой: тюрьма вполне преуспела в производстве делинквентности, особого типа, политически и экономи-

чески менее опасной – а иногда и полезной – формы противозаконности; в производстве делинквентов, казалось бы маргинальной, но на самом деле централизованно контролируемой среды; в производстве делинквента как патологического субъекта. Успех тюрьмы в борьбе вокруг закона и противозаконностей состоит в том, что она устанавливает «делинквентность». Мы видели, как система карцера заменила правонарушителя «делинквентом», а также «пришпилила» к судебной практике весь горизонт возможного знания. И этот процесс, что создает делинквентность в качестве объекта, составляет одно целое с политической операцией, которая разъединяет противозаконности и отделяет от них делинквентность. Тюрьма – шарнир, соединяющий эти два механизма; она позволяет им беспрерывно усиливать друг друга, объективировать позади правонарушения делинквентность, укреплять делинквентность в движении противозаконностей. Успех тюрьмы настолько велик, что и через полтора века «провалов» тюрьма продолжает существовать, производя те же результаты, и мы испытываем сильнейшие угрызения совести, когда пытаемся ее низвергнуть.

* * *

Наказание в форме заключения производит – отсюда, несомненно, его долговечность – замкнутую, отделенную и полезную противозаконность. Циркуляция делинквентности, видимо, не является побочным продуктом тюрьмы, которая, наказывая, не преуспевает в исправлении; скорее, она – прямое следствие уголовно-исполнитель-

ной системы, которая, для того чтобы управлять противозаконными практиками, вовлекает некоторые из них в механизм «наказание–воспроизведение», где заключение – одна из основных деталей. Но почему и как тюрьма участвует в производстве делинквентности, с которой она призвана бороться?

Формирование делинквентности, образующей своего рода замкнутую противозаконность, в действительности имеет ряд преимуществ. Прежде всего, ее можно контролировать (посредством выслеживания людей, внедрения в группы, организации взаимного доносительства): ведь вместо колеблющейся, беспорядочной массы населения, от случая к случаю совершающей противозаконности (грозящие распространиться), или численно размытых шаек бродяг, что захватывают в свои ряды, в скитаниях с места на место и в различных обстоятельствах, безработных, нищих, уклоняющихся от воинской повинности и иногда разрастаются (как это произошло в конце XVIII века) до такой степени, что становятся грозной силой, чинящей грабежи и смуты, – вместо них образуется довольно небольшая и замкнутая группа индивидов, которых удобно держать под постоянным надзором. Кроме того, поглощенную собой делинквентность можно направить в русло менее опасных форм противозаконности: удерживаемые под давлением контроля на краях общества, обреченные на жалкие условия существования, не имеющие связей с населением, которое могло бы их поддержать (как бывало некогда с контрабандистами или некоторыми формами бандитизма[42]), делинквенты неизбежно отступают к локализованной преступности, не пользу-

[42] См.: E. J. Hobsbawm, *Les Bandits*, 1972. (Пер. на франц. яз.)

ющейся особой поддержкой населения, политически безвредной и экономически ничтожной. И эта сосредоточенная, контролируемая и обезоруженная противозаконность безусловно полезна. Она может быть полезна по отношению к другим противозаконностям: изолированная от них, обращенная на собственные внутренние организации, ориентированная на насильственные преступления, первыми жертвами которых часто оказываются бедные классы, зажатая со всех сторон полицией, получающая большие сроки с последующей неизменно «специализированной» жизнью, делинквентность – этот чужой, опасный и часто враждебный мир – блокирует или по крайней мере удерживает на довольно низком уровне обычные противозаконные практики (мелкие кражи и насилия, повседневные нарушения закона); она не дает им принять более широкие, более очевидные формы, словно действенность примера, ожидаемую некогда от зрелищных публичных казней, теперь ищут не столько в строгости наказаний, сколько в зримом, заметном существовании самой делинквентности: отличая себя от других распространенных противозаконностей, делинквентность служит их обузданию.

Но делинквентность допускает также и другое непосредственное применение. Приходит на ум пример колонизации. Однако это не самый убедительный пример. Действительно, хотя в период Реставрации и Палата депутатов, и генеральные советы многократно требовали высылки преступников, они хотели, в сущности, облегчить финансовые тяготы, связанные с содержанием аппарата заключения. И несмотря на все проекты, выдвинутые при

Июльской монархии и предполагающие возможность участия делинквентов, недисциплинированных солдат, проституток и сирот в колонизации Алжира, закон 1854 г. формально исключил эту колонию из числа колониальных каторг; фактически, высылка в Гвиану или позднее в Новую Каледонию не имела реального экономического значения, несмотря на то что осужденных обязывали оставаться в колонии, где они отбыли наказание, количество лет, равное отбытому сроку (а в некоторых случаях — всю оставшуюся жизнь)[43]. По сути дела, использование делинквентности как среды одновременно обособленной и управляемой имело место главным образом на краях законности. Иными словами, в XIX веке создается также своего рода подчиненная противозаконность, организация которой как делинквентности, со всем вытекающим отсюда надзором, обеспечивает гарантированное послушание. Делинквентность, укрощенная противозаконность, есть агент противозаконности господствующих групп. В этом плане характерна организация сетей проституции в XIX веке[44]: постоянный полицейский контроль за здоровьем проституток, регулярное заключение их в тюрьму, крупномасштабное устроение домов терпимости, четкая иерархия, поддерживавшаяся в среде проституции, контролирование ее осведомителями из числа делинквентов — все это позволяло направлять ее в нужное русло и получать благодаря целому ряду посредников огромные прибыли от сексуального удовольствия, которое все более настойчивое повседневное морализирование обрекало на полуподпольное существование и, естественно, делало дорогим; устанавливая цену удовольствия,

[43] Относительно проблемы высылки см.: F. de Barbé Marbois, *Observations sur les votes de 41 conseils généraux*, и дискуссию между Блоссевилем и Ла Пиложри (по поводу Ботани Бэй*). Бюрэ, полковник Маренго и Л. де Карнэ, как и некоторые другие, выдвигали планы колонизации Алжира силами делинквентов.

[44] Одним из первых эпизодов стала организация под контролем полиции домов терпимости (1823 г.), что выходило далеко за рамки положений закона от 14 июля 1791 г. о контроле в публичных домах. См. об этом собрания рукописных документов полицейской префектуры (20–26), в частности циркуляр префекта полиции, датированный 14 июня 1823 г.: «Учреждение домов терпимости, естественно, не понравится любому.

прибыль с подавленной сексуальности и получая эту прибыль, среда делинквентности действовала заодно с корыстным пуританством: как незаконный сборщик налогов с противозаконных практик[45]. Торговля оружием, нелегальная продажа спиртных напитков в страны, где действует «сухой закон», и, ближе к нам, торговля наркотиками — тоже род этой «полезной делинквентности»: существование законного запрета создает поле противозаконных практик, и его можно контролировать, извлекая из него незаконную прибыль, посредством элементов, которые сами по себе противозаконны, но сделались управляемыми благодаря их организации как делинквентности. Эта организация есть инструмент для управления противозаконностями и их эксплуатации.

Она является также инструментом противозаконности, которой окружает себя само отправление власти. Политическое использование делинквентов — как осведомителей и провокаторов — было широко распространено задолго до XIX века[46]. Но после Революции эта практика приобрела совсем другой масштаб: внедрение в политические партии и рабочие объединения, вербовка головорезов для борьбы с забастовщиками и бунтовщиками, организация специальной полиции — действовавшей в прямой связи с легальной полицией и способной, если потребуется, стать своего рода параллельной армией, — вся внеправовая деятельность власти обеспечивалась отчасти массой подручных, образованной делинквентами: тайной полицией и резервной армией власти. Видимо, во Франции эти практики получили полное развитие в эпоху Революции 1848 г. и с захватом власти Луи-Наполео-

кого волнует общественная нравственность; меня не удивляет, что комиссары полиции всеми силами противодействуют организации таких домов в их кварталах... Полиция уверена, что она весьма содействовала бы общественному порядку, если бы удалось ограничить проституцию домами терпимости, на которые она может оказывать постоянное и равномерное воздействие и которые не могут укрыться от надзора».

[46] Книга Паран-Дюшатле (Parent-Duchatelet, *Prostitution à Paris*, 1836) подтверждает наличие связи между делинквентностью и проституцией, приветствуемой полицией и карательными институтами. Итальянская мафия, «пересаженная» в Соединенные Штаты и используемая как для извлечения незаконных прибылей, так и в политичес-

ном[47]. Таким образом, делинквентность – опирающаяся на систему наказания, сосредоточенную вокруг тюрьмы, – представляет собой отвод противозаконности в незаконное круговращение прибыли и власти господствующего класса.

Организация обособленной противозаконности, замкнутой делинквентности, была бы невозможна без развития полицейского надзора. Общий надзор за населением, бдительность – «немая, таинственная, неуловимая... око правительства, всегда открытое и следящее за всеми гражданами без различия, но не подвергающее их никакому принуждению... Незачем вписывать его в закон»[48]. Надзор за конкретными индивидами, предусмотренный кодексом 1810 г., за бывшими осужденными и всеми людьми, представшими перед судом по серьезному обвинению и признанными представляющими новую угрозу общественному покою. Но и надзор за кругами и группами, опасными с точки зрения осведомителей, которые почти все являлись бывшими делинквентами и как таковые подлежали полицейскому надзору: делинквентность, один из объектов полицейского надзора, служит также одним из его излюбленных инструментов. Все эти виды надзора предполагают организацию иерархии, частично официальной, частично тайной (в парижской полиции последнюю представляла главным образом «служба безопасности», включавшая в себя, помимо «открытых агентов» – инспекторов и капралов, – «тайных агентов» и осведомителей, движимых страхом перед наказанием или желанием получить вознаграждение)[49]. Они предполагают также создание системы документации, главная задача кото-

ких целях, – прекрасный пример подчинения и использования противозаконности народного происхождения.

[46] Об этой роли делинквентов в полицейском и особенно политическом надзоре см. в исследовании Лемэра. «Осведомители» – люди, которые «рассчитывают на снисходительность и милость к себе»; обычно – «негодяи, выдающие других, еще больших негодяев. Кроме того, человека, чье имя однажды попало в полицейский журнал, уже не упускают из виду».

[47] K. Marx, *Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte*, Éd. Sociales, 1969, p. 76–78.

рой — выявление и идентификация преступников: обязательное описание преступника прилагается к ордерам на арест и постановлениям судов присяжных, описание заносится в тюремные реестры, копии реестров судов присяжных и судов упрощенного производства каждые три месяца отправляются в министерства юстиции и генеральной полиции; несколько позже в министерстве внутренних дел создаются организованные в алфавитном порядке «картотеки правонарушителей», где резюмируются вышеупомянутые реестры; приблизительно в 1833 г., по аналогии с методом «натуралистов, библиотекарей, купцов, дельцов», начинают использовать систему карточек или индивидуальных бюллетеней, позволяющих без труда добавлять новые данные и в то же время находить по фамилии разыскиваемого преступника все относящиеся к нему сведения[50]. Делинквентность — поставляя тайных агентов, а также обеспечивая повсеместное проникновение полиции — является инструментом постоянного надзора за населением: аппаратом, позволяющим контролировать посредством самих делинквентов все общественное поле. Делинквентность действует как политическая обсерватория. В свою очередь, много позднее чем полиция, ее стали использовать статистики и социологи.

Но такой надзор мог осуществляться лишь в соединении с тюрьмой. Ведь тюрьма облегчает надзор за индивидами, когда они выходят на свободу: она позволяет вербовать осведомителей и умножает число взаимных доносов, способствует взаимным контактам правонарушителей, ускоряет организацию среды делинквентов, замкнутой на самой себе, но легко контролируемой; и все след-

[48] A. Bonneville, *Des institutions complémentaires du système pénitencier*, 1847, p. 397–399.

[49] См.: H. A. Fregier, *Les Classes dangereuses*, 1840, t. I, p. 142–148.

[50] A. Bonneville, *De la récidive*, 1844, p. 92–93. Появление карточки и создание гуманитарных наук: еще одно изобретение, не удостоившееся внимания историков.

ствия того, что бывший заключенный не получает обратно свои права (безработица, запрет на проживание, вынужденное проживание в установленных местах, необходимость отмечаться в полиции), позволяют без труда принудить его к выполнению определенных задач. Тюрьма и полиция образуют парный механизм; вместе они обеспечивают во всем поле противозаконностей дифференциацию, отделение и использование делинквентности. Система полиция—тюрьма выкраивает из противозаконностей «ручную» делинквентность. Делинквентность, со всей ее спецификой, является результатом этой системы, но становится также ее колесиком и инструментом. Итак, следует говорить об ансамбле, три элемента которого (полиция, тюрьма, делинквентность) поддерживают друг друга и образуют непрерывное круговращение. Полицейский надзор поставляет тюрьме правонарушителей, тюрьма преобразует их в делинквентов, которые являются предметом и помощниками полицейского надзора, регулярно возвращающего некоторых из них в тюрьму.

Никакое уголовное правосудие не преследует всех противозаконных практик; иначе, используя полицию в качестве помощника, а тюрьму — как инструмент наказания, оно не оставляло бы неассимилируемого осадка «делинквентности». Уголовное правосудие следует рассматривать, скорее, как инструмент дифференцирующего контроля над противозаконностями. В этом отношении уголовное правосудие играет роль правового гаранта и принципа передачи. Оно — «переключатель» в общей экономии противозаконностей, другими элементами ко-

[51] Сопротивление законников, не желавших исполнять роль надзирателей, подтверждается многочисленными свидетельствами, причем весьма ранними, еще времени реставрации (прекрасное доказательство того, что такого рода функционирование судебного аппарата отнюдь не является феноменом и реакцией последнего времени). В частности, определенные проблемы были связаны с ликвидацией или, скорее, новым использованием наполеоновской полиции. Но эти трудности сохранялись и впоследствии. См. речь Беллейма, произнесенную в 1825 г. при вступлении в должность; он по-

торой (не подчиненными правосудию, но равными ему) являются полиция, тюрьма и делинквентность. Посягновение полиции на правосудие и сила инерции, противопоставляемая правосудию тюремным институтом, — не новость, но и не следствие склероза или постепенного смещения власти; это структурное качество, характеризующее механизмы наказания в современных обществах. Юристы и судьи могут говорить что угодно, но уголовное правосудие со всем его зрелищным аппаратом призвано удовлетворять повседневные запросы машины надзора, наполовину погруженной в тень, где происходит сцепление полиции и делинквентности. Судьи — служащие надзора[51], причем не очень строптивые. Насколько могут, они способствуют образованию делинквентности, т. е. дифференциации противозаконностей, контролю, подчинению и использованию некоторых из этих противозаконностей противозаконностью господствующего класса.

Об этом процессе, происходившем в первые тридцать-сорок лет XIX столетия, свидетельствуют два персонажа. Прежде всего, Видок*. Он был человеком старых противозаконностей[52], Жилем Блазом** на другом конце века. Но Видок быстро скатился к худшему: неуживчивости, авантюрам, надувательствам (обычно он сам и оказывался их жертвой), дракам и дуэлям. Он много раз вербовался в армию и дезертировал, имел дело с проституцией, картами, карманными кражами, а затем и вооруженным разбоем. Но почти мифическое значение Видока в глазах современников объясняется не этим его, возможно приукрашенным, прошлым и даже не тем фактом, что впервые в

пытался отмежеваться от своих предшественников: «Законные пути открыты нам... Взращенные в школе закона, получившие образование в школе столь достойного судебного ведомства... мы — помощники правосудия...» (см.: M. de Belleyme, *Histoire de l'Administration*); см. также весьма интересный памфлет: de Molène, *De la liberté*.

[52] См. *Mémoires*, опубликованные под его именем, и *Histoire de Vidocq racontée par lui-même*.

истории бывший каторжник, искупивший свою вину или просто откупившийся, стал префектом полиции, а скорее тем, что в его лице делинквентность ясно обнаружила свой двусмысленный статус как объекта и инструмента полицейской машины, действующей против нее и заодно с ней. Видок знаменует собой момент, когда делинквентность, отделенная от прочих противозаконностей, захватывается властью и обращается на самое себя. Тогда-то и происходит прямое и институциональное спаривание полиции и делинквентности: тревожный момент, когда делинквентность становится одним из винтиков власти. В прежние времена неотступным кошмаром был образ короля-чудовища – который являлся источником всякого правосудия, однако же был запятнан преступлениями. Теперь возникает другой страх: страх перед темным, тайным сговором между теми, кто отстаивает закон, и теми, кто нарушает его. Шекспировский век, когда верховная власть и низость соединялись в одном лице, ушел в прошлое; вскоре должна была начаться повседневная мелодрама полицейской власти и сообщничества между преступлением и властью.

Противоположностью Видока является его современник Ласенер. Его навеки гарантированное место в раю эстетов преступления просто поражает: ведь при всем желании, при всем рвении неофита он совершил, да и то весьма неумело, лишь несколько мелких преступлений. Поскольку сокамерники серьезно подозревали в нем «наседку» и хотели его убить[53], администрация тюрьмы Форс* вынуждена была встать на его защиту, и высший свет Парижа времен Людовика-Филиппа перед казнью устроил в

[53] Обвинение было формально поддержано Канлером, см.: Canler, *Mémoires*, p. 15 (переизд. 1968 г.).

его честь такой праздник, по сравнению с которым последующие литературные воскрешения выглядят разве что академической данью. Своей славой он не обязан ни размаху своих преступлений, ни искусному замыслу; поражает как раз их безыскусность. В огромной степени слава Ласенера объясняется видимой игрой — в его действиях и словах — противозаконности и делинквентности. Мошенничество, дезертирство, мелкие кражи, тюремное заключение, возобновление завязавшихся в тюрьме дружеских связей, взаимный шантаж, рецидивизм, вплоть до последней, неудачной попытки убийства, — все это обнаруживает в Ласенере типичного делинквента. Но он заключал в себе, по крайней мере потенциально, горизонт противозаконностей, которые до недавнего времени представляли угрозу: этот разорившийся мещанин, получивший образование в хорошем коллеже, хорошо говоривший и писавший, поколением раньше был бы революционером, якобинцем, цареубийцей[54]; будь он современником Робеспьера, его отрицание закона приняло бы непосредственно историческую форму. Он родился в 1800 г., примерно в то же время, что и Жюльен Сорель*, в его характере можно различить те же задатки; но они нашли выражение в краже, убийстве и доносительстве. Все они вылились в совершенно тривиальную делинквентность: в этом смысле Ласенер — персонаж успокаивающий. Если они и напоминают о себе, то лишь в его теоретизировании о преступлениях. В момент смерти Ласенер демонстрирует торжество делинквентности над противозаконностью, или, скорее, образ противозаконности, которая, с одной стороны, втянута в делинквентность, а с другой — смещена в сторону

[54] О том, кем мог быть Ласенер с точки зрения его современников, см. досье, составленное Лебаи в изданной им книге Ласенера: Lacenaire, *Mémoires*, 1968, p. 297–304.

эстетики преступления, т. е. искусства привилегированных классов. Различима симметрия между Ласенером и Видоком, которые в одну и ту же эпоху сделали возможным обращение делинквентности на самое себя, конституировав ее как замкнутую и контролируемую среду и сместив к полицейским методам всю практику делинквентности, становившейся законной противозаконностью власти. Что парижская буржуазия чествовала Ласенера, что его камера была открыта для знаменитых посетителей, что в последние дни жизни его осыпали похвалами (его, чьей смерти простые заключенные тюрьмы Форс требовали раньше, чем судьи, его, сделавшего в суде все возможное, чтобы возвести на эшафот своего сообщника Франсуа), — все это имело объяснение: ведь в его лице превозносили символический образ противозаконности, удерживаемой в рамках делинквентности и преобразованной в дискурс, т. е. ставшей вдвойне безопасной; буржуазия придумала для себя новое удовольствие, которым пока еще отнюдь не пресытилась. Не надо забывать, что знаменитая смерть Ласенера заглушила шум вокруг покушения Фиески*, одного из последних цареубийц, воплощавшего противоположный образ мелкой преступности, приводящей к политическому насилию. Не надо забывать, что Ласенер был казнен за несколько месяцев до ухода последней цепи каторжников, сопровождавшегося скандальными событиями. Эти два празднества пересеклись исторически. Действительно, Франсуа, сообщник Ласенера, был одним из самых известных персонажей цепи, покидавшей Париж 19 июля[55]. Одно из празднеств продолжало старые ритуалы публичных казней, рискуя воскресить на-

[55] Круговорот 1835–1836 г.: Фиески, заслуживший наказание обычное для отцеубийц и цареубийц, стал одной из причин, по которым отцеубийца ривьер был приговорен к смерти, несмотря на памятную записку, удивительный характер которой был заслонен Ласенером, его процессом и писаниями, опубликованными благодаря начальнику сыскной полиции (с кое-какими цензурными изменениями) в начале 1836 г., за несколько месяцев до того, как его сообщник Франсуа залал, вместе с брестской каторжной цепью, один из последних великих балаганных спектаклей вокруг преступле-

родные противозаконности, чинимые вокруг преступников. Оно должно было быть запрещено, поскольку преступник отныне должен был занимать лишь то пространство, что отводится для делинквентности. Другое – начинало теоретическую игру противозаконности привилегированных; скорее, оно знаменовало момент, когда политические и экономические противозаконности, практиковавшиеся буржуазией, были дублированы их теоретическим и эстетическим выражением: «Метафизика преступления» – термин, часто связываемый с Ласенером; «Убийство как одно из изящных искусств» было опубликовано в 1849 г.*

* * *

Производство делинквентности и захват ее карательным аппаратом следует понимать правильно: не как результаты, достигнутые раз и навсегда, а как тактики, которые изменяются в зависимости от того, насколько они приблизились к своей цели. Разрыв между делинквентностью и другими противозаконностями, то, как она отворачивается от них, ее подчинение господствующими противозаконностями – все это четко проявляется в способе действия системы полиция–тюрьма; однако все это всегда сталкивалось с сопротивлением, вызывало борьбу и ответные действия. Возведение барьера, отделяющего делинквентов от всех тех низших слоев населения, из которых они вышли и с которыми сохраняют связь, было трудной задачей, особенно, несомненно, в городской среде[56]. Над ней долго и упорно трудились. Ее решение потребовало

ния. Круговорот противозаконностей и делинквентностей, круговорот дискурсов преступления и о преступлении.

* В конце XVIII века Колькхаун показывает трудность этой задачи для такого города, как Лондон, см.: Colquhoun, *Traité de la police de Londres*, 1807, p. 32–34, 299–300. (Пер. на франц. яз.)

применения общих методов «морального вразумления» бедных классов, которое, кроме того, имело решающее значение как с экономической, так и с политической точки зрения (имеется в виду формирование, так сказать, «базового правового сознания», необходимого с того времени, когда на смену обычаю пришел свод законов; обучение элементарным правилам отношения к собственности и бережливости, дисциплине труда; выработка навыка оседлой жизни и сохранения стабильной семьи и т. д.). Более специфические методы были применены для того, чтобы укрепить враждебность народных слоев по отношению к делинквентам (использование бывших заключенных в качестве осведомителей, шпиков, штрейкбрехеров и головорезов). Систематически смешивали нарушения общего права с нарушениями неповоротливого законодательства о расчетных книжках, забастовках, коалициях, ассоциациях[57], для которых рабочие требовали политического статуса. Акции рабочих регулярно обвиняли в том, что они вдохновлены, если не руководимы обыкновенными преступниками[58]. Приговоры часто обнаруживали бóльшую строгость по отношению к рабочим, нежели к ворам[59]. В тюрьмах эти две категории заключенных смешивались, причем лучше обращались с нарушителями общего права, а заключенные журналисты и политики обычно содержались отдельно. Словом, налицо целая тактика смешения, нацеленная на поддержание постоянного состояния конфликта.

К этому добавлялось продолжительное предприятие, призванное накинуть на обычное восприятие делинквентов совершенно определенную сетку: представить их как

[57] «Никакой другой класс не подвергается такого рода надзору; он осуществляется почти так же, как надзор за освободившимися заключенными; он как будто заносит рабочих в категорию, которую называют теперь опасным общественным элементом» (*L'Atelier*, 5ᵉ année, № 6, mars 1845, по поводу расчетной книжки).

[58] См., например: J. B. Monfalcon, *Histoire des insurrections de Lyon*, 1834, p. 142.

[59] См.: *L'Atelier*, octobre 1840, а также. *La Fraternité*, juillet–août 1847.

находящихся рядом, как вездесущих и повсюду опасных. Такова была функция рубрики «хроника происшествий», которая получила огромное место в части прессы и под которую стали отводить целые газеты[60]. Хроника криминальных происшествий благодаря ее ежедневной избыточности делает привычной систему судебного и полицейского надзора, разбивающую общество на ячейки; изо дня в день она повествует о своего рода внутренней войне с безликим врагом; в этой войне она выступает как ежедневная сводка, сообщающая об опасности или победе. Криминальный роман, который начал публиковаться в газетах и дешевой массовой литературе, играет вроде бы противоположную роль. Его функция состоит, главным образом, в том, чтобы показать, что делинквент принадлежит к совершенно другому миру, далекому от привычной повседневной жизни. Этот чуждый мир сначала – дно общества («Парижские тайны», Рокамболь*), затем – сумасшествие (особенно во второй половине века), наконец – преступление в высшем обществе (Арсен Люпэн**). Соединение хроники происшествий с детективным романом произвело за последние сто или более лет массу «историй о преступлениях», где делинквентность предстает сразу очень близкой и совершенно чуждой, постоянной угрозой для повседневной жизни, но крайне далекой по своему происхождению и мотивам от той среды, в которой она имеет место как обычная и экзотическая одновременно. Придаваемое делинквентности значение и окружающий ее избыточный дискурс очерчивают вокруг нее линию, которая возвышает ее и ставит на особое место. Какая противозаконность могла узнать себя в столь страшной

[60] Помимо *Gazette des tribunaux* и *Courrier des tribunaux* также *Journal des concierges*.

делинквентности, имеющей столь чуждое происхождение?..

Эта многообразная тактика принесла плоды, что доказывают кампании народных газет против труда заключенных[61], против «тюремного комфорта», за выполнение заключенными самой тяжелой и опасной работы, против чрезмерного интереса филантропов к преступникам, против литературы, возвышающей преступление[62]; это подтверждает и общее недоверие, присущее всему рабочему движению, к бывшим осужденным по нормам общего права. «На заре XX века, – пишет Мишель Пэрро, – окруженная высочайшей из всех стен – презрением, тюрьма наконец замыкается вокруг бесславного племени»[63].

Однако эта тактика отнюдь не восторжествовала и не привела к полному разрыву между делинквентами и низшими слоями. Отношения между беднейшими классами и правонарушением, взаимоположение пролетариата и городской черни требуют изучения. Но ясно одно: делинквентность и подавление рассматривались в рабочих движениях 1830–1850 гг. как важная проблема. Несомненно, имела место враждебность по отношению к делинквентам; но и борьба вокруг системы наказания. Политический анализ преступности, предлагаемый народными газетами, часто буквально во всем противоречит характеристике, даваемой филантропами (бедность–распутство – леность–пьянство–порок–кража–преступление). Источник делинквентности такие газеты усматривают не в преступном индивиде (который является просто поводом или первой жертвой), а в обществе: «Человек, убивающий вас, не волен не убивать. Ответственность за убийство несет

[61] См. петицию в парижскую Палату депутатов, в ней выдвигалось требование, чтобы заключенные занимались «вредными и опасными работами» (*L'Atelier*, juin 1844); в апреле 1845 г. в газете упоминается эксперимент в Бретани, где большое число заключенных из военных, занимавшихся строительством канализации, погибли от воспалительных заболеваний. В ноябре 1845 г.: почему заключенные не работают с ртутью или свинцовыми белилами?... См. также: *Démocratie politique*, 1844–1845.

[62] В ноябре 1843 г. в *L'Atelier* прозвучали нападки на «Парижские тайны», поскольку делинквенты показаны там в слишком выгодном свете, подчеркивается их живописность, повторяются их словечки, а также делается слишком большое ударение на фа-

общество или, вернее, дурная организация общества»[64]. Или потому, что общество не способно удовлетворить его важнейшие потребности, или потому, что оно уничтожает или искореняет в нем задатки, чаяния и нужды, которые впоследствии напоминают о себе в преступлении: «Плохое образование, не нашедшие применения способности и силы, ум и душа, подавленные вынужденным трудом в слишком нежном возрасте»[65]. Но эта преступность, порожденная нуждой или подавлением, скрывает за вниманием к себе и вызываемым ею неодобрением другую преступность, которая иногда является ее причиной и всегда – продолжением. Это делинквентность наверху, скандальный пример, источник нищеты и толчок к бунту для бедных. «В то время как нищета усеивает ваши мостовые трупами и наполняет ваши тюрьмы ворами и убийцами, где же мошенники из высшего света?.. Самые развращающие примеры, самый возмутительный цинизм, самый наглый разбой... Не боитесь ли вы, что бедняк, которого сажают на скамью подсудимых за кусок хлеба, схваченный с прилавка булочника, однажды возмутится и не оставит камня на камне от Биржи, дикого вертепа, где безнаказанно растаскивают государственные сокровища и семейные состояния?»[66]. Но к делинквентности богатых законы терпимы, а когда дело доходит до суда, они могут рассчитывать на снисходительность судей и сдержанность прессы[67]. Отсюда идея, что уголовные процессы могут стать поводом для политического диспута, что надо пользоваться спорными процессами или судебными делами, возбужденными против рабочих, для изобличения деятельности уголовного правосудия: «Отныне суды – уже не таковы,

тальной склонности к преступлению. В *La Ruche populaire* встречаются примерно такие же нападки на театр.

[64] *Délinquance et système pénitentiaire de France au XIX^e siècle* (неизданный текст).

[65] *L'Humanitaire*, août 1841.

[66] *La Fraternité*, novembre 1845.

[67] *La Ruche populaire*, novembre 1842.

[67] См. в *La Ruche populaire*, déc. 1839 г., ответ Венсара на статью Бальзака, опубликованную в *Le Siècle*. Бальзак утверждал, что обвинение в краже должно предъявляться осторожно и сохраняться втайне, когда речь идет о богатом человеке, чья малейшая

как прежде, уже не место, где обнажаются нищета и язвы нашей эпохи, не род клеймения, ставящего в один ряд несчастных жертв общественного беспорядка. Они – арена, оглашаемая воинственными кличами»[68]. Отсюда также идея, что политические заключенные – поскольку они, как и делинквенты, знакомы с системой наказания на собственном опыте, но, в отличие от последних, могут быть услышаны – должны быть глашатаями всех заключенных. Именно они должны просветить «почтенного французского буржуа, который не имеет представления о наказаниях, налагаемых после помпезных обвинительных речей генерального прокурора»[69].

Для этой переоценки уголовного правосудия и границы, заботливо очерчиваемой им вокруг делинквентности, характерна тактика, которую можно назвать «контр"хроникой происшествий"». Так, рабочие газеты стремятся представить преступления и судебные процессы совсем иначе, нежели те, что, подобно «Gazette des tribunaux», «наливаются кровью», «питаются тюрьмой» и обеспечивают ежедневный «мелодраматический репертуар»[70]. «Контр"хроника происшествий"» систематически подчеркивает факты делинквентности в буржуазной среде и показывает, что именно буржуазия – класс, пораженный «физическим вырождением» и «моральным разложением»; рассказы о преступлениях, совершенных простолюдинами, она заменяет описанием нищеты, в какую вверга-ют простых людей эксплуататоры их труда, которые буквально морят их голодом и убивают[71]; она показывает, какая доля ответственности в уголовных процессах против рабочих должна быть перенесена на работодателей и об-

нечестность тотчас становится известной: «Скажите, месье, положа руку на сердце, не происходит ли каждый день обратное, не находит ли обычно богатый и сановитый тысячи решений, тысячи способов замять неприятное дело?».

[68] *La Fraternité*, novembre 1841.

[69] *Almanach populaire de la France*, 1839, p. 50.

[70] *Pauvre Jacques*, 1re année, № 3.

[71] В марте 1847 г. в *La Fraternité* обсуждается дело Друяра и делается намек на кражи в среде флотской администрации в Рошфоре. В июне 1847 г. здесь помещается статья о процессе Бульми и деле Кюбьера-Пелапра; в июле–августе 1847 г. – статья о взя-

щество в целом. Короче говоря, конечная цель «контр"хроники..."» состоит в том, чтобы опрокинуть монотонный дискурс о преступлении, стремящийся обособить преступление как уродство и переложить вину на беднейший класс.

В полемике против уголовно-правовой системы фурьеристы, несомненно, пошли дальше других. Пожалуй, они первыми выработали политическую теорию, которая в то же время показывает позитивное значение преступления. Хотя преступление, по их мнению, есть результат «цивилизации», оно (благодаря самому этому факту) является и оружием против нее. В нем заложена сила и посул. «Социальный порядок, над которым властвует неизбежность его репрессивного принципа, продолжает убивать с помощью палача или тюрем тех, чей прирожденно твердый нрав отвергает его предписания или пренебрегает ими, кто слишком силен, чтобы оставаться в тугих пеленках, кто вырывается и рвет их в клочья, людей, которые не желают оставаться детьми»[72]. Стало быть, нет преступной природы, а есть столкновение сил, которое в зависимости от класса, к которому принадлежат индивиды[73], приводит их во власть или в тюрьму: нынешние судьи, родись они бедными, были бы каторжниками; каторжники же, будь они благородного происхождения, «заседали бы в судах и вершили правосудие»[74]. В конечном счете, существование преступления счастливо демонстрирует «несгибаемость человеческой природы». В преступлении следует видеть не слабость или болезнь, а бурлящую энергию, «взрыв протеста во имя человеческой индивидуальности», что, несомненно, объясняет странную чарую-

точничестве Бенье-Лагранжа-Жюссье.

[72] *La Phalange*, 10 janvier 1837.

[73] «Узаконенная проституция, простая кража имущества, кража со взломом, убийство, грабеж и разбой – для низших классов; тогда как изощренные хищения, скрытая и ловкая кража, умелая игра на человеческом скотстве, предательства и измены из тактических соображений, неимоверные уловки, наконец, все пороки и все подлинно доходные и элегантные преступления – все это ускользает от закона и остается монополией высших классов» (1 декабря 1838 г.).

[74] *La Phalange*, 1er déc. 1838.

щую силу преступления. «Если бы не преступление, пробуждающее в нас множество онемелых чувств и полуугасших страстей, мы бы куда дольше оставались несобранными, так сказать расслабленными»[75]. А значит, преступление является, возможно, политическим инструментом, который может оказаться столь же полезным для освобождения нашего общества, сколь и для освобождения негров; действительно, разве последнее произошло бы без преступления? «Отравления, поджоги, а порой и бунт свидетельствуют о кричащей бедственности социального положения»[76]. Заключенные? — «Самая несчастная и самая угнетенная часть человечества». «La Phalange» иногда принимала современную эстетику преступления, но имела при этом совершенно другую цель.

Отсюда — использование хроники происшествий, с тем чтобы не просто вернуть противнику упрек в аморальности, но и выявить борьбу противоположных сил. «La Phalange» рассматривает уголовные дела как столкновение, запрограммированное «цивилизацией», крупные преступления — не как чудовищные деяния, но как неизбежный возврат и восстание подавленного[77], а мелкие противозаконности — не как неустранимые края общества, а как гул, доносящийся с самого поля боя.

Обратимся теперь, после Видока и Ласенера, к третьему персонажу. Он сделал всего один краткий выход; его известность вряд ли продержалась более одного дня. Он был лишь мимолетным образом мелких противозаконностей: тринадцатилетний мальчуган без крова и семьи, обвиненный в бродяжничестве. Приговоренный к двум годам исправительной колонии, он, несомненно, надолго

[75] *La Phalange*, 10 janvier 1837.

[76] *Ibid.*

[77] См., например, о Делаколонже или Элирабиле в: *La Phalange*, 1er août 1836, 2 octobre 1840.

попал в круговорот делинквентности. Конечно, он остался бы незамеченным, если бы не *противопоставил* дискурсу закона, сделавшего его делинквентом (больше даже во имя дисциплин, чем в соответствии с кодексом), дискурс противозаконности, которая устояла перед принуждениями и обнаружила недисциплинированность, существующую систематически двусмысленным способом — как беспорядочное устройство общества и как утверждение непреложных прав. Все противозаконности, расцененные судом как правонарушения, обвиняемый переформулировал как утверждение жизненной силы: отсутствие жилья — как бродяжничество, отсутствие хозяина — как независимость, отсутствие работы — как свободу, отсутствие организованного и регулярного труда — как полноту дней и ночей. Это столкновение противозаконности с системой «дисциплина—наказание—делинквентность» было воспринято современниками (точнее, оказавшимся в суде журналистом) как комическое проявление схватки уголовного закона с мелкими фактами недисциплинированности. И действительно, само дело и последовавший приговор представляли сердцевину проблемы законного наказания в XIX веке. Ирония, с какой судья пытается окружить недисциплинированность величием закона, и дерзость, с какой обвиняемый возвращает ее в число фундаментальных прав человека, создают показательную сцену для уголовного правосудия.

Поэтому ценен отчет, появившийся в «Gazette des tribunaux»[78]: «Председатель: Спать надо дома. — Беас : А у меня есть дом? — Вы постоянно бродяжничаете. — Я тружусь, чтобы заработать на жизнь. — Ваше общественное поло-

[78] *Gazette des tribunaux*, août 1840.

жение? – Мое общественное положение. Начать с того, что их у меня не меньше тридцати шести. Я ни на кого не работаю. Я давно уже делаю что подвернется. У меня днем одно положение , ночью – другое. Днем, например, я раздаю рекламки всем прохожим, гоняюсь за прибывшими дилижансами и переношу багаж пассажиров, хожу колесом по авеню Нейи*. Ночью спектакли, я распахиваю дверцы карет, продаю билеты. У меня много дел. – Лучше бы вы поступили учеником в хороший дом. – Вот еще! Хороший дом, ученичество – тоска зеленая. И потом хозяин... вечно ворчит, никакой свободы. – Ваш отец не зовет вас домой? – Нет у меня отца. – А ваша мать? – Нет у меня ни матери, ни родственников, ни друзей. Я свободен и независим». Услышав приговор – два года исправительной колонии, – Беас «скорчил мерзкую мину, а потом вернулся в свое обычное хорошее настроение: "Два года, никак не больше двадцати четырех месяцев. Ну, в путь"».

Именно эту сцену перепечатала «La Phalange». И значение, придаваемое ей газетой, чрезвычайно неторопливый, тщательный ее разбор показывают, что фурьеристы усматривали в столь обычном деле игру фундаментальных сил. С одной стороны, силы «цивилизации», олицетворяемой судьей – «живой законностью, духом и буквой закона». Она обладает собственной системой принуждения; по видимости это свод законов, на деле же – дисциплина. Необходимо иметь место, локализацию, принудительное «прикрепление». «Надо спать дома», – говорит судья, поскольку, по его мнению, все должны иметь дом, жилище, будь то роскошное или жалкое; задача судьи – не обеспечить жильем, но заставить каждого индивида жить дома.

Кроме того, индивид должен иметь положение, узнаваемую идентичность, раз и навсегда установленную индивидуальность. «Ваше общественное положение? – Этот вопрос – простейшее выражение порядка, утвердившегося в обществе. Бродяжничество ему отвратительно, оно дестабилизирует его. Необходимо иметь прочное, постоянное общественное положение, думать о будущем, о безопасном будущем, о том, чтобы гарантировать его от любого посягательства». Наконец, надлежит иметь хозяина, занимать определенное место на иерархической лестнице. Человек существует, только когда он вписан в определенные отношения господства. «У кого вы работаете? Иными словами, раз вы не хозяин, то должны быть слугой. Дело не в вашей индивидуальной удовлетворенности, а в необходимости поддерживать порядок». Дисциплине в облике закона противостоит именно противозаконность, предъявляющая себя как право; не столько уголовное правонарушение, сколько недисциплинированность является причиной образования бреши. Недисциплинированность языка: неправильная грамматика и тон реплик «указывают на резкий раскол между обвиняемым и обществом, которое в лице председателя суда обращается к нему в корректной форме». Недисциплинированность, вызываемая врожденной, непосредственной свободой: «Он прекрасно понимает, что подмастерье, рабочий – раб, а рабство плачевно... Он прекрасно понимает, что уже не сможет наслаждаться этой свободой, этой владеющей им потребностью движения в устоявшемся порядке жизни... Он предпочитает свободу, и важно ли, что другие считают ее беспорядком? Свободу, иными словами – спонтанное разви-

тие индивидуальности, «дикое» развитие, а значит, грубое и недалекое, но естественное и инстинктивное». Недисциплинированность в семейных отношениях: не имеет значения, был ли этот несчастный ребенок брошен или убежал сам, потому что он «не смог бы вынести рабство воспитания, родительского или иного». И во всех этих мелких недисциплинированностях в конечном счете отвергается «цивилизация» и пробивает себе путь «дикость»: «Работа, лень, беззаботность, распутство, все что угодно, только не порядок; в чем бы ни заключались занятия и распутство, это жизнь дикаря, живущего одним днем и не думающего о будущем»[79].

Несомненно, анализы в «La Phalange» не могут рассматриваться как типичные для тогдашних дискуссий о преступлении и наказании в массовых газетах. Тем не менее они принадлежат к контексту этой полемики. Уроки фурьеристов не прошли втуне. Они получили отклик, когда во второй половине XIX века анархисты, избрав своей мишенью уголовно-правовую машину, поставили политическую проблему делинквентности; когда они желали видеть в ней самое боевое отвержение закона; когда они пытались не столько возвеличить бунт делинквентов как геройство, сколько отделить делинквентность от захвативших ее буржуазной законности и противозаконности; когда они хотели восстановить или создать политическое единство народных противозаконностей.

[79] *La Phalange*, 15 août 1840.

Глава 3

Карцер

Если говорить о дате окончательного формирования тюремной системы, то я не назвал бы ни 1810 г. (когда был принят уголовный кодекс), ни даже 1844 г. (когда был введен закон, установивший принцип содержания заключенных в камерах). Я не остановился бы, наверное, и на 1938 г., когда были опубликованы труды Шарля Люка, Моро-Кристофа и Фоше, посвященные тюремной реформе. Я выбрал бы 22 января 1840 г., день официального открытия колонии для несовершеннолетних преступников в Меттрэ. Или, пожалуй, тот не отмеченный в календаре, но знаменательный день, когда один ребенок из Меттрэ сказал в агонии: «Как жаль, что я покидаю колонию так скоро»[1]. Это была смерть первого святого мученика пенитенциарной системы. Несомненно, за ним последовало много блаженных – если верить бывшим заключенным колоний, которые, вознося хвалу новым политикам наказания

[1] E. Ducpétiaux, *De la condition physique et morale des jeunes ouvriers*, t. II, p. 383.

тела, заметили: «Мы бы предпочли побои, но камера нам больше подходит».

Почему Меттрэ? Потому, что это дисциплинарная форма в ее крайнем выражении; модель, в которой сосредоточены все принудительные технологии поведения. В ней – «обитель, тюрьма, коллеж и полк». Маленькие, в высшей степени иерархизированные группы, на которые разделены заключенные, построены сразу по пяти моделям: семьи (каждая группа представляет собой «семью», состоящую из «братьев» и двух «старших»), армии (каждая семья, подчиняющаяся главе, подразделяется на две роты; каждой из них руководит помощник главы; каждый заключенный имеет свой номер, его обучают азам военных упражнений; ежедневно проверяется чистота помещения, еженедельно производится осмотр одежды, трижды в день – перекличка), мастерской (с начальниками и старшими мастерами, обеспечивающими регулярность работы и отвечающими за обучение самых молодых заключенных), школы (каждый день – час-полтора уроков; обучают учителя и помощники глав), наконец – суда (ежедневно в общем зале происходит «распределение правосудия»: «Малейшее неповиновение наказывается, и лучший способ избежать серьезных нарушений – строжайше карать даже за самые ничтожные проступки; в Меттрэ наказывают за пустое слово»; основное наказание – заключение в камеру: ведь «изоляция – лучшее средство воздействия на нравственность детей; именно в одиночестве прежде всего голос религии, даже если он никогда не трогал их сердца, обретает всю свою эмоциональную силу[2]; всякое заведение, функционирующее как институт наказания и от-

[2] *Ibid.*, p. 377.

личное от тюрьмы, имеет своей высшей точкой камеру, на стенах которой черными буквами начертано: «Бог вас видит»).

Это взаимное наложение различных моделей позволяет показать специфику функции «муштры». Начальники и их помощники в Меттрэ должны быть не только судьями, учителями, старшими мастерами, младшими офицерами или «родителями», но в некотором смысле совмещать все эти роли в совершенно особенном методе вмешательства. Они являются своего рода специалистами по поведению: инженерами поведения, ортопедами индивидуальности. Они должны создавать тела одновременно послушные и способные. Они контролируют девять-десять часов ежедневной работы (ремесленной или сельскохозяйственной); они руководят прохождением групп на смотру, физическими упражнениями, военной подготовкой, следят за подъемом по утрам и своевременным отходом ко сну, маршировкой под рожок или свисток; они заставляют делать гимнастику[3], следят за чистотой и присутствуют при мытье детей. Муштра сопровождается постоянным наблюдением. Из повседневного поведения колонистов непрерывно извлекается знание, оно используется как инструмент постоянной оценки: «При поступлении в колонию ребенка подвергают своего рода допросу, чтобы получить сведения о его происхождении, положении его семьи, проступке, приведшем его на скамью подсудимых, и обо всех других правонарушениях, совершенных за его короткую и часто очень несчастную жизнь. Эти сведения записываются в таблицу, куда, в свою очередь, вносится вся информация о каждом колонисте, его пребывании в коло-

[3] «Все, что вызывает усталость, способствует изгнанию дурных помыслов; потому надо позаботиться, чтобы игры включали тяжелые физические упражнения. Вечером они засыпают, едва коснувшись подушки» (ibid., p. 375–376); см. ил. 27.

нии и месте, где ему разрешено жить по освобождении»[4]. Такого рода моделирование тела делает возможным познание индивида, обучение техническому мастерству, закрепляет определенные виды поведения, а приобретение навыков неразрывно связано с установлением отношений власти; формируются хорошие сельскохозяйственные рабочие, выносливые и умелые. В ходе самой этой работы при надлежащем техническом контроле создаются подчиненные субъекты и знание о них, на которое можно положиться. Эта дисциплинарная техника, воздействующая на тела, производит двойное следствие: знание «души» и обеспечение подчинения. Вот результат, свидетельствующий об эффективности муштры: в 1848 г., когда «революционная лихорадка охватила все умы, когда школы Анжера, Ла Флеш и Альфора и даже коллежи взбунтовались, спокойствие колонистов Меттрэ лишь возросло»[5].

Образцовость Меттрэ особенно ярко проявляется в признанной специфике осуществляемой там муштры. Муштра соседствует с другими формами контроля, на которые она опирается: с медициной, общим образованием и религиозным наставлением. Но она не смешивается с ними совершенно. Не смешивается она и с собственно управлением. «Главы» семей и их помощники, воспитатели и старшие мастера должны были жить как можно ближе к колонистам. Одежда их была «почти такой же скромной», как у колонистов. Они практически никогда не покидали воспитанников, надзирали за ними днем и ночью, создавали в их среде сеть постоянного наблюдения. А для того, чтобы формировать самих старших, в колонии действовала специальная школа. Существенно важный элемент

[4] E. Ducpétiaux, *Des colonies agricoles*, 1851, p. 61
[5] G. Ferrus, *Des prisonniers*, 1850.

программы состоял в том, чтобы подвергнуть будущие руководящие кадры тому же обучению и тем же принуждениям, что и воспитанников: «В качестве учеников они подчиняются дисциплине, какую впоследствии будут насаждать в качестве учителей». Их обучали искусству отношений власти. Это первая педагогическая школа чистой дисциплины: «пенитенциарное» здесь не просто проект, ищущий своего обоснования в «гуманности» и оснований — в «науке», но техника, которая изучается, передается и подчиняется общим нормам. Практика, нормализующая посредством силы поведение недисциплинированных или опасных, в свою очередь, может быть «нормализована» путем технического совершенствования и рациональной рефлексии. Дисциплинарная техника становится «дисциплиной», которая тоже имеет свою школу.

Историки гуманитарных наук относят возникновение научной психологии к этому же времени: тогда же Вебер* начал использовать свой маленький циркуль для измерения ощущений. То, что происходит в Меттрэ (и, чуть раньше или позже, в других европейских странах), явно относится к совершенно иному порядку. Это возникновение *или, скорее, институциональное определение*, как бы крещение, нового типа контроля — одновременно знания и власти — над индивидами, противящимися дисциплинарной нормализации. И все же, несомненно, появление этих профессионалов дисциплины, нормальности и подчинения равнозначно измерению дифференциального порога в формировании и развитии психологии. Скажут, что количественная оценка чувственных реакций могла по крайней мере обосновать себя за счет авторитета рожда-

ющейся физиологии и что уже по одной этой причине она вправе претендовать на место в истории знания. Но контроль за нормальностью был прочно вмонтирован в медицину или психиатрию, что гарантировало ему своего рода «научность»; он опирался на судебный аппарат, который прямо или косвенно обеспечивал ему ручательство закона. Таким образом, под покровительством двух солидных опекунов, служа им связью или местом обмена, продуманная техника контроля над нормами продолжает развиваться вплоть до настоящего дня. Со времен маленькой школы в Меттрэ институциональные и специфические поддержки дисциплинарных методов стали более многочисленными. Их механизмы количественно умножились и распространились вширь. Разрослись их связи с больницами, школами, государственной администрацией и частными предприятиями. Осуществляющих их лиц стало больше, усилилась их власть, выросла техническая квалификация. Специалисты по недисциплинированности продолжили свой род. В нормализации нормализующей власти, в организации власти–знания над индивидами школа в Меттрэ составила эпоху.

* * *

Но почему мы выбрали этот момент в качестве завершающей точки формирования определенного искусства наказывать, которое почти в прежнем виде практикуется поныне? Именно потому, что наш выбор несколько «несправедлив». Потому что он помещает «конец» процесса на обочинах уголовного права. Потому что Меттрэ – тюрьма, но не

вполне: тюрьма, поскольку там отбывали заключение юные правонарушители, осужденные судами; и все же нечто иное, поскольку там содержались несовершеннолетние, обвиненные, но оправданные по 66 статье Кодекса, а также, как в XVIII веке, пансионеры, помещенные туда родителями в порядке наказания. Меттрэ как карательная модель располагается на границе собственно наказания. Это наиболее известный из целого ряда институтов, которые, далеко за пределами уголовного права, образовали то, что можно назвать «карцерным архипелагом».

Однако общие принципы, великие кодексы и последующие законодательства ясно говорили: никакого заключения «вне закона», без решения компетентного судебного органа, пора покончить с самочинными и все еще распространенными заточениями. И все же от самого принципа заключения «помимо» уголовного права фактически никогда не отказывались[6]. И если машина великого классического заключения была частично (лишь частично) демонтирована, то очень скоро ее вернули к жизни, переоборудовали и в некоторых отношениях усовершенствовали. Но что еще важнее, посредством тюрьмы ее привели в соответствие, с одной стороны, с законными наказаниями, а с другой – с дисциплинарными механизмами. Границы между заключением, наказаниями по решению суда и дисциплинарными заведениями, размытые уже в классическом веке, начинают стираться, образуя огромный континуум карцера, распространяющий пенитенциарные методы даже на самые невинные дисциплины, доводящий дисциплинарные нормы до самой сердцевины уголовно-правовой системы и воздействующий на любое правона-

[6] Надо бы специально заняться спорами, которые велись во время Революции и затрагивали проблемы семейных судов, родительского наказания и права родителей запирать детей.

рушение, мельчайшую неправильность, отклонение или аномалию, угрозу делинквентности. Тонкая, градуированная «карцерная» сеть с компактными заведениями, но и дробными и рассеянными методами заняла место самоуправного, массового и плохо интегрированного заключения классического века.

Не будем восстанавливать здесь всю ткань отношений, составлявшую сначала непосредственное окружение тюрьмы, а затем распространявшуюся все далее и далее вовне. Достаточно указать несколько вех, чтобы понять ее размах, и несколько дат, чтобы оценить ее раннее развитие.

В центральных тюрьмах были сельскохозяйственные отделения (первым примером стала тюрьма Гайона в 1824 г., за ней последовали тюрьмы Фонтевро, Дуэра и Буляра). Существовали колонии для бедных, беспризорных и бродячих детей (Пети-Бур была открыта в 1840, Оствальд – в 1842 г.). Были приюты, дома милосердия и благотворительные заведения для девиц-преступниц, «боящихся думать о выходе в беспорядочный мир», для «бедных невинных девочек, которым угрожает ранняя порочность из-за безнравственности матерей», или для несчастных девушек, подбираемых у дверей больниц и в меблированных комнатах. Были исправительные колонии, предусмотренные законом 1850 г.: оправданные или осужденные несовершеннолетние должны были «воспитываться сообща в строгой дисциплине и использоваться на работах в сельском хозяйстве и близких к нему отраслях промышленности»; позднее к ним присоединяют несовершеннолетних, приговоренных к ссылке без лишения

прав, а также «порочных и строптивых воспитанников детских домов»[7]. И, все больше отдаляясь от системы наказания в собственном смысле слова, «карцерные» круги расширяются, форма тюрьмы медленно ослабевает и наконец полностью исчезает: здесь учреждения для брошенных или нищих детей, сиротские приюты (как Нэхоф или Мэниль-Фирмен), заведения для подмастерьев (вроде реймского Вифлеема или Дома в Нанси); еще дальше отстоят заводы-монастыри, например в Ла Соважэр, а затем в Тараре и Жюжюрьё (работницы поступали сюда, когда им было примерно тринадцать, долгие годы жили в заточении, выходя во внешний мир только под надзором, получали не зарплату, а содержание и премии за усердие и хорошее поведение, которыми могли воспользоваться лишь по выходе). И затем, еще дальше, имелся целый ряд заведений, которые не следуют модели «компактной» тюрьмы, но используют некоторые карцерные механизмы: это благотворительные общества, организации нравственного совершенствования, бюро, занимающиеся распределением помощи и надзором, рабочие городки и бараки: их самые примитивные и неразвитые формы еще несут на себе все совершенно явные следы пенитенциарной системы[8]. И наконец, эта широкая «карцерная» сеть объединяет все дисциплинарные механизмы, функционирующие по всему обществу.

Мы видели, что тюрьма преобразовала в сфере уголовно-правовой юстиции карательную процедуру в пенитенциарную технику. Карцерный архипелаг переносит эту технику из тюремного института на все общественное тело, вызывая несколько важных последствий.

[7] Обо всех этих заведениях см.: H. Gaillac, *Les Maisons de correction*, 1971, p. 99–107.

[8] Ср., например, следующее описание жилых помещений для рабочих, построенных в Лилле в середине XIX века: «Чистота всегда в повестке дня. Она в центре всех правил. Предусматривается ряд строгих мер против буянов, пьяниц, всяких беспорядков. Тяжелый проступок влечет за собой изгнание. Приобретшие прочные привычки к порядку и экономии, рабочие уже не покидают цеха по понедельникам... За детьми хорошо присматривают, а потому они уже не оказываются причиной

1. Этот огромный механизм устанавливает медленную, непрерывную и незаметную градацию, которая обеспечивает естественный переход от беспорядка к правонарушению и обратно – от нарушения закона к отклонению от правила, среднего, требования, нормы. В классическую эпоху, несмотря на определенную общую отсылку к проступку в широком смысле слова[9], порядки правонарушения, греха и дурного поведения были отделены друг от друга, поскольку каждый из них был сопряжен с особыми критериями и инстанциями (суд, епитимья, тюремное заключение). Лишение свободы, использующее механизмы надзора и наказания, действует, напротив, в соответствии с принципом относительной непрерывности. Непрерывности самих институтов, которые отсылают друг к другу (государственная помощь и сиротский дом, исправительное заведение, каторга, дисциплинарный батальон, тюрьма; школа и благотворительное общество, мастерская, дом призрения, пенитенциарный монастырь; рабочий городок, больница и тюрьма). Непрерывности критериев и механизмов наказания, которые, начиная с простого отклонения, постепенно ужесточают правила и утяжеляют наказание. Непрерывной градации органов власти, институционализированных, специализированных и компетентных (в порядке знания и порядке власти), которые, не прибегая к произволу, а в строгом соответствии с правилами, посредством констатации и оценки устанавливают иерархию, дифференцируют, санкционируют, наказывают и постепенно переходят от санкции против отклонения к наказанию преступления. «Карцер» с его многочисленными диффузными или компактными формами, института-

неприятных происшествий.. Присуждаются премии за содержание жилищ, за хорошее поведение и за знаки преданности, и каждый год за эти премии спорят многочисленные претенденты» (Houzé de l'Aulnay, *Des logements ouvriers à Lille*, 1863, p. 13–15).

[9] Его четко определили некоторые юристы, см., например: M. de Vouglans, *Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits et des peines*, 1767, p. 108; *Les Lois criminelles de la France*, 1780, p. 3; Rousseaud de la Combe, *Traité des matières criminelles*, 1741, p. 1–2.

ми контроля или ограничения, осторожного надзора и настойчивого принуждения обеспечивает качественную и количественную передачу наказаний; выстраивает в ряд или располагает в сложном рисунке малые и большие наказания, щадящие и суровые формы обращения, плохие оценки и мягкие приговоры. Малейшая дисциплина как бы сулит: «Ты кончишь каторгой», – а самая строгая тюрьма говорит приговоренному к пожизненному заключению: «Я замечу любое отклонение в твоем поведении». Всеобщность карательной функции, которую XVIII век искал в технологии представлений и знаков, разработанной «идеологами», опирается теперь на распространение, на материальную, сложную, рассеянную, но сцементированную арматуру различных «карцерных» устройств. В результате определенное общее означаемое объединяет мельчайшую неправильность и величайшее преступление: это уже не проступок и не покушение на интересы общества, а отклонение и аномалия; именно оно неотступно преследует школу, суд, сумасшедший дом или тюрьму. Оно делает всеобщей в плане значения ту функцию, которую карцер делает всеобщей в плане тактики. Заменяя врага государя, враг общества превращается в девиантного индивида, несущего в себе многогранную опасность беспорядка, преступления и сумасшествия. Карцерная сеть связывает множеством отношений два длинных многосложных ряда – карательное и ненормальное.

2. Карцер с его плетением позволяет вербовать крупных «делинквентов». Он организует то, что можно назвать «дисциплинарными жизненными путями», на которых под видом исключений и отторжений приводится в дейст-

вие механизм проработки. В классическую эпоху на задворках или в щелях общества существовала смутная, терпимая и опасная область «внезакония» или по крайней мере того, что ускользало от когтей власти; неопределенное пространство, место формирования и прибежище преступности. Там по воле случая и судьбы сталкивались бедность, безработица, преследуемая невинность, хитрость, борьба с власть имущими, отказ исполнять обязанности, попрание законов и организованная преступность. Пространство авантюры, которое обстоятельно и всяк на свой лад осваивали Жиль Блаз, Шеппард и Мандрэн. Через игру дисциплинарных различений и разветвлений XIX столетие проложило четкие пути, которые в рамках существующей системы посредством одних и тех же механизмов прививают послушание и производят делинквентность. Складывалась своего рода дисциплинарная «формация», непрерывная и принудительная, имевшая в себе нечто от педагогического плана и профессиональной сети. Она предопределяла жизненные пути, такие же надежные, такие же предсказуемые, как карьера государственных людей: благотворительные организации и общества, обучение ремеслу с проживанием у мастера, колонии, дисциплинарные батальоны, тюрьмы, больницы, богадельни и приюты. Эти сети вполне сложились уже в начале XIX века: «Наши благотворительные заведения представляют собой превосходно согласованное целое, благодаря которому нуждающийся ни на миг не остается без помощи от колыбели до могилы. Посмотрите на обездоленного: вы увидите, что он рождается подкидышем, попадает в ясли, потом в приют, шести лет поступает в на-

чальную школу, позднее – в школу для взрослых. Если он не может работать, то его берут на заметку в окрестном благотворительном бюро, а если заболеет, то может выбирать из 12 больниц... Наконец, когда парижский бедняк подходит к концу жизненного пути, его старости дожидаются 7 богаделен, и зачастую благодаря их целительному режиму его никчемное существование длится куда дольше, чем жизнь богачей»[10].

Карцерная сеть не бросает неассимилируемого в смутный ад, у нее нет «снаружи». Одной рукой она, кажется, берет то, что отталкивает другой. Она накапливает все, даже то, что наказывает. Она не хочет терять даже то, что считает негодным. В паноптическом обществе, всесцепляющей арматурой которого является тюремное заключение, делинквент не находится вне закона; он с самого начала находится в законе, в самом сердце закона или по крайней мере в центре тех механизмов, что незаметно обеспечивают переход от дисциплины к закону, от отклонения к правонарушению. И хотя верно, что тюрьма наказывает делинквентность, эта последняя формируется главным образом в тюремном заключении и благодаря ему. Тюрьма, в свою очередь, увековечивает заключение. Тюрьма – лишь естественное следствие, не более чем высшая ступень этой устанавливаемой шаг за шагом иерархии. Делинквент – продукт института тюрьмы. И не следует удивляться тому, что во многих случаях биография осужденных проходит через все механизмы и учреждения, которые призваны, как принято думать, уводить прочь от тюрьмы. Тому, что в их биографиях можно усмотреть, так сказать, свидетельство неисправимо преступного «харак-

[10] Моро де Жонн (Moreau de Jonnes), цит. по кн.: H. du Touquet, *De la condition des classes pauvres*, 1846.

тера»: заключенный (например, тюрьмы города Манд), обреченный на тяжелый труд, был заботливо создан детством, проведенным в исправительной колонии согласно силовым линиям обобщенной карцерной системы. Напротив, лиризм маргинальности может черпать вдохновение в образе «человека вне закона», великого социального кочевника, рыщущего на задворках послушного, напуганного порядка. Но преступность рождается не на границах общества и не путем целенаправленных изгнаний, а посредством все более плотных встраиваний, под все более неотступным надзором, благодаря накоплению дисциплинарного принуждения. Словом, карцерный архипелаг обеспечивает, в глубинах тела общества, формирование делинквентности на основе мелких противозаконностей, наложение первой на последние и установление предопределенной преступности.

3. Но, пожалуй, самый важный результат карцерной системы и ее распространения далеко за границы законного заключения – то, что ей удается сделать власть наказывать естественной и легитимной, по крайней мере понижая порог терпимости к наказанию. Она сглаживает все, что может казаться чрезмерным в отправлении наказания. Ведь она играет в двух регистрах, в которых сама развертывается: в законном регистре правосудия и внезаконном регистре дисциплины. В самом деле, великая непрерывность карцерной системы с обеих сторон – закона и его приговоров – обеспечивает определенную правовую поддержку дисциплинарным механизмам, приводимым ими в исполнение судебным решениям и санкциям. От начала до конца этой сети, охватывающей столь много-

численные относительно анонимные и независимые «региональные» институты, с «тюрьмой как формой» передается модель великого правосудия. Установления дисциплинарных институтов воспроизводят закон, наказания имитируют приговоры и кары, надзор повторяет полицейскую модель, а над всеми этими многочисленными учреждениями возвышается тюрьма, которая, будучи их чистой и несмягченной формой, оказывает им своего рода государственную поддержку. Карцерное с его постепенным переходом от каторги или тюремного заключения к диффузным и легким ограничениям свободы сообщает определенный тип власти, утверждаемой законом и используемой правосудием как излюбленное оружие. Как могут казаться самочинными дисциплины и функционирующая в них власть, если они лишь приводят в действие механизмы самого правосудия, рискуя смягчить их интенсивность? Если они распространяют следствия правосудия и передают их до самых последних звеньев, позволяя избежать его строгости? Непрерывность карцера и распространение тюрьмы как формы позволяют легализовать или, во всяком случае, узаконить дисциплинарную власть, избегающую таким образом малейшей чрезмерности или возможных злоупотреблений ею.

Но напротив, карцерная пирамида дает власти налагать законные наказания контекст, где та предстает свободной от всякой чрезмерности и насилия. В тонкой, постепенной градации дисциплинарных аппаратов и предполагаемых ими «встраиваний» тюрьма отнюдь не является разгулом власти другого рода, а представляет собой просто дополнительную степень интенсивности механиз-

ма, который продолжает работать начиная с самых первых наказаний. Разница между новейшим «исправительным» заведением, куда помещают вместо тюрьмы, и тюрьмой, куда отправляют после явного правонарушения, едва ощутима (и должна быть таковой). Строгая экономия, в результате которой особая власть наказывать становится максимально незаметной. Отныне ничто в ней не напоминает о прежней чрезмерности суверенной власти, выказывающей свою силу на казнимых телах. Тюрьма продолжает – над теми, кто ей вверен, – работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному континууму инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие инстанции, которые контролируют, преобразуют, исправляют и улучшают. Можно даже сказать, что на самом деле она отличается от них разве что особо «опасным» характером делинквентов, серьезностью их отклонений от нормы и необходимой торжественностью ритуала. Но по своей функции власть наказывать в сущности не отличается от власти лечить или воспитывать. Она получает от них и от их второстепенной, менее значительной задачи поддержку снизу, которая не становится от этого менее важной, поскольку удостоверяет ее метод и рациональность. Карцерное натурализует законную власть наказывать, точно так же, как «легализует» техническую власть дисциплинировать. Приводя их таким образом к однородности, изглаживая насильственное в одной и самочинное в другой, смягчая последствия бунта, который обе они могут вызывать, а значит, делая бесполезными их ожесточе-

ние и неистовство, передавая от одной к другой одни и те же рассчитанные, механические и незаметные методы, карцер позволяет осуществлять ту великую «экономию» власти, формулу которой искал XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного управления ими.

Действуя по всей толщи общественного тела и беспрестанно смешивая искусство исправления с правом наказывать, всеобщность карцера понижает уровень, начиная с которого становится естественным и приемлемым быть наказанным. Часто спрашивают, почему до и после Революции был подведен новый фундамент под право наказывать. И, несомненно, ответ следует искать в теории договора. Но важнее, пожалуй, задать обратный вопрос: как людей заставили признать власть наказывать или, если сказать совсем просто, терпеливо переносить наказание? Теория договора может ответить на этот вопрос лишь фикцией юридического субъекта, дающего другим власть осуществлять над ним то право, каким он и сам обладает по отношению к ним. В высшей степени вероятно, что огромный карцерный континуум, обеспечивающий сообщение между властью дисциплины и властью закона и простирающийся неразрывно от малейших принуждений до самого длительного карательного заключения, образовал технический и реальный, непосредственно материальный дубликат этой химерической передачи права наказывать.

4. Благодаря новой экономии власти карцерная система, являющаяся ее основным инструментом, сделала возможным возникновение новой формы «закона»: смеси за-

конности и природы, предписания и телосложения – нормы. Отсюда целый ряд последствий: внутреннее расслоение судебной власти или по крайней мере ее функционирования; все более трудная работа судей, которые словно стыдятся выносить приговор; яростное желание судей измерять, оценивать, диагностировать, распознавать нормальное и ненормальное; претензии их на заслугу исцеления или перевоспитания. Ввиду всего этого бессмысленно верить в чистые или дурные намерения судей или даже их подсознания. Их огромная «тяга к медицине» – которая постоянно проявляется и в обращении к специалистам-психиатрам, и во внимании к криминологической болтовне, – выражает тот главный факт, что отправляемая ими власть «утратила естественные свойства»; что на определенном уровне она управляется законами; что на другом, и более фундаментальном, уровне она действует как нормативная власть; они осуществляют именно экономию власти, а не экономию своих угрызений совести или гуманизма, и именно первая заставляет их выносить «терапевтические» приговоры и постановления о «реадаптационном» заключении. Но, наоборот, если судьи все с меньшей готовностью приговаривают ради приговора, то судебная деятельность возрастает точно в той мере, в какой распространяется нормализующая власть. Поддерживаемая вездесущностью дисциплинарных устройств, опирающаяся на все карцерные механизмы, нормализующая власть становится одной из основных функций нашего общества. Судьи нормальности окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и «социального работника»-

судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи. Карцерная сеть в ее компактных или рассеянных формах, с ее системами встраивания, распределения, надзора и наблюдения является в современном обществе великой опорой для нормализующей власти.

5. Карцерная ткань общества обеспечивает как реальное присвоение тела, так и постоянное наблюдение за ним. По своим внутренним свойствам она является аппаратом наказания, самым совершенным образом отвечающим новой экономии власти, и инструментом формирования знания, в котором нуждается эта экономия. Ее паноптическое функционирование позволяет ей играть эту двойную роль. Благодаря своим методам закрепления, распределения, записи и регистрации она долгое время остается одним из наиболее простых, примитивных, наиболее материальных, но, пожалуй, и самых необходимых условий чрезвычайного развития и распространения экзамена, объективирующего человеческое поведение. Если после века «инквизиторского» правосудия мы вступили в эпоху правосудия «экзаменационного», если, еще более общим образом, метод экзамена смог столь широко распространиться по всему обществу и в какой-то мере дать начало гуманитарным наукам, то одним из основных инструментов этого были множественность и тесное взаимоналожение различных механизмов заключения. Я не говорю, что гуманитарные науки возникли из тюрьмы. Но если они смогли образоваться и произвести во всей структу-

ре (épistémè) знания известные глубокие изменения, то потому, что они были сообщены специфической и новой модальностью власти: определенной политикой тела, определенным методом, позволяющим сделать массу людей послушной и полезной. Эта политика требовала включения определенных отношений знания в отношения власти; она нуждалась в технике частичного взаимоналожения подчинения и объективации (assujetissement et objectivation); она принесла с собой новые процедуры индивидуализации. Карцерная сеть образует один из остовов этой власти–знания, сделавшей исторически возможными гуманитарные науки. Познаваемый человек (как бы его ни называли – душой, индивидуальностью, сознанием, поведением) является объектом–следствием этого аналитического захвата, этого господства–наблюдения.

6. Несомненно, это объясняет удивительную прочность тюрьмы – нехитрого изобретения, которое тем не менее бранили с самого рождения. Если бы она была лишь инструментом отторжения или подавления в руках государственного аппарата, то было бы куда легче изменить ее слишком заметные формы или найти ей более приемлемую замену. Но, глубоко укорененная в механизмах и стратегиях власти, она могла ответить на любую попытку преобразования огромной силой инерции. Характерно одно обстоятельство: когда заходит речь об изменении режима заключения, противодействие исходит не только от судебного института; сопротивление оказывает не тюрьма как уголовное наказание, а тюрьма со всеми ее установлениями, связями и внесудебными следствиями; тюрьма как узловая точка в общей сети дисциплин и над-

зоров; тюрьма, поскольку она функционирует в паноптическом режиме. Это не означает ни того, что она не может быть изменена, ни того, что она раз и навсегда необходима для такого общества, как наше. Наоборот, можно выделить два процесса, которые в самой непрерывности процессов, обеспечивающих функционирование тюрьмы, способны серьезно ограничить ее применение и преобразовать ее внутреннее функционирование. И, несомненно, эти процессы в значительной степени уже начались. Первый из них снижает полезность (или увеличивает неудобства) делинквентности, устроенной как особая противозаконность, замкнутая и контролируемая; так, образование крупных противозаконностей в государственном или международном масштабе, которые непосредственно связаны с политическими и экономическими аппаратами (таковы финансовые противозаконности, службы разведки, торговля оружием и наркотиками, спекуляция недвижимостью), делает очевидной неэффективность несколько грубой и бросающейся в глаза рабочей силы делинквентности. Или еще, уже в меньшем масштабе: поскольку экономическое обложение сексуального наслаждения осуществляется более действенно путем продажи противозачаточных средств или косвенно через книги, фильмы и спектакли, архаичная иерархия проституции в значительной мере утрачивает прежнюю полезность. Второй из упомянутых процессов — рост дисциплинарных сетей, умножение их обменов с уголовно-правовым аппаратом, придание им все более важных полномочий, все более массовая передача им судебных функций. Поскольку медицина, психология, образование, государственная по-

мощь и «социальная работа» все больше участвуют в контролирующей и наказывающей власти, уголовно-правовая машина, в свою очередь, может принять медицинский, психологический и педагогический характер. Это лишний раз доказывает, что «шарнир» в форме тюрьмы становится менее полезным – как механизм, обеспечивающий, через зазор между пенитенциарным дискурсом и следствием тюрьмы (консолидацией делинквентности), связь между уголовно-правовой властью и дисциплинарной властью. Среди всех этих механизмов нормализации, которые становятся все более строгими в своем применении, специфика тюрьмы и ее связующая роль несколько теряют смысл.

Если можно говорить об общей политической проблеме в связи с тюрьмой, то она заключается не в том, должна ли или не должна тюрьма быть исправительным учреждением; и не в том, кто должен иметь в ней бóльшую власть – судьи, психиатры и социологи или администраторы и надзиратели; и даже не в том, следует ли нам сохранить тюрьму или лучше перейти к другой форме наказания. В настоящее время проблема связана, скорее, с резко возросшим использованием механизмов нормализации, которые чрезвычайно способствуют широкому распространению воздействий власти посредством установления новых объективностей.

* * *

В 1836 г. один корреспондент «La Phalange» писал: «Моралисты, философы, законодатели, льстецы цивилиза-

ции, вот ваш план Парижа, аккуратного и приглаженного, вот усовершенствованный план, где все сходные вещи собраны вместе. В центре и в первой городской черте – больницы для лечения всех болезней, богадельни для всевозможной нищеты, сумасшедшие дома, каторжные тюрьмы для мужчин, женщин и детей. По обочине первого кольца – казармы, суды, полицейское ведомство, жилища надсмотрщиков, площадки для эшафотов, дома палача и его подручных. По четырем углам – палата депутатов, палата пэров, академия и королевский дворец. Снаружи центрального кольца – службы, обеспечивающие его существование: торговля с надувательством и банкротством, промышленность с яростной борьбой, пресса с ложью и увертками, игорные дома; проституция, люди, умирающие от голода или погрязшие в разврате, всегда готовые раскрыть ухо для гласа Гения Революций, бессердечные богачи... Словом, жестокая война всех против всех»[11].

Остановлюсь на этом анонимном тексте. Сегодня мы далеки от страны публичных казней, усеянной колесами, виселицами и позорными столбами. Мы далеки также от мечты, которую лелеяли реформаторы менее чем пятьюдесятью годами ранее: о городе наказаний, где тысячи театриков разыгрывали бы бесконечное многокрасочное представление правосудия, где наказания, воспроизводимые во всех деталях на декоративных эшафотах, создавали бы народное празднество свода законов. Город-карцер с его воображаемой «геополитикой» управляется на совершенно других началах. Выдержка из «La Phalange» напоминаст нам важнейшие из них. О том, что в центре этого

[11] *La Phalange*, 10 août 1836.

города и словно для того чтобы удерживать его на месте, находится не «центр власти», не сеть силы, а разветвленная сеть различных элементов – стены, пространство, учреждение, правила, дискурс. Что, следовательно, моделью города-карцера является не тело короля с исходящими от него властями, не объединение волеизъявлений в договоре, рождающее индивидуальное и вместе с тем коллективное тело, но стратегическое распределение элементов различной природы и уровней. Что тюрьма – не дочь законов, кодексов или судебного аппарата; что она не подчиняется суду и не является послушным или негодным инструментом исполнения судебных приговоров или достижения желанных для суда результатов; что как раз суд занимает внешнее и подчиненное положение по отношению к тюрьме. Что в своем центральном положении тюрьма не одинока, но связана с целым рядом других «карцерных» механизмов, которые представляются достаточно самостоятельными (поскольку их назначение – облегчение страданий, лечение и помощь), но которые, подобно тюрьме, все расположены отправлять нормализующую власть. Что эти механизмы применяются не к нарушениям «основного» закона, но к аппарату производства – к «торговле» и «промышленности», – ко всему множеству противозаконностей во всем многообразии их природы и происхождения, их специфической роли в прибыли и в различном отношении к ним карательных механизмов. И что в конечном счете главное для всех этих механизмов – не унитарное функционирование аппарата или института, а необходимость борьбы и правила стратегии. Что, следовательно, понятия институтов репрессии, отторжения,

исключения и маргинализации непригодны для описания образования, в самом сердце города-карцера, коварной мягкости, неявных колкостей, мелких хитростей, рассчитанных методов, техник, наконец, «наук», позволяющих создать дисциплинарного индивида. В этом центральном и централизованном человечестве, результате и инструменте сложных отношений власти, в телах и силах, подчиненных многочисленным механизмам «заключения», в объектах дискурсов, которые сами являются элементами этой стратегии, мы должны слышать далекий гул сражения[12].

[12] Здесь я прерываю книгу, которая должна служить историческим фоном для различных исследований о власти нормализации и формировании знания в современном обществе.

Список иллюстраций

1. Н. Эндри, 1749. Ортопедия, или Искусство предупреждения и исправления уродств тела у детей

2. Памятная медаль о первом военном параде, проведенном Людовиком XIV в 1666 г. (Национальная библиотека, Комната медалей)

3–4. П. Жиффар, 1696. Французское военное искусство*

Опустить ружье. Команда выполняется в четыре такта. Раз: вытянуть правую руку против ворота, мушкет держать прямо, за приклад. Два: опустить мушкет ниже пояса и, приподняв левую руку, положить ее на край ствола мушкета. Три: опустить приклад мушкета. Четыре: сдвинуть правую руку до левой.

Поднять труты. Команда выполняется в четыре такта. Раз: поставить носок правой ноги в четырех пальцах от трута, правая рука вытянута на уровне ворота. Два: согнуться, икру держать прямо, правое колено чуть согнуть и взять трут пальцами правой руки. Три: выпрямиться, приставив правую

ногу к левой; вдвинуть приклад внутрь и взять трут левой рукой. Четыре: приложить мушкет к плечу и вытянуть правую руку вдоль ляжки

5–6. Планы, приложенные к Указу о строительстве казарм от 25 сентября 1719 г.

7. П. Ж. Жоли де Мэзеруа, 1777. Теория войны

Лагерь на 18 батальонов и 24 эскадрона. 1. Лагерь пехоты. 2. Лагерь кавалерии. 3. Лагерь легких войск. 4. Гвардейцы. 5. Охрана лагеря. 6. Штаб-квартира. 7. Артиллерийский склад. 8. Продовольственный склад. 9. Редут

8. Образец для письма (Историческая коллекция Национального института педагогических исследований)

9. Наваррский коллеж. Рисунок и гравюра Николя Мартинэ, ок. 1760. (Историческая коллекция Национального института педагогических исследований)

10–11. Интерьер школы взаимного обучения на улице Порт-Магон, урок письма. Литография Ипполита Леконта, 1818. (Историческая коллекция Национального института педагогических исследований)

12. Б. Пуае, 1786. Проект больницы

13. Ж. Ф. Неффорж. Проект больницы. Учебник по архитектуре (1757–1780)

14. Версальский зверинец эпохи Людовика XIV. Гравюра Авелина

15. План работного дома в Генте, 1773

Корпус заключенных; сторожевое помещение; женский двор; двор бродяг; двор преступников

16. Ж. Ф. Неффорж. Проект тюрьмы. Учебник по архитектуре (1757–1780)

17. И. Бентам. План Паноптикона (The Works of Jeremy Bentham. Ed. Bowring, v. IV, p. 172–173)

18–19. Н. Гару-Ромэн, 1840. Проекты исправительных тюрем

20. Н. Гару-Ромэн, 1840. Проект исправительной тюрьмы

План камер в разрезе.

Каждая камера состоит из передней, спальни, мастерской, прогулочной галереи. Во время молитвы входная дверь открыта и заключенный стоит на коленях (эскиз в центре)

21. Н. Гару-Ромэн, 1840. Проект исправительной тюрьмы.

Заключенный молится в камере против центральной надзорной башни

22. А. Блуэ, 1843. Проект тюрьмы на 585 заключенных

23. План тюрьмы в г. Мазас

24. Парижская тюрьма Петит-Рокет

25. Центральная тюрьма в г. Ренн в 1877 г.

26. Интерьер Стейтвилльской исправительной тюрьмы, США, XX век

27. Отбой в колонии в Меттрэ

28. Лекция о вреде алкоголизма в тюремной аудитории в г. Фрэн

29. Двусторонняя паровая машина для наказания девочек и мальчиков

Отцы и Матери, Дядюшки, Тетушки, Опекуны и Опекунши, Учителя и Учительницы Пансионов и вообще все, у кого есть Дети ленивые, чревоугодники, непослушные, строптивые, дерзкие, драчуны, сварливые, ябеды, болтуны, безбожники или имеющие какой-либо порок, извещаются, что Господин Бука и Госпожа Старье-Берем установили в каждом округе Парижского муниципалитета такую же машину и что во всех заведениях, где она установлена, ежедневно с полудня до двух принимают дурных детей, коих необходимо наказать и исправить.

Господа Серый Волк, угольщик Хвать-в-мешок, Ненасытный Обжора и Госпожи Свирепая Пантера, безжалостная Старая Хрычовка и Пьянчуга, друзья и родственники Господина Буки и

Госпожи Старье-Берем вскоре построят подобные машины для провинциальных городов и отправятся туда, чтобы руководить экзекуцией. Низкая себестоимость наказания, осуществляемого Паровой Машиной, и производимые ею удивительные эффекты побудят родителей прибегать к ней столь часто, сколь того потребует плохое поведение их детей. Берут на пансион неисправимых детей и кормят их хлебом и водой.

Гравюра конца XVIII века. (Историческая коллекция Национального института педагогических исследований)

На гравюре: наверху – перечень розг; слева направо: сторона для мальчиков; машина работает на дешевом топливе – на игрушках, отнятых у дурных детей; сторона для девочек

30. Н. Эндри, 1749. Ортопедия, Или искусство предупреждения и исправления уродств тела у детей

Примечания переводчика

I. КАЗНЬ

Глава 1

Тело осужденного

С. 7. * Дамьен Робер-Франсуа (1715–1757) – солдат, впоследствии слуга. Нанес удар ножом Людовику XV. Был четвертован в Париже на Гревской площади.

С. 13. * Имеется в виду четвертый год после Французской революции.

С. 15. * Жан-Франсуа Реаль (1757–1834), граф – франц. политический деятель, прокурор в Шатле, друг Дантона, префект полиции во время Ста дней. Отправлен в ссылку как цареубийца в 1816, амнистирован в 1818 г.

С. 20. * Жозеф Игнаций Гильотэн (1738–1814) – франц. врач, депутат; в 1789 г. по его предложению Национальное собрание приняло решение об использовании орудия казни,

названного «гильотиной».

** *Луи Мишель Ле Пелетье де Сен-Фаржо* (1760–1793) – франц. политический деятель, председатель Учредительного собрания в 1790 г.; в 1792 г. был выбран в Конвент. Проголосовал за казнь Людовика XVI и был убит роялистом.

С. 22. * Джузеппе Фиески (1790–1836). Осужденный за кражи и мошенничество на Корсике, перебрался в Париж, где некоторое время был тайным агентом полиции. Испытал влияние республиканских движений, организовал заговор против Июльской монархии. Когда в 1835 г. Людовик-Филипп со свитой ехал в Бастилию на праздник революции 1830 г., бросил бомбу. Королевская семья не пострадала, но было девятнадцать убитых; Фиески и его сообщники были приговорены к смерти и казнены.

С. 23. * Habeas Corpus Act (*лат.*) – Хабеас Корпус, конституционный закон Великобритании о правилах ареста и привлечения к суду (1679), защищавший неприкосновенность личности; согласно этому акту в течение установленного срока должно проводиться судебное разбирательство для установления законности ареста.

** Пеллегрино Росси (1787–1848), граф – итал. дипломат, юрист и экономист, принявший французское гражданство. Убит неизвестными.

С. 26. * Габриель Бонно де Мабли (1709–1785) – франц. историк и философ, автор труда «Публичное право в Европе, основанное на трактатах».

С. 28. * Этьен Жан Жорже (1795–1828) – франц. врач-психиатр, автор труда «О безумии»; настаивал на церебральной природе безумия.

С. 38. * Hopital general – центральная парижская испра-

вительная богадельня. Spinhuis и Rasphuis – Спинхёйс и Распхёйс, голландские тюрьмы. См. их описание в гл. «Мягкость наказаний».

С. 43. * Уильям Петти (1623–1687) – английский врач и экономист. Автор труда «Политическая анатомия».

Глава 2

Блеск казни

С. 49. * Имеется в виду Большой Шатле – крепость, разрушенная в 1802 г. Располагалась на правом берегу Сены, напротив Моста Менял, и являлась местом заседания парижского верховного уголовного суда, возглавляемого виконтом и судьей.

** Этьен Франсуа де Шуазоль (1719–1785), герцог – франц. политический деятель.

С. 50. * Франсуа Арнэ де Жокур (1757–1852), граф – франц. политический деятель, бонапартист.

С. 51. * Утонченнейших агоний (*англ.*).

С. 58. * Очевидность вещей (*лат.*).

С. 59. *Или законное убеждение, или добровольное признание (*лат.*).

С. 61. * Анри Франсуа д'Агессо (1668–1751) – франц. магистрат и политический деятель; прокурор, впоследствии канцлер. Отец законодательной реформы.

С. 62. * Все в этом мире смертны (*лат.*).

С. 68. * Джамбаттиста Вико (1668–1744) – итал. историк и философ.

С. 72. * Примат императора (*лат.*).

С. 76. * Палач (*лат.*).

С. 80. * Оскóрбление величества (*лат.*).

** Франсуа Раваяк (1578–1610) – слуга, затем школьный учитель. Под влиянием кампании против политики Генриха IV, оправдывавшей цареубийство во имя спасения страны, достиг своей цели 14 мая 1610 г. на улице Ферронри. Был приговорен к публичным пыткам и последующему четвертованию.

*** Вильгельм Оранский-Нассау (1533–1584) по прозвищу Молчаливый – нем. принц. Противник испанского абсолютизма, поборник протестантизма. Начал войну с Испанией. Был убит фанатиком.

С. 92. * Жан Калас (1698–1762) – тулузский торговец-кальвинист. Скрыл факт самоубийства своего старшего сына и был обвинен в убийстве сына с целью предотвращения его перехода в католичество, приговорен к колесованию и казнен. Его родные с помощью Вольтера и де Бомона доказали факт судебной ошибки и добились реабилитации (1765). Дело Каласа стало примером нетерпимости католиков и преследования протестантов. Пьер-Поль Сирвен (1709–1777) – франц. протестант. Был обвинен в убийстве одной из своих дочерей, которая в действительности покончила самоубийством (1762). Бежал в Швейцарию. Был заочно приговорен к смерти, но в результате усилий Вольтера реабилитирован Тулузским парламентом (1771). Шевалье де Ла Барр (Жан-Франсуа Лефевр, 1747–1766) – франц. дворянин. Был обвинен в том, что не снял шляпу перед церковной процессией и искалечил распятие, приговорен Аббевильским трибуналом к отсечению ладони, вырыванию языка и сожжению заживо. Апеллировал к парижскому парламенту, который заменил предыдущий приговор на отрубание головы и последующее сожжение. Несмотря на требования Вольтера, дело не было

пересмотрено. Был реабилитирован лишь в 1793 г. Конвентом. В XIX в. воспринимался как жертва деспотического всемогущества Церкви.

С. 99. * Луи Доминик по прозвищу Картуш (1693–1721) – франц. бандит, главарь банды, наводившей ужас на Париж и предместье. Долго уходил от полиции, был арестован по доносу и сожжен заживо в Париже на Гревской площади. Луи Мандрэн (1725–1757) – франц. разбойник. Дезертировал из армии, стал главарем контрабандистов, создал организованную и дисциплинированную банду, совершавшую дерзкие нападения исключительно на налоговые управления и сборщиков налогов. Снискал большую популярность в народе. Был арестован по доносу и казнен.

С. 100. * Пьер Луи Лакретель Старший (1751–1724) – франц. юрист. Адвокат в Парижском парламенте, депутат законодательного собрания. Автор трудов о морали и праве.

** Томас Де Квинси (1785–1859) – англ. писатель. Употреблял наркотики, написал «Исповедь английского курильщика опиума», а также ироническое эссе «Об убийстве как одном из изящных искусств».

*** «Отрантский замок» (1764) – роман английского писателя Хораса Уолпола (1717–1797).

С. 101. * Эмиль Габорио (1832–1873) – франц. писатель. Автор имевшего большой успех и изобиловавшего неожиданными поворотами детективного романа «Дело Леружа», а также множества других произведений в том же духе.

II. НАКАЗАНИЕ

Глава I

Общие принципы наказания

С. 106. * Жозеф де Местр (1753–1821), граф – франц. политический деятель, писатель и философ. Член Савойского Сената, впоследствии – посланник Шарля-Эммануэля в Санкт-Петербурге, где сдружился с Александром III. Убежденный противник Революции, свои монархические настроения и приверженность к папской власти утверждает в «Соображениях о Франции» и в трактате «О папе».

С. 107. * Не тронь меня (*лат.*).

С. 108. * Жозеф Серван де Жербэ (1741–1808) – франц. генерал, автор «Проекта конституции французской армии». Пьер Луи Лакретель Старший – см. прим. к С. 100. Адриен Жан Франсуа Дюпор (1759–1798) – франц. политический деятель. Пьер Пасторэ (1756–1840) – франц. политический деятель, профессор права, автор «Истории законодательства». Ги Жан-Батист Тарже (1733–1807) – магистрат, адвокат при парижском парламенте. Участвовал в составлении гражданского и уголовного кодексов. Член французской Академии.

С. 110. * Гийом Франсуа Ле Трон (1728–1780) – магистрат, автор трудов по экономическим и финансовым вопросам, таких как «Аналитическое исследование налоговой коммерции», «О социальном порядке», «Об администрации провинций и налоговой реформе».

С. 113. * Жак-Гийом Турэ (1746–1794) – франц. политический деятель, депутат генеральных штатов, президент кассационного суда. Способствовал учреждению суда присяжных и выступал против излишеств режима Террора. Был ги-

льотинирован.

С. 114. * Представитель королевской власти, имеющий неограниченные полномочия в одной или нескольких провинциях.

** Королевский магистрат, занимающийся гражданскими или юридическими делами.

*** Непосредственный представитель королевской власти в полицейской области.

С. 115. * Источник правосудия (*лат.*).

С. 118. * Жак Пьер Бриссо де Варвиль (1754–1794) – журналист и политический деятель. Сторонник новых идей, основатель газеты «Французский патриот» и Общества друзей негров, член клуба якобинцев. Автор «Теории уголовных законов».

** Рене Николя Шарль Огюстен де Мопу (1714–1792) – политический деятель. Канцлер Франции. Сослал непокорных парламентариев и инициировал реформы, с тем чтобы успокоить общественное мнение. Эта попытка установления деспотии прекратилась со смертью Людовика XV.

С. 121. * См. прим. к С. 99.

С. 122. * Жан-Батист Кольбер (1619–1683) – политический деятель. Начал карьеру при Мазарини. Его экономическая система получила название «кольбертизм»: он ратовал за создание жестко регламентированных государственных мануфактур, работающих на экспорт. Результатом должно было стать расширение экспорта, образование монополий и колониальная экспансия. Кольбер пожертвовал сельским хозяйством: блокировал цены, с тем чтобы низкие зарплаты способствовали экспорту. Жесткие правила, послужившие

вначале фактором успеха, стали препятствием для развития промышленности. Экономическая борьба могла лишь способствовать войне. Постепенно влияние Кольбера уменьшилось.

С. 137. * Французское слово «peine» означает: наказание, кара, казнь, а также горе, страдание, затруднение.

С. 145. * Шведский натуралист Карл Линней (1707–1778) составил классификацию видов в ботанике, а затем в биологии по двоичной номенклатуре (каждое живое существо определялось по роду и виду).

С. 146. * Восьмой месяц республиканского календаря.

С. 149. * Идеологи – группа французских философов конца XVIII – начала XIX веков (Кабанис, Дестют де Траси, Вольнэ и др.). В своих исследованиях формирования общих идей и связей между ними отводили важное место анализу языка, грамматике и логике. Некоторые из идеологов активно участвовали в реформе образования после Террора.

Глава 2

Мягкость наказаний

С. 160. * Адриен Жан Франсуа Дюпорт (1759–1798) – политический деятель, адвокат, первый председатель парижского парламента, впоследствии канцлер Франсуа I-го и архиепископ.

** Жан-Поль Рабо де Сент-Этьен (1743–1793) – политический деятель. Вначале протестантский пастор, он стал депутатом от третьего сословия в Генеральных штатах и выступал против духовенства.

С. 163. * Аббат Габриель-Леопольд-Шарль-Эмэ Бексон (1748–1784) – натуралист и историк.

С. 169. * Шарль Франсуа Мария де Ремюза (1797–1875), граф – политический деятель. Либеральный депутат, затем министр иностранных дел, впоследствии – министр внутренних дел. Участвовал в составлении конституционных законов.

С. 170. * Эли Деказ, герцог де Глюксберг (1780–1860) – франц. политический деятель, адвокат, судья, префект и министр полиции после Фуше. Глава правительства после падения кабинета Ришелье.

* «Ле Монитор универсель» – политическая газета (основана в 1789 г.), где публиковались отчеты о прениях в Конституанте. С 1799 г. становится официальным вестником французского правительства.

С. 173. * Нивернэ – область Бургундии между Морванским горным массивом и Луарской долиной.

С. 174. * Руссийон – историческая область Франции, границы которой почти полностью соответствовали нынешнему Пиренейскому департаменту. Была уступлена Францией Арагону. Возвращена Франции (1659) по Пиренейскому договору.

** Для заключения человека, не для наказания (*лат.*).

С. 175. * Фаларис – древнегреч. тиран, известный своей чудовищной жестокостью. Так, он жарил своих врагов в пасти бронзового быка. Ему приписываются (ложно) «Послания Фалариса», содержащие апологию тирании.

С. 177. * Жан Мабийон (1632–1707) – франц. бенедиктинец.

III. Дисциплина

Глава 1

Послушные тела

С. 198. * Габриель де Лорж, граф де Монтгомери (1530–1574) – франц. полководец.

С. 203. * Маршал Морис де Сакс (Мориц Саксонский, 1696–1750), граф – франц. военный деятель.

С. 204. * Святой Жан-Батист де Ла Салль (1651–1719) – франц. священник, основавший «Братство христианских школ».

С. 205. * Гаспар Монж, граф де Пелюз (1746–1818) – франц. математик, механик и политический деятель. Полностью пересмотрел геометрию бесконечно малых тел, создал новый метод геометрического интегрирования.

С. 206. * Жан-Батист Трейляр (1742–1810) – франц. политический деятель. Государственный советник после переворота 18 Брюмера; участвовал в составлении гражданского кодекса.

С. 207. * На острове Индрэ, близ Нанта, располагается крупный завод судового машиностроения. Джон Уилкинсон (1728–1808) – английский промышленник, внедривший новые технологии в металлургию; построил много заводов; изобрел чугунные трубы для парижского водопровода.

** Ле Крезо – крупный металлургический завод, основанный в XVIII в. на месте угольной шахты

С. 210. * Расположенный в департаменте Сен Маритим торговый порт, основанный в 1666 г. как военный порт. Там же располагается Флотский госпиталь, созданный в XVIII в.

С. 211. * Кристоф Филипп Оберкампф (1738–1815) – франц. промышленник баварского происхождения. Основал в городе Жуи мануфактуру набивных тканей, а затем первую хлопкопрядильную фабрику в департаменте Эсон.

С. 212. * Термин «rang» (*франц.*) одновременно означает ранг, ряд, строй, шеренгу и т. д.

С. 215. * Tableau – таблица и картина (*франц.*).

С. 218. * Cellulaire – клеточная, но и камерная (*франц.*).

С. 219. * Морис де Нассау, принц Оранский (1567–1625). Наследовал своему отцу Вильгельму Молчаливому и сразу же показал себя великим полководцем. Одержал много побед.

** Густав II Адольф (1594–1632) – король Швеции (с 1611). Провел глубокую реформу государства и армии. Заключил перемирие с Данией, Россией и Польшей. В союзе с Францией участвовал в Тридцатилетней войне. Погиб в бою.

*** Себастьен ле Престр де Вобан (1633–1707) – комиссар по оборонительным сооружениям; окружил королевство укреплениями; возвел крупные порты, каналы и Иентенонский аквадук. Интересовался также техникой атаки и одержал много побед. Автор трудов по военному искусству и общей политике.

С. 228. * Расположена в 13-ом округе Парижа. Названа по имени красильщиков Гобеленов.

С. 230. * Парижская Военная школа, расположенная на Марсовом поле. Образована по желанию Мадам де Помпадур для военного обучения 500 дворян. Строилась в 1751–1769 гг.

С. 236. * Рюйсбрук Ян (1293–1381) – брабантский теолог

и мистик. Его религиозная философия легла в основу духовного движения Devotio Moderna. Придавал важное значение индивидуальной медитации.

** Иоганн Штурм (1507–1809) – немецкий гуманист, ректор протестантской гимназии.

С. 238. * Стейнкерк – местечко в Бельгии, где маршал Люксембургский одержал победу над Вильгельмом III Оранским.

Глава 2

Средства выверенной муштры

С. 252. * Отель-Дье, парижская больница, строилась в 1165–1260 гг. Расположена близ Собора Парижской Богоматери. Сгорела в 1772 г., вновь возведена на том же месте, затем разрушена при Второй Империи. Новая больница была построена в 1878 г.

** Жозеф Пари-Дюверне (1684–1777) – финансист, министр финансов королевства. Перестроил финансовую систему. Основал первую военную школу. Жак-Анж Габриель – архитектор и декоратор. Возвел, в частности, здание парижской Оперы и дворец Малый Трианон в Версале. Построил здание Военной школы.

С. 253. * Иеремия Бентам (1748–1832) – брит. философ, правовед и реформатор, автор «Введения в основания нравственности и законодательства», «Трактата о наказаниях и вознаграждениях» и др. Его брат Сэмюэль – архитектор и инженер.

С. 254. * Клод Николя Леду (1736–1806) – франц. архитектор. Создал радиально-концентрический план идеального города Арк-и-Сенана, где архитектурные формы выража-

ют специфическое назначение каждого здания. Арк-и-Сенан расположен близ Безансона. Проект Леду, один из самых монументальных в XVIII в., предусматривал целый промышленный город вокруг фабрики. Этот комплекс был вдохновлен «идеологией счастья» конца XVIII в., но подчиняется иерархическим и социальным императивам, свойственным организации труда в обществе с зарождающимся капитализмом. Автор труда «Архитектура в плане искусств, нравов и законодательства».

С. 269. * То есть педагогических училищ; игра слов.

С. 275. * Дисциплина делает воинов (*лат.*).

** Прелюдия к победам (*лат.*).

С. 283. * Один из героев популярного детского приключенческого романа «Путешествие вокруг Франции».

** «Роман о Розе» – Знаменитая французская дидактическая поэма XII в., написанная восьмистишием. Состоит из двух частей, представляющих собой два отдельных произведения. В первой повествуется об «искусстве любви» (роза – символ возлюбленной), во второй суммируется средневековое научное и философское знание. Мэри Барнс – автор вышедшего в 70–ых годах нашего века романа под названием «Мэри Барнс» – истории безумия героини. Маленький Ганс и президент Шребер – два примера из психоанализа Фрейда.

Глава 3

Паноптизм

С. 297. * Луи Ле Во (1612–1670) – франц. декоратор и архитектор.

С. 300. * Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) –

итал. художник, гравер и архитектор. Известен многочисленными гравюрами, где изображены тюрьмы.

С. 307. * См. прим. к С. 236.

С. 313. * Антуан Габриель де Сартин (1729–1801) – франц. политический деятель, генеральный полицейский наместник.

С. 314. * См. прим. к С. 254.

С. 319. * Орел – символ наполеоновской власти; солнце – символ власти Людовика XIV.

С. 330. * Джованни Баттиста Амичи (1786–1863) – итальянский оптик, астроном и натуралист. Значительно усовершенствовал микроскоп и изобрел объектив погружного микроскопа.

IV. ТЮРЬМА

Глава 1

Совершенные и строгие заведения

С. 342. * Жан-Антуан Шапталь, граф Шанелупский (1756–1832) – франц. химик и политический деятель. Министр внутренних дел в 1800–1804 гг.

** См. прим. к С. 170.

*** Луи Рене Виллермэ (1782–1863) – франц. врач и социолог. Автор трудов по политической и социальной экономии. Особенно прославился «Картиной физического и морального состояния рабочих хлопчатобумажных, шерсте- и шелкопрядильных фабрик», способствовавшей принятию закона об ограничении детского труда.

**** Жан-Батист Сильвер Гэй, граф де Мартиньяк (1778–1832) – франц. политический деятель. Глава правительства с 1828 по 1829 г.

С. 343. * Николя де Бонневиль (1760–1828) – франц. публицист.

** Гийом Мари Андрэ Феррюс (1832–1893) – франц. врач, генеральный инспектор домов для умалишенных, способствовал развитию системы таких домов во Франции.

*** Николя Аппер (1749–1841) – франц. промышленник, изобретатель консервов.

**** «Святая Пелагея» – бывшая французская тюрьма. Вначале заведение для «раскаявшихся девиц легкого поведения» (1662), затем арестный дом (1790), впоследствии департаментская тюрьма (1811). Разрушена в 1895 г.

С. 348. * Джордж Фокс (1624–1691) – основатель секты квакеров. В 1647 г. услышал призыв Святого Духа и стал проповедовать. Его последователи образовали «Общество друзей» или «квакеров» («дрожателей», согласно выражению Фокса, посоветовавшего одному судье «дрожать перед словом Божиим»). Квакеры отвергают литургию и духовенство и чтят лишь присутствие Святого Духа в индивидуальном сознании каждого из них. Они часто подвергались преследованиям и в 1654 г. перекочевали в Америку, где оказывали сильное влияние до XVIII в. благодаря Уильму Пенну, который 1682 г. основал колонию, названную Пенсильванией, и Филадельфию, и сформулировал конституцию и законы демократического и либерального государства, ставшие одним из источников законодательства Соединенных Штатов Америки.

С. 354. * однообразный механический труд (*англ.*).

С. 380. * Испанский художник Бартоломе Эстебан Мурильо (1618–1682) известен картинами, изображавшими детей, молодых нищих, воров.

С. 388. * Существовали при судах для содержания обвиняемых и подсудимых.

** Тюрьма, находящаяся в бывшем аббатстве в городке Лоосе на юго-востоке от Лиля.

С. 390. * Специально для этой цели (*лат.*).

С. 397. * Рокет – название двух тюрем, находившихся в Париже возле кладбища Пэр-Лашез. Большая Рокет (1830), административное место предварительного заключения, была снесена в 1899 г. Малая (Петит) Рокет (1832) становится после уничтожения тюрьмы Сен-Лазар женским арестным домом.

С. 410. * Ботани Бэй – залив с восточной стороны Австралии к югу от Сиднея. Открыт Куком в 1770 г. и сделан центром пенитенциарной колонии в 1788 г.

С. 415. * Франсуа Эжен Видок (1775–1857) – франц. полицейский. Был приговорен к восьми годам каторжных работ в Бресте; сумел убежать с третьей попытки. В 1809 г. становится начальником охранной бригады, в которую вербовались освобожденные каторжники, но уходит с этой должности в 1827 г. и основывает бумажную фабрику. Обанкротившись, возвращается в полицию, откуда его увольняют за организацию кражи. «Мемуары» Видока – примечательное свидетельство о преступных нравах эпохи и о воровском арго; изданные в 1828 г., они не были написаны самим Видоком. Вдохновил Бальзака на создание персонажа Вотрэна в

«Человеческой комедии».

** Персонаж романа Лезажа «История Жиля Блаза из Сантильяны». Юный «школьник» Жиль Блаз в вихре приключений легко меняет свою мораль в зависимости от обстоятельств.

С. 416. * Форс (дословно: крепость) – бывшая парижская тюрьма в квартале Марэ. Из долговой тюрьмы в 1780 г. в эпоху Революции она превращается в политическую тюрьму (Большая Форс) и женскую тюрьму (Малая Форс). Упразднена в 1850 г.

С. 417. * Герой романа Стендаля «Красное и черное» (1830).

С. 419. * Имеется в виду франц. перевод эссе Томаса Де Квинси, вышедшего в 1827 г.; см. прим. к С. 100.

С. 421. * «Парижские тайны» – роман Эжена Сю, первый роман с продолжением, снискавший огромный успех и способствовавший распространению гуманистических теорий. Рокамболь – персонаж, игравший значительную роль в многочисленных произведениях Понсона дю Террая; живописный герой, имевший сложные и экстравагантные приключения в Париже эпохи Второй империи; послужил прообразом многих героев романов с продолжением, например Фантомаса.

** Персонаж полицейских романов Мориса Леблана, воплощающий грабителя-джентльмена.

С. 428. * Богатый квартал на окраине Парижа.

Глава III. Карцер

С. 435. * Эрнст Генрих Вебер (1795–1878) – нем. анатом

и физиолог. Исследования по физиологии ощущений (в частности слуховых и осязательных) привели его к открытию «закона дифференциального порога»: для каждого типа ощущений существует постоянное соотношение между силой исходного возбудителя и минимальным изменением, которому эту силу требуется подвергнуть, чтобы ощутить разницу в ощущениях.

1/ Н. Эндри, 1749. Ортопедия, или искусство предупреждения и исправления уродств тела у детей

2/ Памятная медаль о первом военном параде, проведенном Людовиком XIV в 1666 г.

FIGURE LXVI.

Repoſez-vous ſur vos armes.

CE commandement s'éxecute en quatre temps : le premier, en étendant le bras droit vis-à-vis la cravatte, le mouſquet planté droit ſur ſa croſſe : le ſecond temps, en laiſſant gliſſer le mouſquet au deſſous de la ceinture de la culotte, & en hauſſant la main gauche au bout du canon du mouſquet : le troiſiéme, en laiſſant tomber la croſſe du mouſquet : & le quatriéme, en gliſſant la main droite pour la joindre à la main gauche.

FIGURE LXVI.

Reposez vous sur vos armes.

FIGURE LXX.

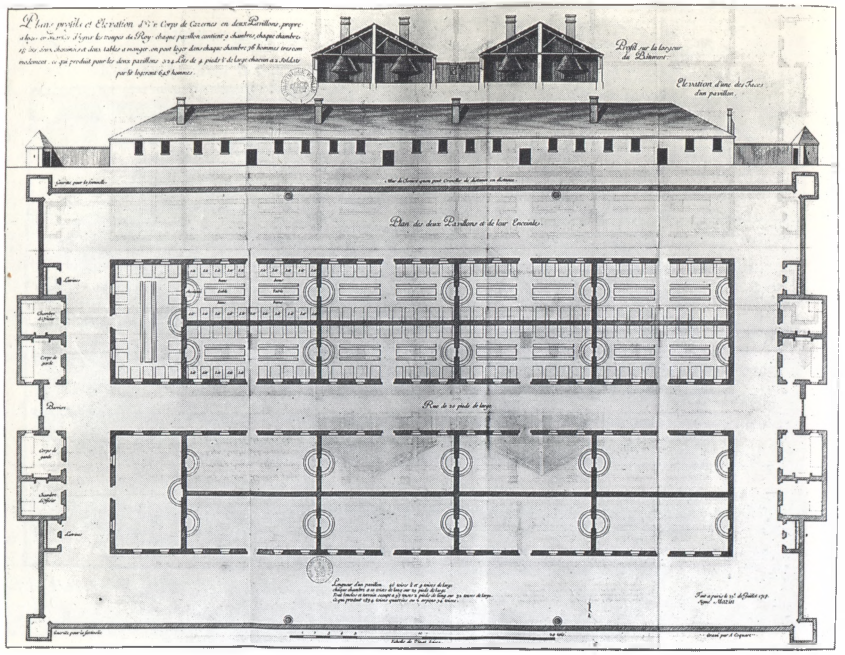
Reprenez vos meſches.

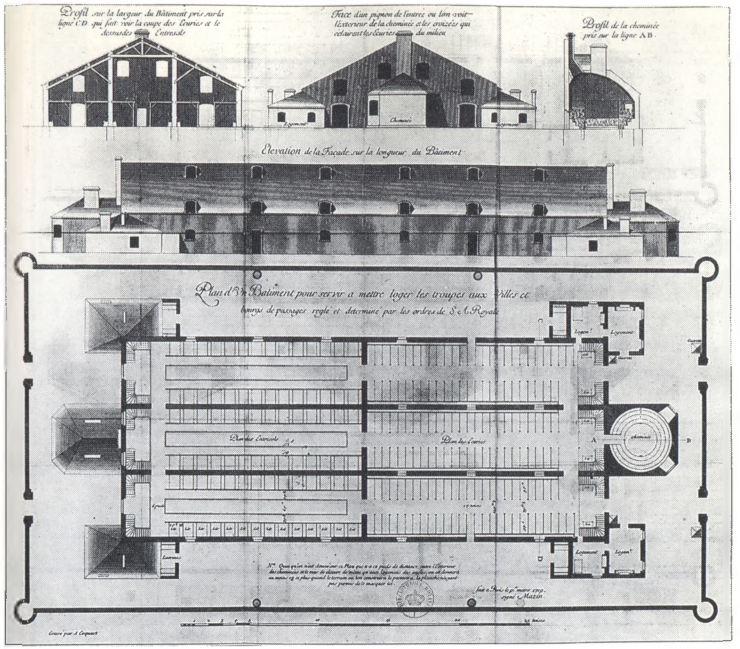
CE commandement s'éxecute en quatre temps : le premier eſt, d'avancer la pointe du pied droit à quatre doigts de la meſche, ayant le bras droit étendu à la hauteur de la cravatte : le deuxiéme eſt, de baiſſer le corps en tenant le jarret roide, & le genouil droit un peu plié pour prendre la meſche dans les doigts de la main droite : le troiſiéme temps eſt, de ſe relever droit en mettant le pied droit vis-à-vis du pied gauche, & en gliſſant la croſſe du mouſquet en dedans pour remettre la meſche dans les doigts de la main gauche : le quatriéme temps eſt, de repouſſer ſon mouſquet ſur l'épaule, & d'étendre le bras droit le long de la cuiſſe.

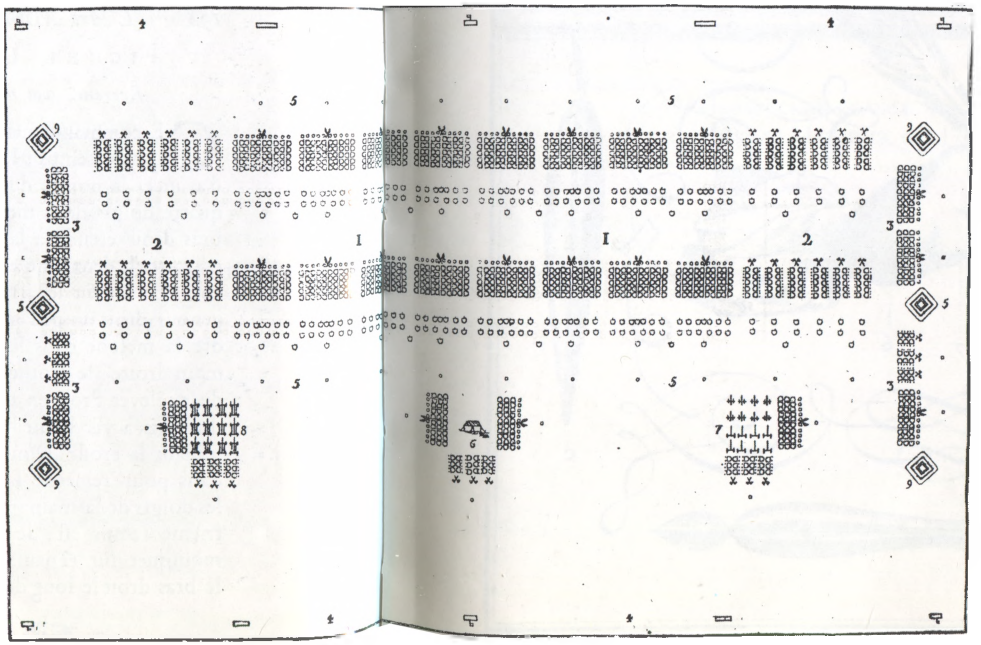
FIGURE LXX.

Reprenez vos méches

3/4/ П. Жиффар, 1696. Французское военное искусство

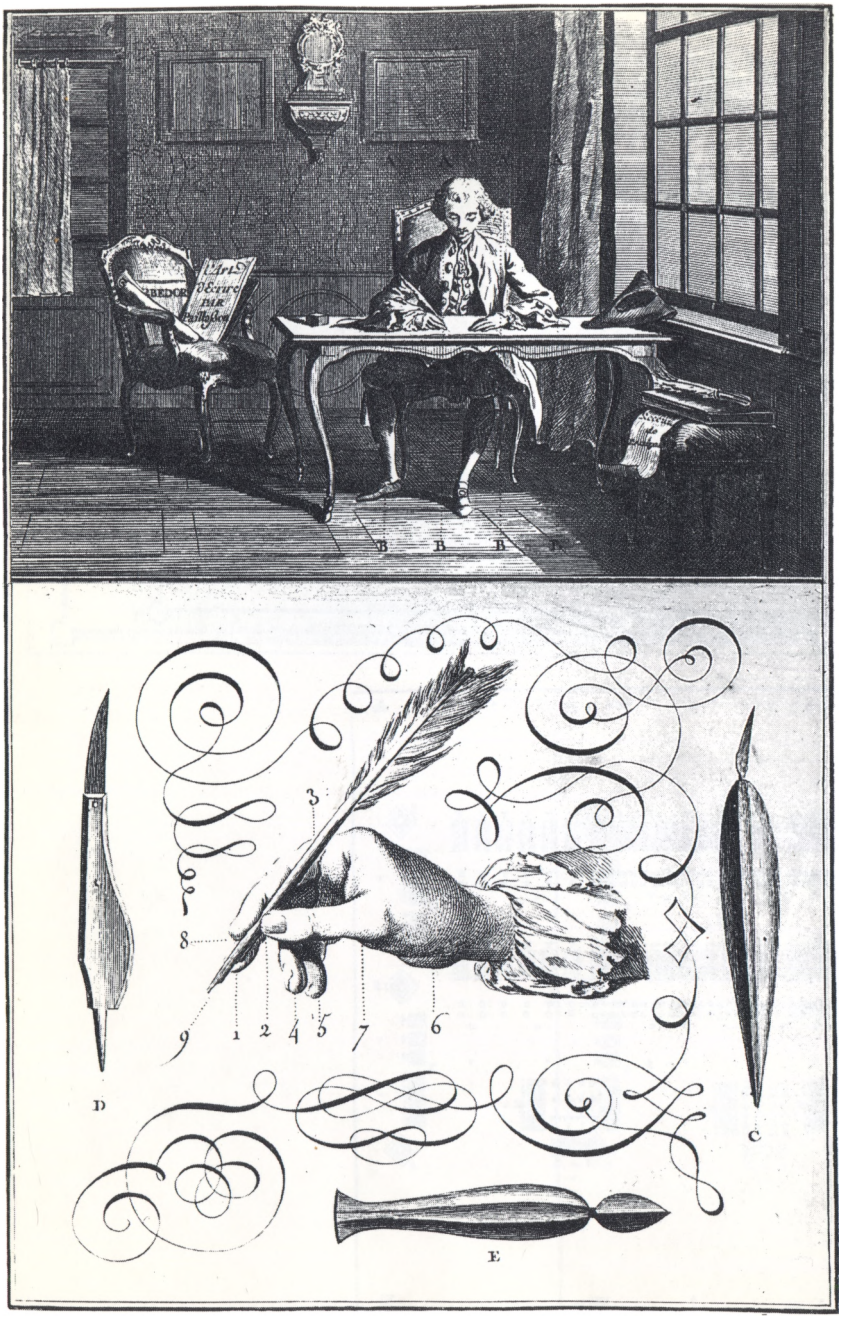




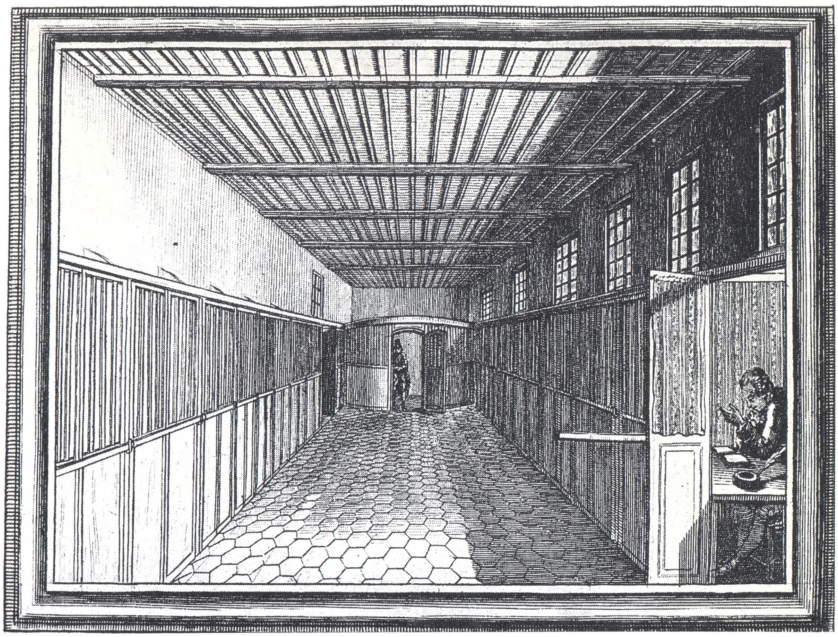


5/6/ Планы, приложенные к Указу о строительстве казарм от 25 сентября 1719 г.

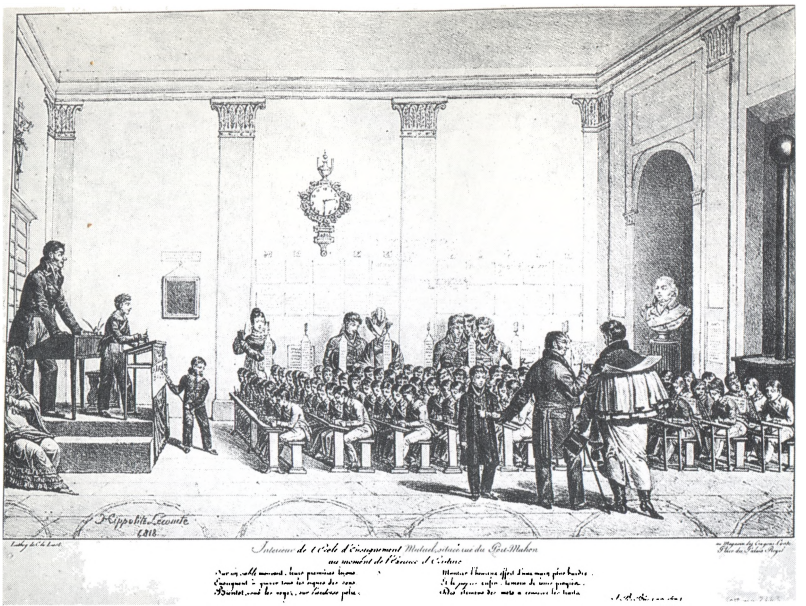
7/ П. Ж. Жоли де Мэзеруа, 1777. Теория войны

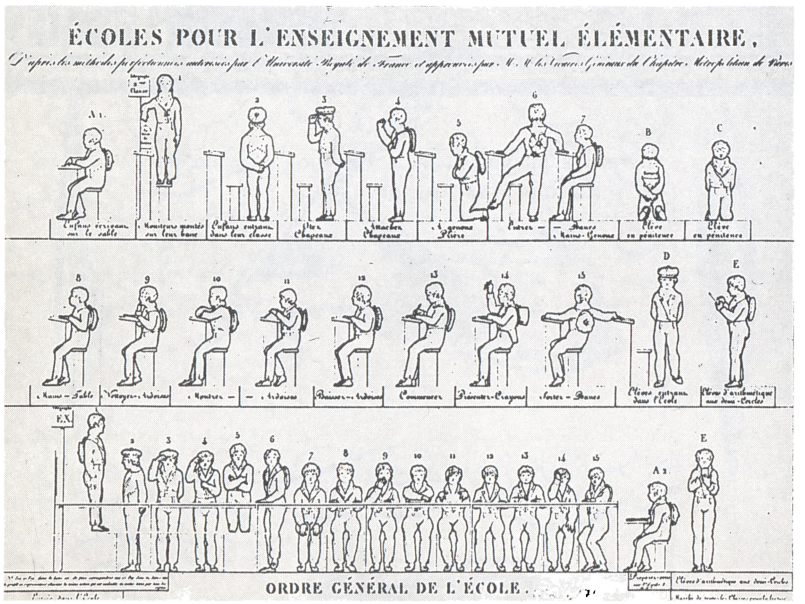


8/ Образец для письма

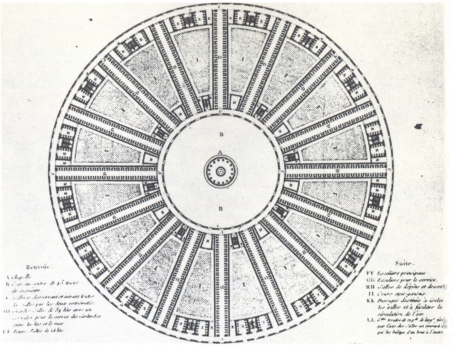


9/ Наваррский коллеж. Рисунок и гравюра Николя Мартинэ, ок. 1760.

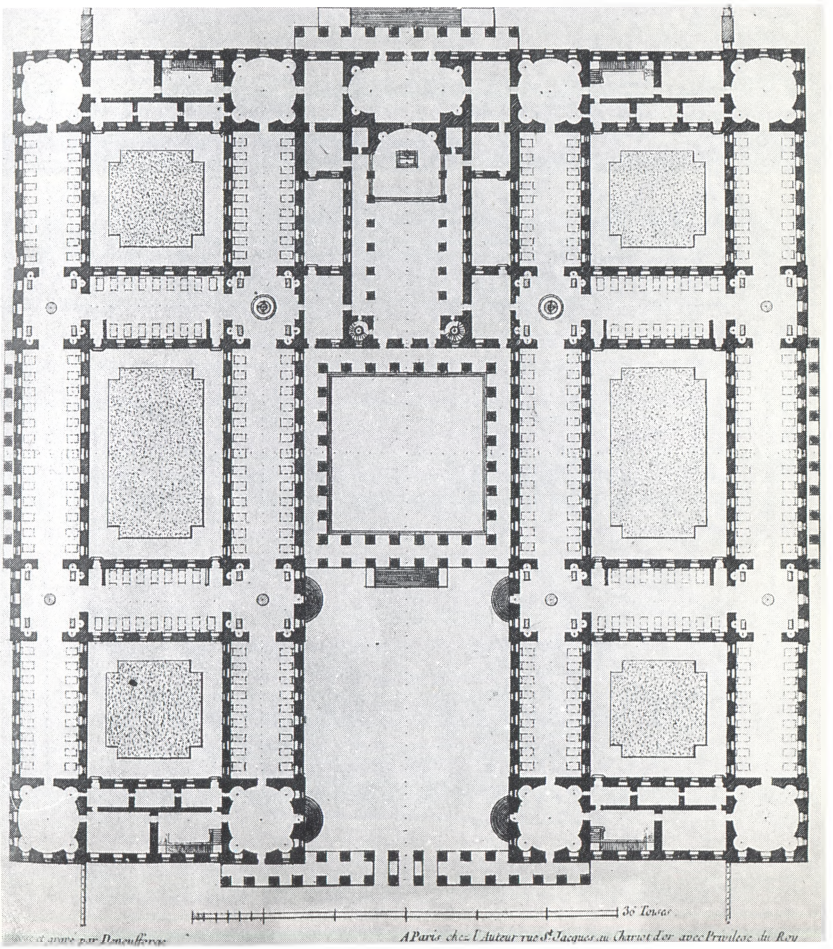




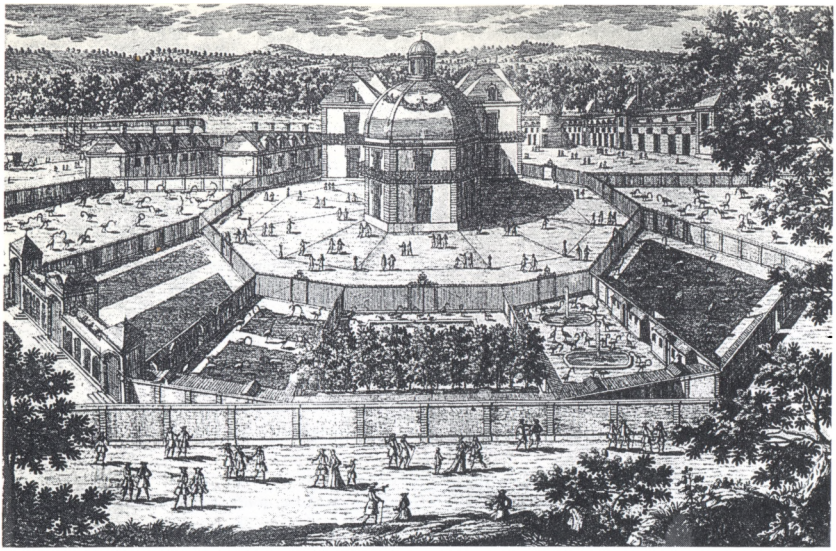
10/11/ Интерьер школы взаимного обучения на улице Порт-Магон, урок письма. Литография Ипполита Леконта, 1818.

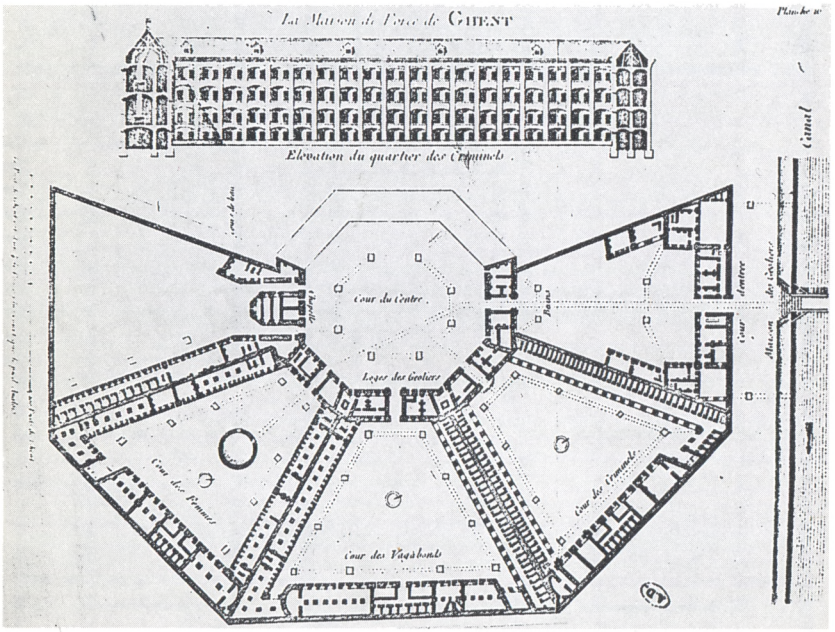


12/ Б. Пуае, 1786. Проект больницы



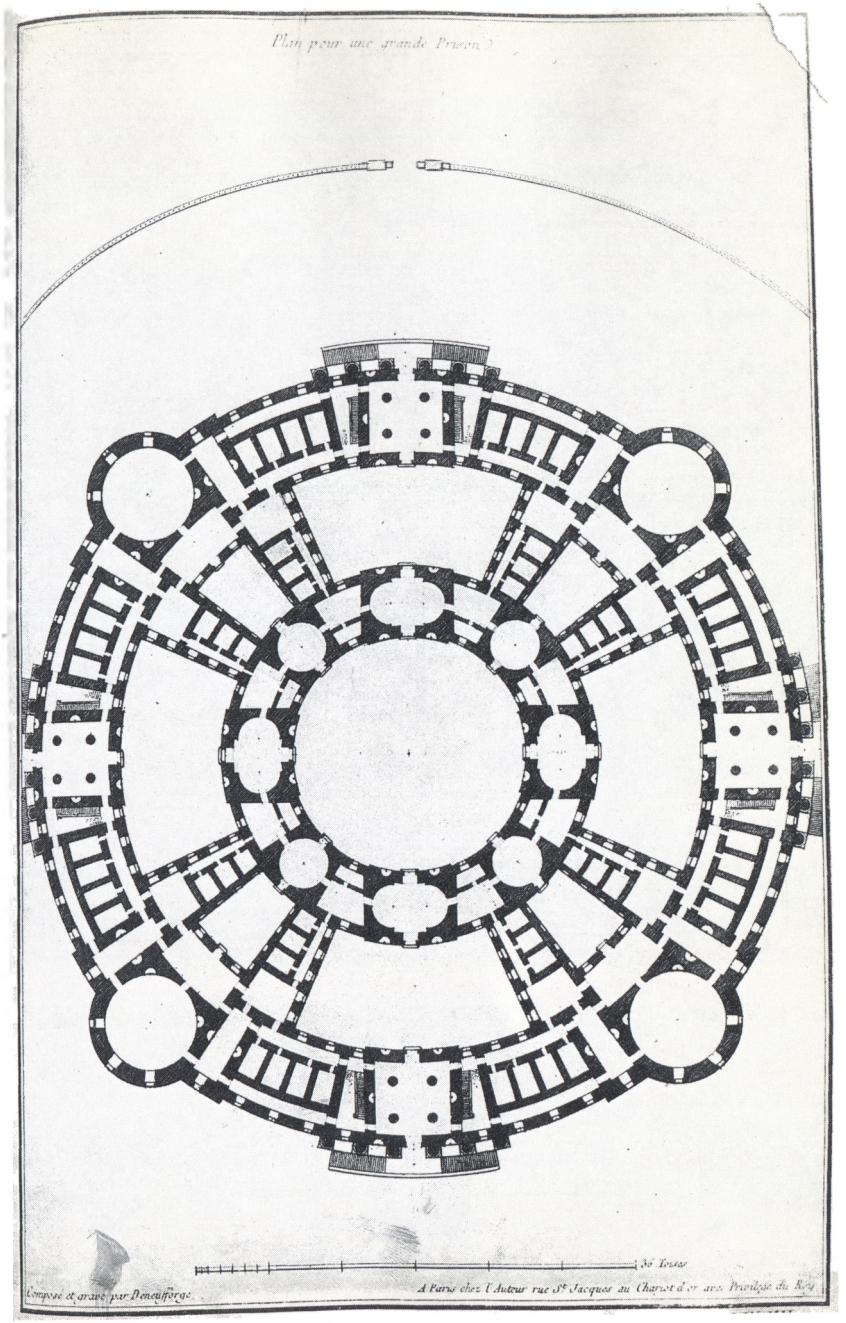
13/ Ж. Ф. Неффорж. Проект больницы.



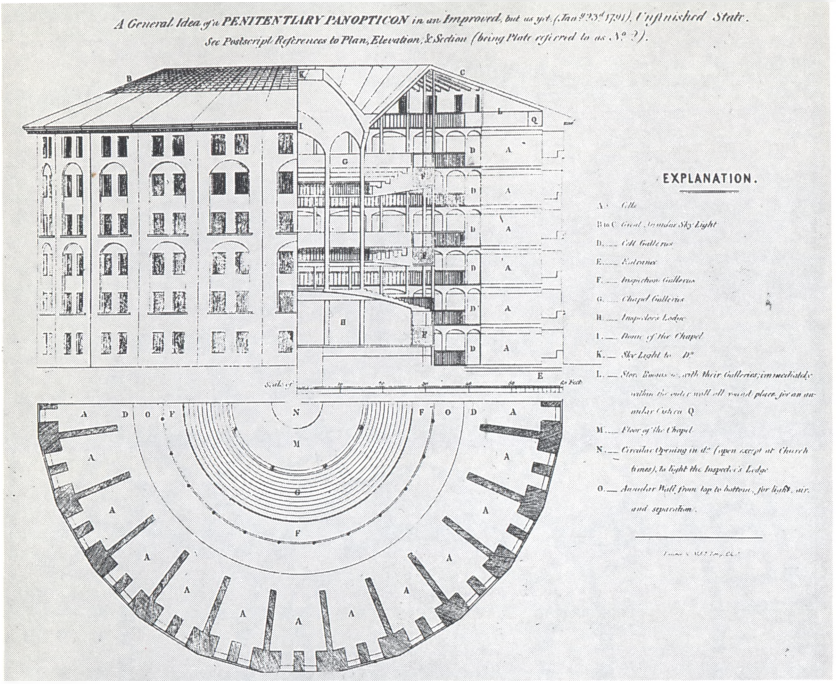


14/ Версальский зверинец эпохи Людовика XIV. Гравюра Авелина

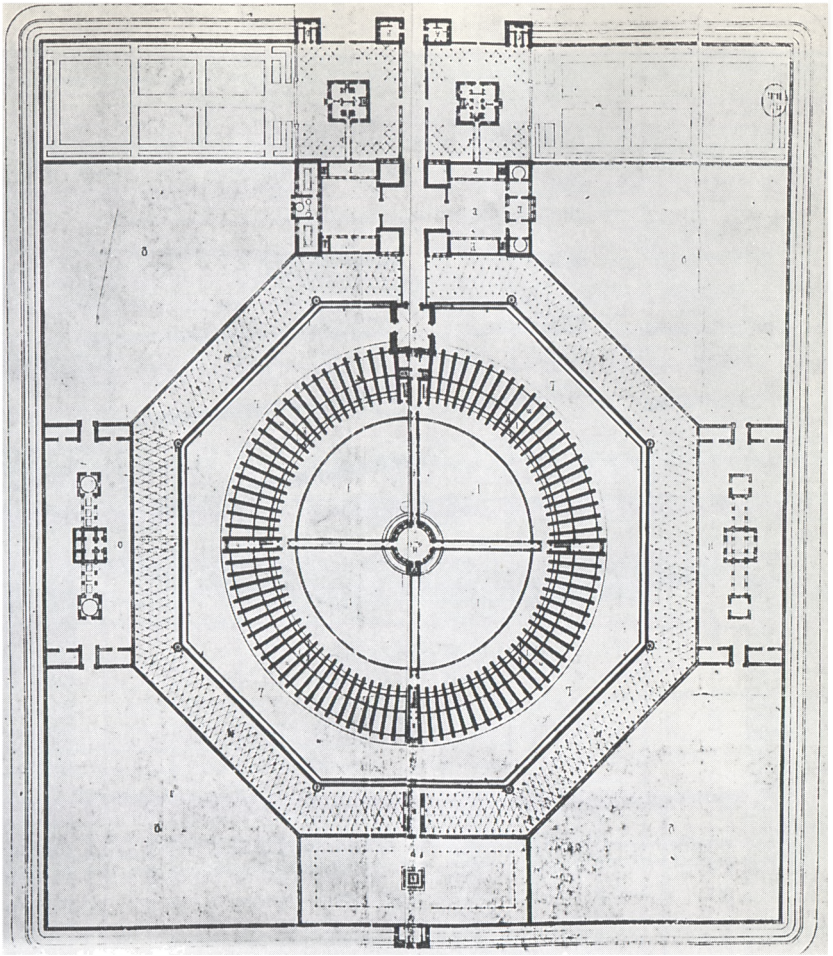
15/ План работного дома в Генте, 1773

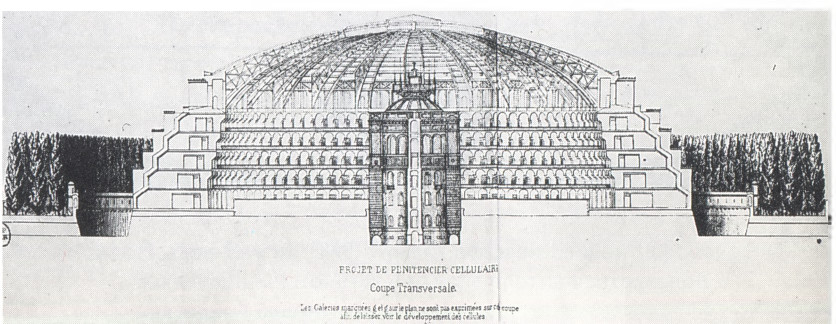


16/ Ж. Ф. Неффорж. Проект тюрьмы.

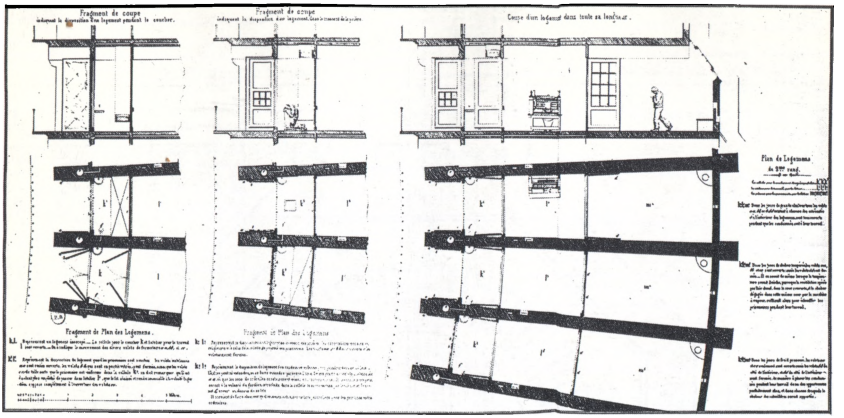


17/ И. Бентам. План Паноптикона

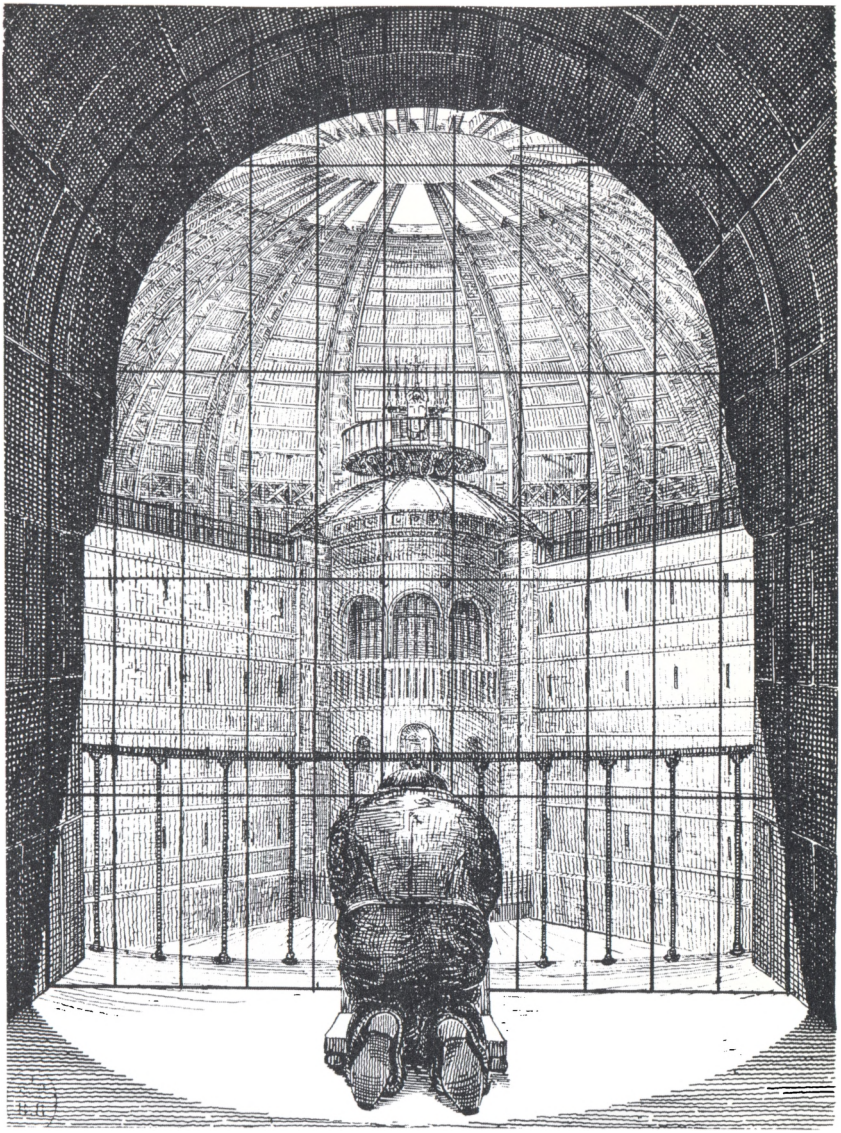




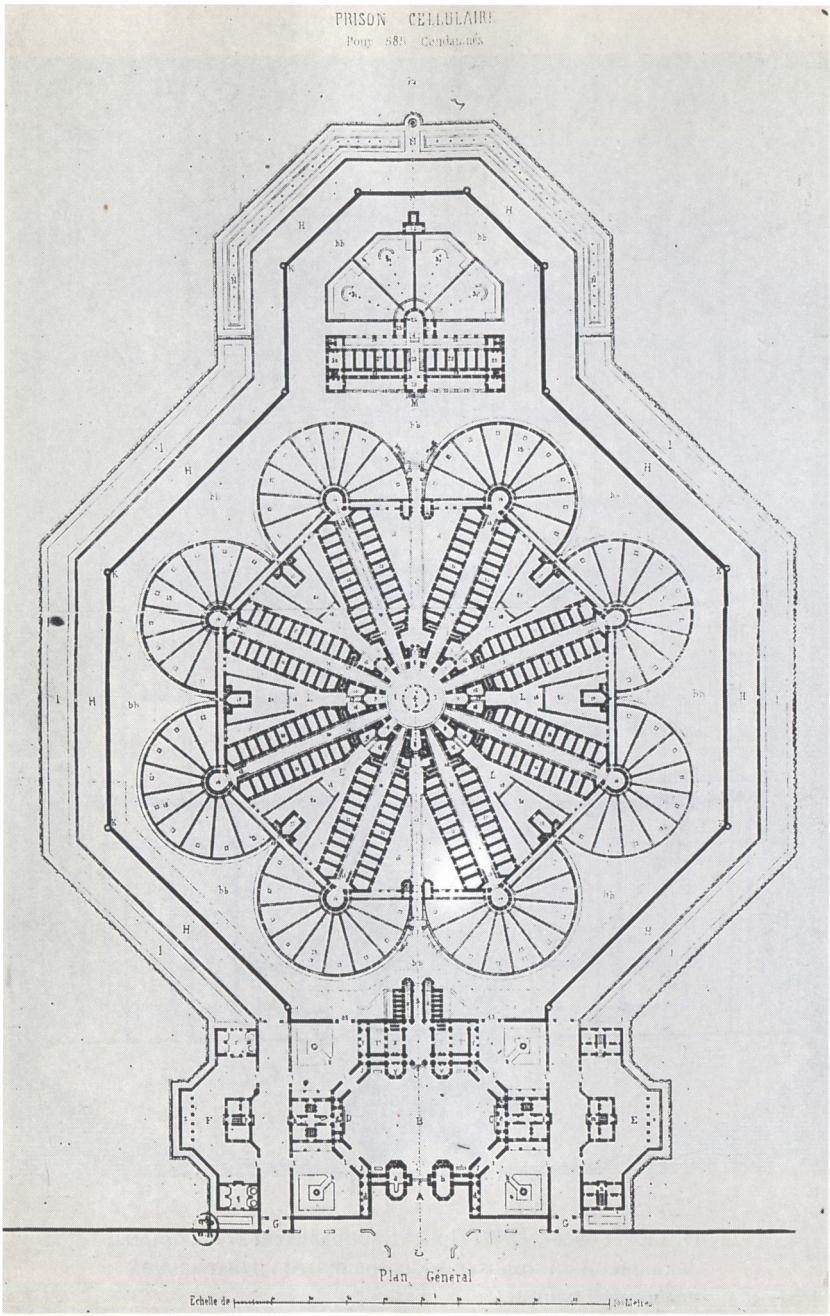
18/19 Н. Гару-Ромэн, 1840. Проекты исправительных тюрем



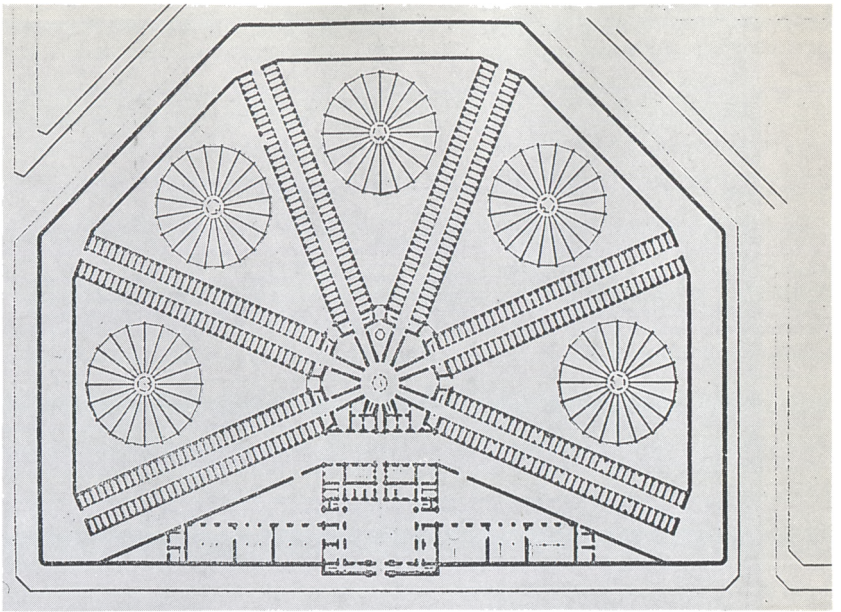
20/ Н. Гару-Ромэн, 1840. Проект исправительной тюрьмы.
План камер в разрезе.

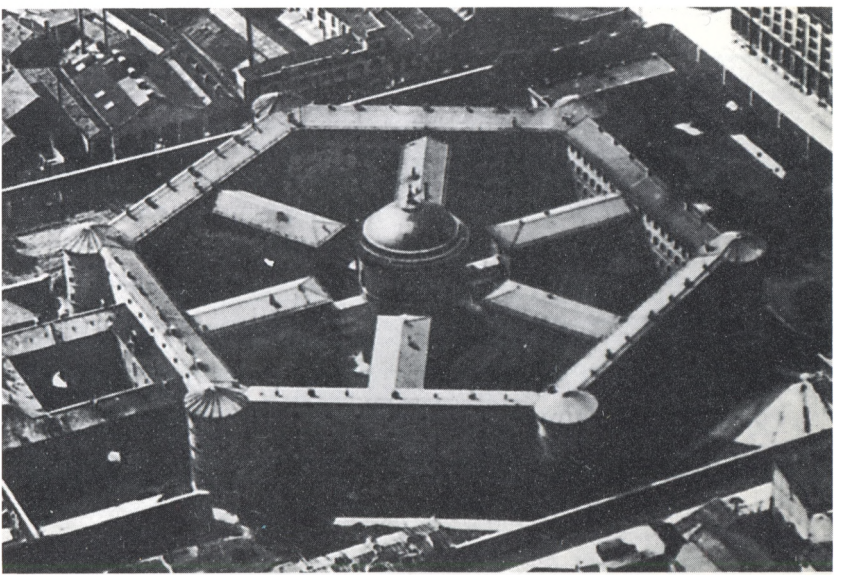


21/ Н. Гару-Ромэн, 1840. Проект исправительной тюрьмы. Заключенный молится в камере против центральной надзорной башни



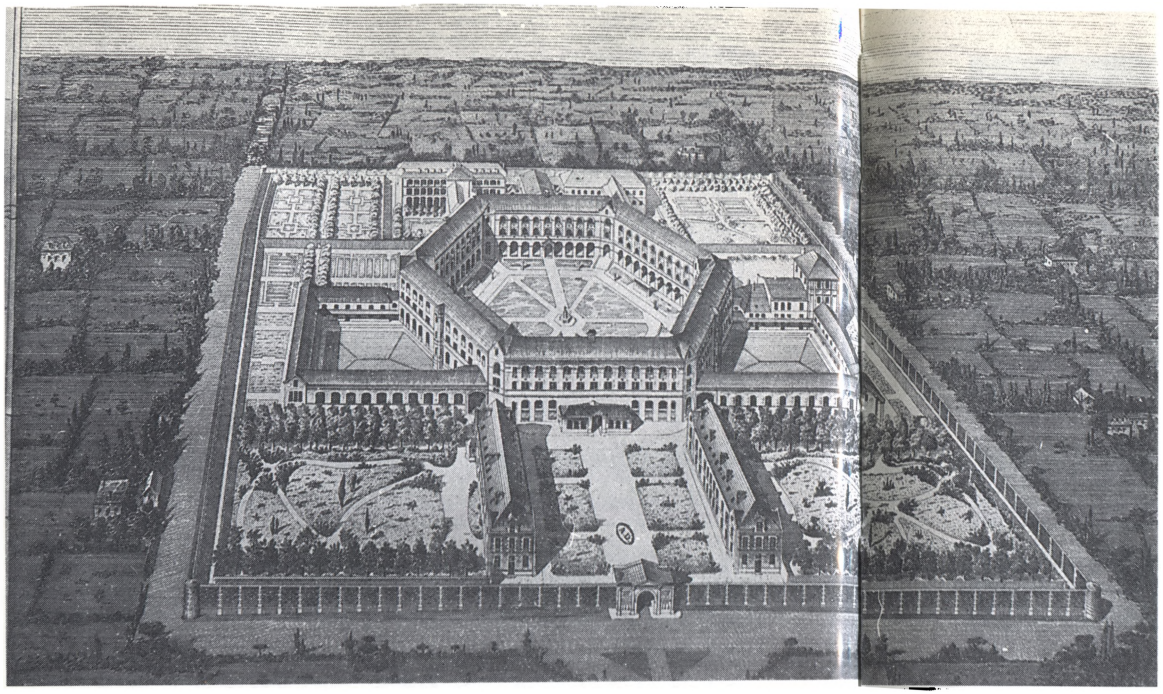
22/ А. Блуэ, 1843. Проект тюрьмы на 585 заключенных





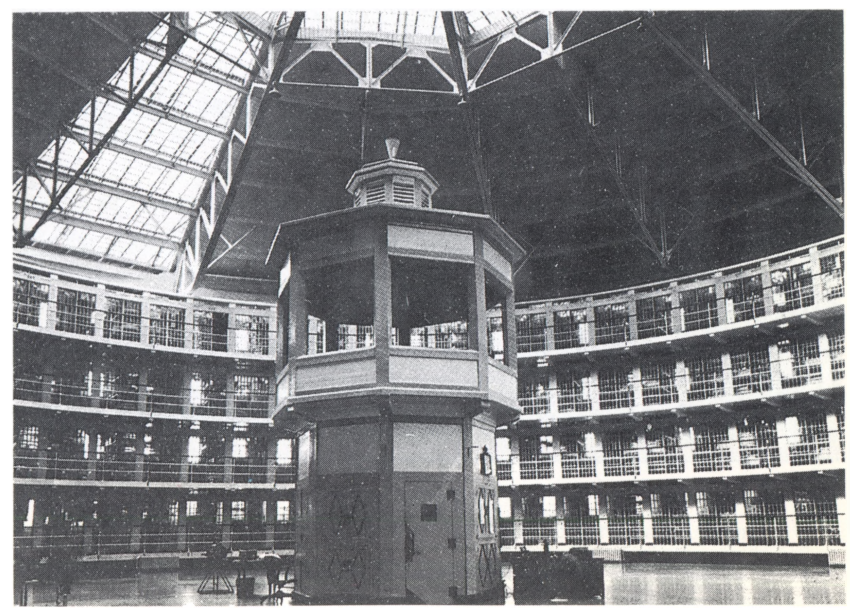
23/ План тюрьмы в г. Мазас

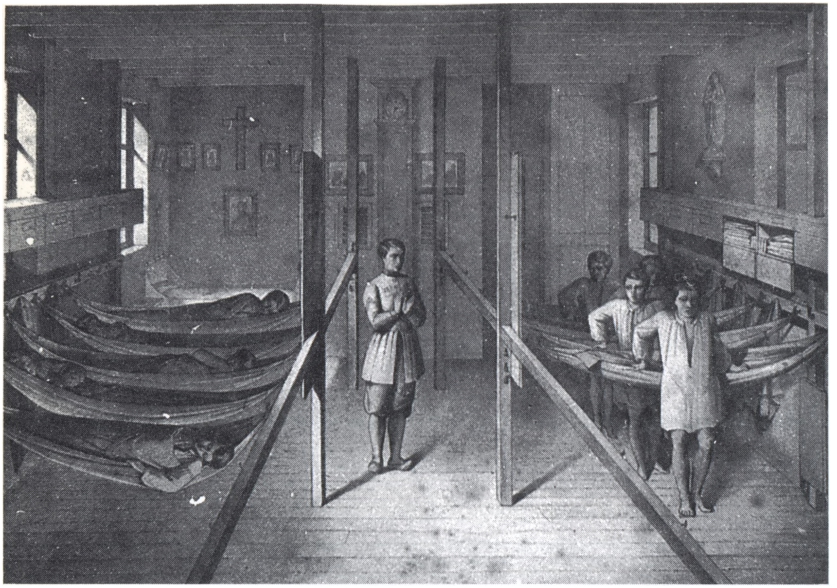
24/ Парижская тюрьма Петит-Рокет



25/ Центральная тюрьма в г. Ренн в 1877 г.

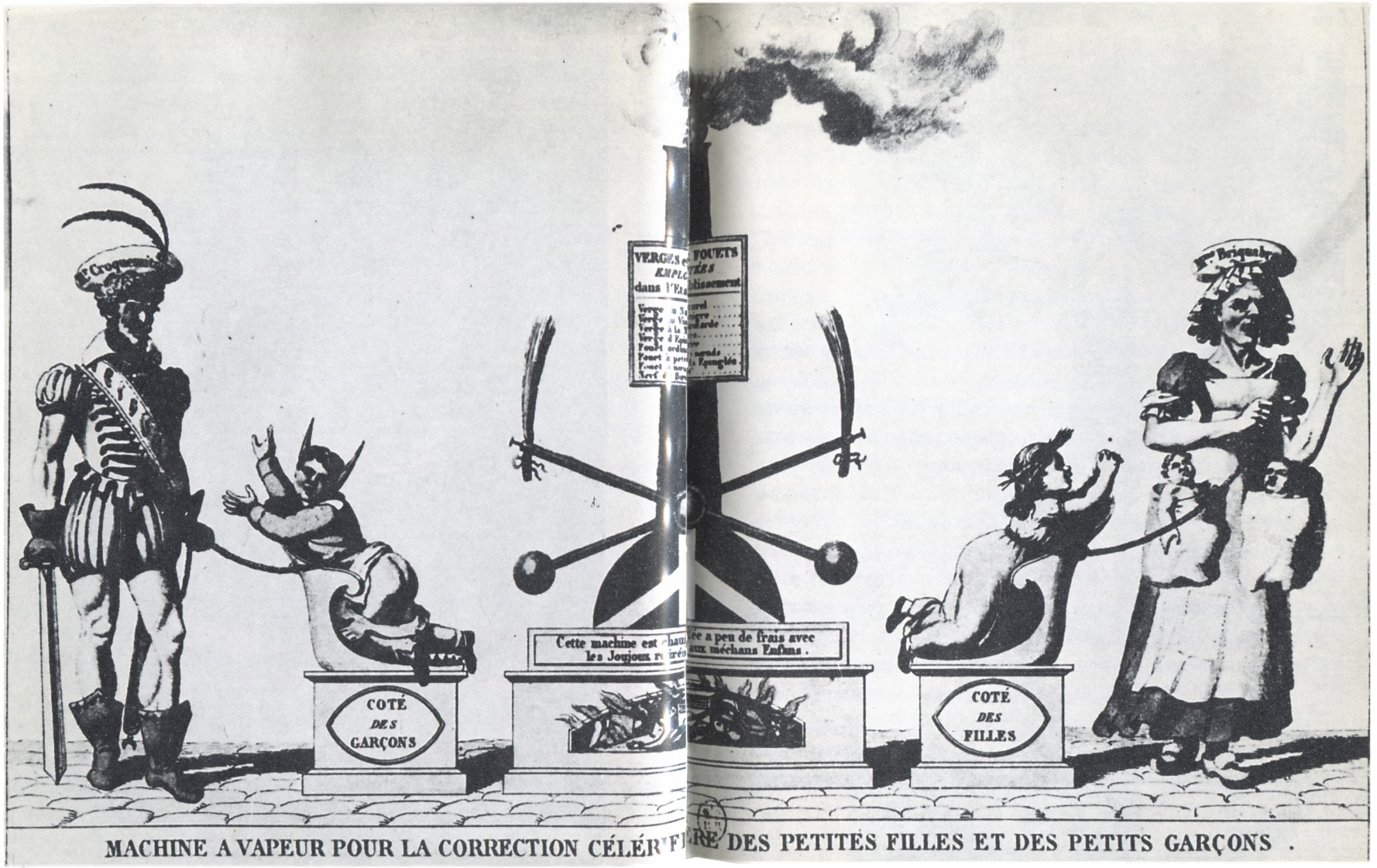
26/ Интерьер Стейтвилльской исправительной тюрьмы, США, XX век



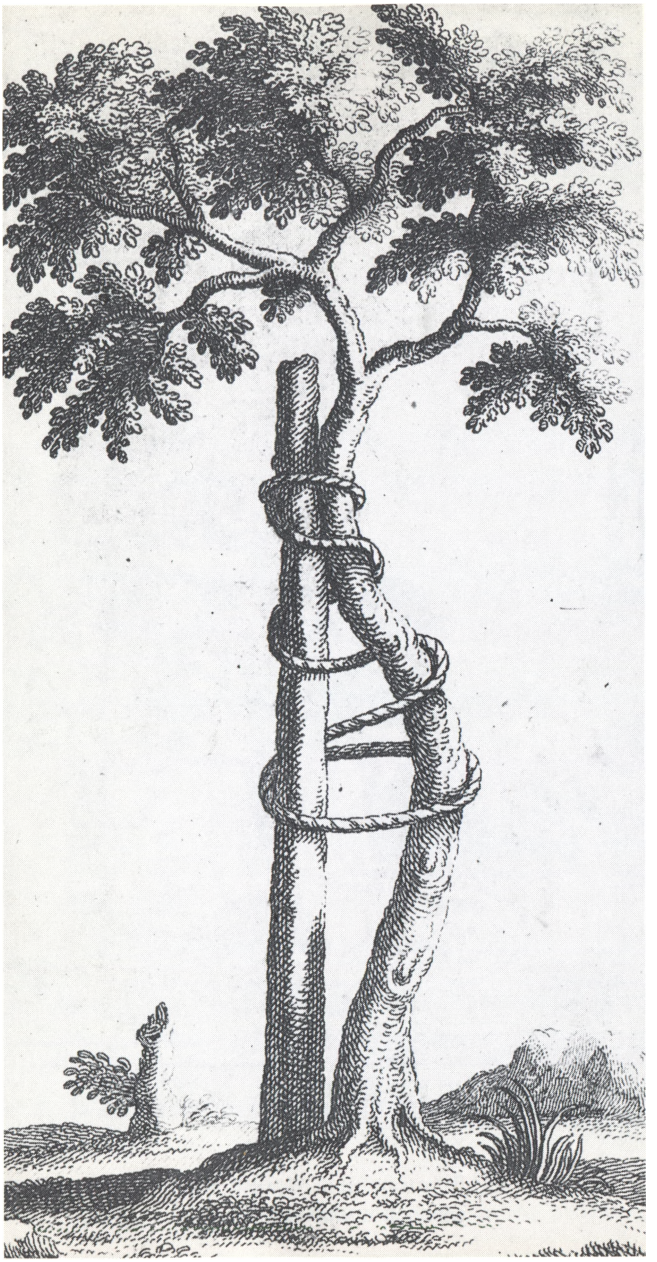


27/ Отбой в колонии в Меттрэ

28/ Лекция о вреде алкоголизма в тюремной аудитории в г. Фрэн



29/ Двусторонняя паровая машина для наказания девочек и мальчиков



30/ Н. Эндри, 1749. Ортопедия, или искусство предупреждения и исправления уродств тела у детей

СОДЕРЖАНИЕ

I. КАЗНЬ

Глава 1. Тело осужденного 7

Глава 2. Блеск казни 48

II. НАКАЗАНИЕ

Глава 1. Общие принципы наказания 105

Глава 2. Мягкость наказаний 152

III. ДИСЦИПЛИНА

Глава 1. Послушные тела 197

Глава 2. Средства выверенной муштры 248

Глава 3. Паноптизм 285

IV. ТЮРЬМА

Глава 1. Совершенные и строгие заведения 337

Глава 2. Противозаконности и делинквентность . . .376

Глава 3. Карцер 431

Список иллюстраций 456
Примечания переводчика 460

Коллекция «Философия по краям» (серия «1/16»)
литература / искусство / политика

Редакционный совет:
С.Бак-Морс (США) Ф.Гваттари ✞ (Франция) Ж.Деррида (Франция)
Ф.Джеймисон (США) Л.Ионин (Россия) М.Мамардашвили ✞ (Грузия)
Ж.-Л.Нанси (Франция) Е.Петровская (Россия) — *научный секретарь*
В.Подорога (Россия) — *председатель* А.Руткевич (Россия)
М.Рыклин (Россия) —*заместитель председателя* М.Ямпольский (США)

ведущий редактор серии — А.Иванов (Россия)

Мишель Фуко

Надзирать и наказывать

Рождение тюрьмы

Редактор И. *Борисова*
Художник А. *Бондаренко*
Корректор Н. *Щигорева*
Компьютерная верстка К. *Москалев*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.10.99.
Формат издания 60x90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30. Тираж 5000 экз. Заказ № 459.

Издательская фирма «Ad Marginem»
113184, Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
тел./факс: 951-93-60, e-mail: ad-marg@rinet.ru
Internet: www.ad-marginem.rinet.ru

ЛР№ 030870 от 10.01.99.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

ISBN 5—93321—010—2

Проект RU1.RU

Данная книга воспроизведена по технологии **Быстрой малотиражной печати**, которая позволяет издавать любые книги в количестве

от 1 экз. (15 минут)

до 100 экз. (3 дня)

С помощью этой технологии уже воспроизведены (с ведома правообладателей) многие давно не переиздававшиеся интеллектуальные бестселлеры, со списком которых можно ознакомиться на сайте **RU1.RU**

Их можно заказать и приобрести в магазине Фаланстер (Малый Гнездниковский пер., д. 12/27).

Быстрая малотиражная печать даёт вам возможность оперативно и недорого издать свою книгу, сборник стихов, диссертацию, дипломную или курсовую работу.

Вся необходимая информация на сайте **RU1.RU** или по телефону 8(499) 347-35-62.

1/16

AD MARGINEM

Казнь

Тело осужденного
Блеск казни

Наказание

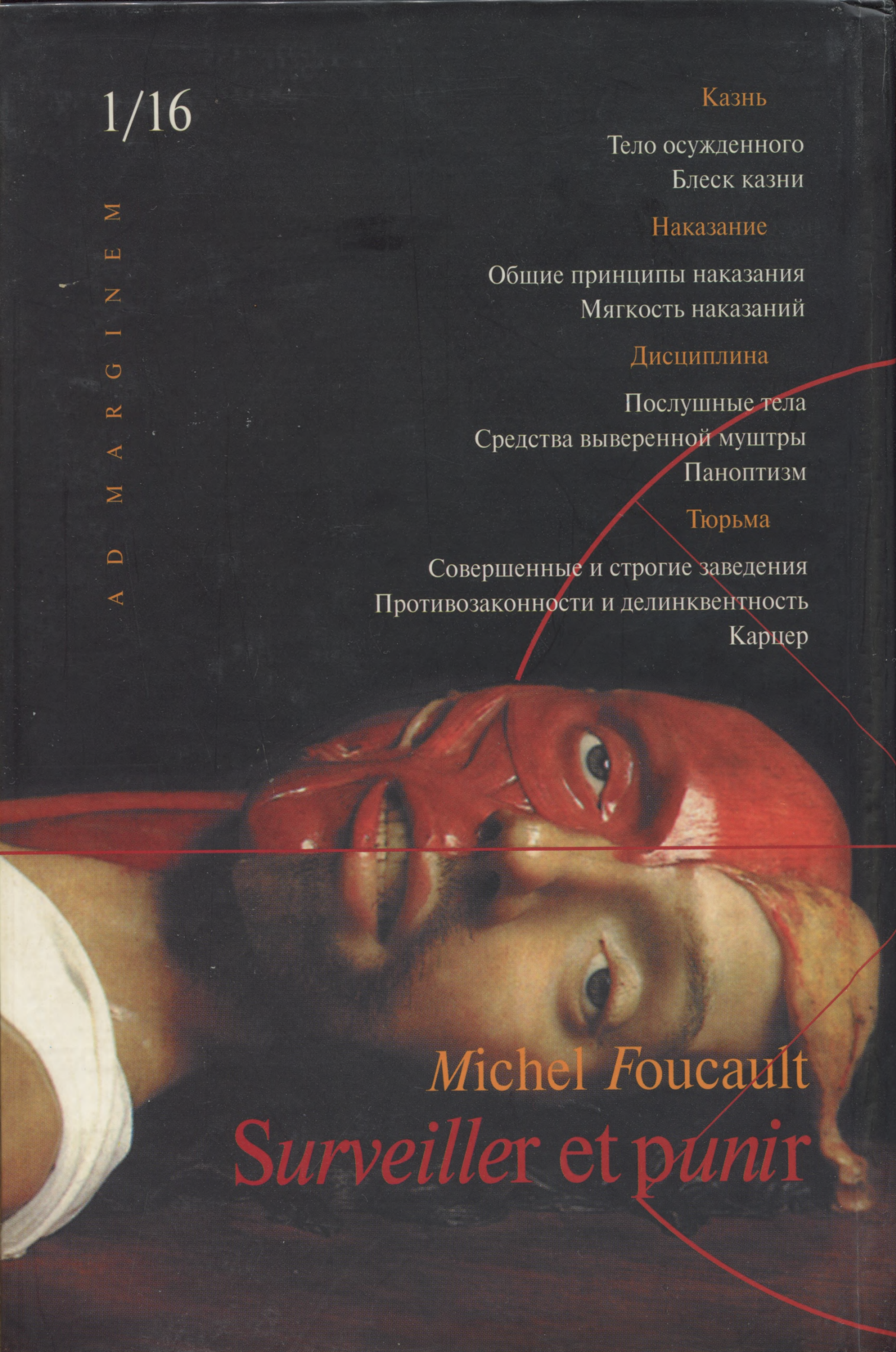
Общие принципы наказания
Мягкость наказаний

Дисциплина

Послушные тела
Средства выверенной муштры
Паноптизм

Тюрьма

Совершенные и строгие заведения
Противозаконности и делинквентность
Карцер



Michel Foucault
Surveiller et punir